«Молодая гвардия».

№ 8. 1939 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

С. КИРСАНОВ. СТИХИ КЛИМА СМЕТАННИКОВА. (Из «Поэмы поэтов»). Родословное древо. Цвет волос. Отец поэта. Тыква. Морковь. Овес. Дипломная работа. Энтомология любви. На Волге. Практическая степь. Москвы достопримечательности. Дума об ананасе. Ода русской земле. Что надо поэту.—Предисловие автора 5

Ос. ЧЕРНЫЙ. МУЗЫКАНТЫ, роман 15

С. МАРШАК. ИЗ РОБЕРТА БЕРНСА, стихи. Честная бедность. Джон Андерсон. Где-то в пещере... Кто там стучится... Тебе одной. Шела О'Нил . 51

Э. ХАРИТАНОВИЧ. ЛЕЙТЕНАНТ НИКАМУРА НЕ СТАЛ КАПИТАНОМ, рассказ 55

А. ГАРФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ, рассказ 65

А. КОВАЛЕНКОВ. ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ. Окно. Лиза. Без тебя. Грустная нота. Секунда 71

В. КОЗИН. ПОМИДОРЫ, рассказ 74

О. НЕКЛЮДОВА. НРАВОУЧИТЕЛЬНАЯ СКАЗКА 91

Н. УШАКОВ. ИЗ КНИГИ «ПУТЕШЕСТВИЕ», стихи. Русь. Старый Киев. Светопреставление 97

ОЧЕРКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Л. ПАСЫНКОВ. СЫН И ОТЕЦ САИДОВЫ ИЗ УРОЧИЩА МОЧЕГ-ОР. . . 99

Э. ГАРД. ВОРЫ. (В советском суде) 109

СТРОЙКИ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

В. ГАЛАКТИОНОВ. ГИГАНТ НА ВОЛГЕ 114

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Н. БУРДЕНКО. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ 123

ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ЦИЦИН. ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА . . 138

Р. АКУЛЬШИН. В ОДНОМ КОЛХОЗЕ 142

И. МОШЛЯК. СТАЛЬ ОСОБОГО СПЛАВА 153

М. МУРАВИНА, К. ОСИПОВ. ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ . . . 161

СССР
БИБЛИОТЕКА
Тирасполь

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

И. РАХТАНОВ. ПРИВХОДЯЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 170

Евг. БЕРМОНТ. ЕВГЕНИЙ КАР И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 172

М. ЦЕЙТЛИН. ЛИТЕРАТУРНЫЙ САРАТОВ . . . 175

С. ИВАНОВ. МАСТЕР СЛОВА 177

БИБЛИОГРАФИЯ: Олег Эрберг—Повесть о Хамре из племени ачак-заев. Степан Щипачев—Лирика. Борис Горбатов—Рассказы. Юрий Смолич — Вісімнадцатилітні. Ричард Олдингтон—Истинный рай. Мих. Зенкевич, Иван Кашкин — Поэты Америки. Илья Груздев — Горький и его время. «Молодые мастера искусства», сборник. И. П. Сергеев — Легкая атлетика. — Рецензии: А. Дейча, С. Евгеньева, А. Кипренского, Д. Маневича, М. Матусовского, Н. Плиско, Я. Рыкачева, А. Семенова 185

С. Кирсанов

СТИХИ КЛИМА СМЕТАННИКОВА

(Из «Поэмы поэтов»)

ОТ АВТОРА

С поэтом Сметанниковым я познакомился в дни, когда его выдумал. Этот рыжий высокий юноша, студент сельскохозяйственного института в волжском городе, ежевечерне заставлял меня перевоплощаться в него. Потом из ребра одного сметанниковского стихотворения я создал его Еву — девушку-поэта Варвару Хохлову. Вскоре я забыл о себе и стал шестью поэтами, и бывали вечера, когда в одном углу моей комнаты шептал александрийские строфы слепой Андрей Приходько, а в другом углу поэт Богдан Гринберг приносил русский синтаксис в жертву богу необыкновенного. Кружок моих друзей разросся. Они удобно устроились в воображении автора, и среди них уже начались обычные для реального быта отношения — роман Сметанникова с Варей, поездки, встречи и приключения. Не все стихи этих поэтов написаны, не все встречи произошли. Когда я закончу писать от имени других, я приглашу тебя, читатель, в мир моих друзей, которому в день его сотворения я дал имя: «Поэма поэтов».

Семен Кирсанов

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО

Из ботаников я — Клим Никитич Сметанников,
мой отец — огородник, и дед из баштанников,
вся семья, от дядей до внучатных племянников,
из потомственных, из родовитых ботаников.

Из босых академиков, сведущих в ягодах,
прочитавших ботву, как старинную книжицу,
я — ботаник, имеющий званье от прадеда,
мне под снегом потуги растения слышатся.

Я в поэты пришел с земляными ручищами,
с образцами картошки, с бугристой морковищей,
хоть на выставку ставьте, — на грядках расчищенных
не цветы, а капуста, добротные овощи.

Я пеленут, баюкан бахчами казацкими,
комсомолец, колхозник селенья Клинцовское —
в институте познаний сельскохозяйственных
дополняю латынью наследье отцовское.

Я Есенина знаю, но грустью не баливал,
мы в семье — не из пьяных рязанских тальянников!
Вырастай же сам-семьдесят, песнь небывалая,
как прикажет тебе Клим Никитич Сметанников!

ЦВЕТ ВОЛОС

Я рыж, как луг, пожаром выжженный,
хожу, горю — сплошною рыжиной!
Копна волос — дикарской хижиной,
лицо — веснушками сплошь засижено.

С копною ржи меня кони путают,
с куском пожара в тревогу лютую,
с кленовой желтью, как листья падают,
и с лисьей шкурою конопатою.

Бегут ручьи за Клим Никитичем,
кричат: «Никитич, мы скоро вытечем!»
Поют ростки в весенней сырости,
кричат: «Мы крепкие, мы скоро вырастем!»

Навоз ворочайте, стальные лопасти.
Расти растущее, теки текущее!
Мне вся природа сдана по описи,
вести явлений дела текущие.

Рыжейте, травы, лесища красные!
Ты, желтый колос, до жатвы выживи!
Одной природы явления разные,
мы с вами в родственниках — мы рыжие.

ОТЕЦ ПОЭТА

Я приезжаю, берусь за поручень,
отослан поезд. Дорога санная.
С моим родителем — Никитой Флорычем —
целуюсь кратко в усы овсяные.

Сын крепостного, а выбрит начисто,
лицо из меди татарской выковки,
диплом отличия на стенке значится
за экспонаты в Москве на выставке.

Родная хата, на полке вербонька,
портрет Некрасова, собранье Надсона,
но здесь читают работы Бербанка
и календарь за год 12-й.

Вот мой родитель — в теплице на зиму
таблицы разных семян натыканы.
Он — аналитик арбузных разумов,
дынных инстинктов, сознаний тыквенных.

Он им внушает: налиться сахаром,
набраться запаху, полней созреть еще,
при виде Флорыча, в босых ногах его
смирнеет бешеный огуречище.

Меня с Павлушей не прочил в гении,
растил — не мамоньке для потехоньки,
он в нас выращивал любовь к растению,
понятье в почве и тягу к технике.

Сказал он как-то: «В плоде и в ягоде
запомни — косточка важнее мякоти!
Сказал он как-то: «Два века кабы мне,
и дыня тоже росла б на яблоне!

Сказал он как-то: «И тыква мысляща,
да человеки гораздо развитей...»
За все, что понял я, вобрал и выслушал, —
многая лета, папаша, здравствуйте!

ТЫКВА

У нас в теплице есть обнова:
тыква созрела! шум какой!
Как в клинике врача зубного,
чудак с раздутою щекой.

Ох, как раздуло! Вспухла кожа,
и тыквин облик стал таков:
всю своротило на-бок рожу,
вбинтованную в шесть платков.

И тыква в кресле. Тыкве круто
придется от ножа и рук,
от нас — студентов института
сельскохозяйственных наук.

МОРКОВЬ

Морковь — в земле увязший палец,
и, верно, кажется кротам —
те руки, что в земле копались,
попались и остались там.

Мизинцы овощниц багровых
разбухли от дождей и вод,
рук, отмороженных до крови,
под почвой полон огород.

Пора полоть морковь, подруги,
махровый занялся рассвет,
цепляются за землю руки,
когда их руки тащат в свет.

ОВЕС

У многолетних трав в системе
в соседстве с викой, травянист, —
овес — журавль среди растений,
и словно с неба смотрит вниз.

Виктория, отборный шведский —
стоят отборные овсы,
свои пожухлые подвески
подставив лезвию косы.

Им нужен кров снегов пуховых,
уход, и дождик, и навоз...
Вот вы стихов хотите новых —
а знаете, почем овес?

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Не школа — студенчество, это станица
в больших огородах. Станица в столице.
Казачество умных и сочных наук
с плетнем из колонн и дорогой на юг.

Тут циркуля шаг осторожный, цаплиный,
посадка в седло молодой дисциплины,
в чернильный колодец — журавль пера,
и скоро на стаже казачить пора!

И мы не церковники, мы колхожане,
мы — вбоганеверцы в телячьем кожане,
загадка природы почти решена,
Лысенко — почетный у нас старшина.

Ты, Варя, казачка, пускай не в паневе,
да ждут тебя хаты в колхозной обнове,
в казачестве нашем ты — дева-джигит,
под легкой рукою учебник кипит!

Мы кончим — и колос подымется втрое.
Мы кончим — и пчелы в невиданном рое.
Капуста, как облако, дыня, как дом,
когда мы окончим и в дело пойдем.

Горбань, Нешученко, Плакида, Галаджев,
Сметанников, Гольдман, Бакидзе, а также
Варвара Хохлова, Бездомных, Левко —
зачетную сессию кончим легко,

дипломы свернем в микроскопную трубку,
а кстати, запомним казацкую рубку,
чтоб знали агрессоры разных чинов,
как могут рубать агрономы панов!

ЭНТОМОЛОГИЯ ЛЮБВИ

По своей к насекомым студенческой страсти —
рассмотрела, узнала, и вот тебе — здрасте!
ты словила меня на прожилках ботвы
я сдыхаю, как жук, на булавке любви!

Не ползти мне по травам к тычинковым тварям,
я ворочаюсь, Варюшка, Варя, Варвара! —
Не заглядывать в рыльце родного цветка,
хоботочком не рыться, не ведать медка!

Вы, ребята, мечтаете: вот, полюбить бы!
Вот я рыцарь, заколотый на поле битвы,
я, убитый бессонной мечтой про нее,
нежным варваром, в сердце воткнувшим копье.

Всем видна твоя в сердце булавка, Варвара,
и сижу я и жду на скамейке бульвара,
в шесть часов ты покажешься из-за ствола,
и застряла во мне часовая стрела.

Называешь: «жучок», издеваешься: «рыжий!»
и смеешься, меня подвигая поближе,
так что даже профессор в зеленых очках
говорит тебе: «Варя, не мучьте жучка!»

Мучь, не слушай профессора, мучь и домучай,
и коли меня глубже булавкой колючей,
если ж вырву из сердца занозу любви, —
легкой сеткой ресниц, о Варвара, лови!

НА ВОЛГЕ

Рыба отдана солнцу в засолку.
Подкатаем порты — и на Волгу!
И река же у нас, и жара ж —
свой Египет у кранов и барж.

Волга — Нил, Жигули — пирамиды,
на плотину — хорошие виды,
что ни парень, то копт и феллах,
почерневший в июльских делах.

Берег волжского Нила. На оном
я районным хожу фараоном,
и одна из приволжских Изид
мне сушеною рыбой грозит.

Аллигаторов тут не богато,
с нивеллиром тут есть ирригатор,
что ж касается ихнего Ра:
есть дыра, и гора, и жара!

Египтяне, снимайте портянки
рыть каналы для ржи-египтянки,
чтобы рос первосортный табак, —
по бетону, ребята, в гопак!

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТЕПЬ

Я, поэт и ботаник, хожу по степи,
приминая колючки, цветы и шипы,
я не степью хожу, я хожу по аптеке,
разбираясь в ее травяной картотеке.

Беспредельная степь, бесконечная степь,
ты — природой написанный странный рецепт!
За полоской слабительных резко запахли
удивительно сильные мятные капли.

Масса детской присыпки качается тут,
и прекрасные рвотные дико растут,
дозирована точно, вспухая и спея,
летним солнцем просмотренная фармакопея!

И мне видится: тонкие корешки
в аккуратные сыплются порошки,
и качаются склянки с ромашкой на пробке,
и пилюли слагаются с веток в коробки.

Вы горячкой больны — вам накапали степь,
вы в жару — нате степь на горчичном листе,
шприц шипа тут растет с одуванчиком зонда,
лег на степь — хирургический стол горизонта!

Солнце начало сразу, склонясь у плеча,
операцию глаз — инструментом луча!

МОСКВЫ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Я был в Москве. Она дородный город.
Маленько Волга дует ей за ворот,
легонько пахнет нефтью и тайгой,
Донбасс чуть-чуть задел ее рукой.

Московия — ты Цареград плодовый,
багровых башен грозные моркови;
под куполами зрелыми лежишь
зеленолистою ботвою крыш.

Тыква, малина, ананас, и дыня
с бутылкою анисовки в средине —
Василия Блаженного собор,
на поставце стоящий с древних пор.

Я б засадил Москву рядами елей,
уральских кедров по длине панелей,
кристаллы зданий я бы окаймлял
лишь хвойным стилем с башнями Кремля.

Мичурин — время скрещивает избы
со стройною архитектурой призмы —
антенна на дворцовом арбузе —
гибрид ампира с блеском Корбюзье!

Я видел анделов, почивших в бозе,
Милиционера в лебединой позе.
Поэт, ботаник и провинциал,
Я понял вдруг Москву и просиял!

Москва — несметно редкостная друза
столиц, колхозов, сел и дач Союза,
в ней всех провинций руки сплетены,
она — большая выставка страны.

Она — Москвища, а размыслить тонко —
наш городок — приволжская Москвенка,
и то село, откуда я и вы,
лежит родимым пятнышком Москвы.

Всех породнила, всех переженила —
грузина, пермяка и волженина,
всех подружила общностью родной,
как сто плодов от косточки одной.

Вот я брожу, еще никем не признан,
в первопрестольном граде коммунизма,
и тыща верст от Волги — не при чем,
я и себя считаю москвичом.

У этих звезд полночные рубины,
у нас есть тоже — в ягоде рябины,
и этих стен кумачных кирпичи
есть и в избе родительской в печи.

Пусть стерегут мою Москву большую
дозоры одесную и ошую,
и семена отборные Москвы
по всей земле пускай дают ростки!

ДУМА ОБ АНАНАСЕ

О плод головастый из племени инков,
что странно возник у Загорского рынка,
с воинственно-диким зеленым пучком!
Растение-скальп, вопрошаю — почем?

Я взял за вихор этот плод-Монтецуму
и понял плода мексиканскую думу —
что он бы безропотно рос и не чах
индейцем на наших, советских бахчах.

Он жил бы не вчуже, и зрел бы не втуне
с антоновкой — русской простой хохотуньей.
На пляж отдыхающих тыквенных пуз
привел бы индейца херсонец-арбуз.

Разрежь его, Варя, он пахнет на славу
запьем его влагой совхоза Абрау,
два запаха эти докажут как раз,
что к Мексике очень подходит Кавказ.

О, скрещивать разных — в моих это вкусах:
чудесные дети — от рыжих и русых!
Возьми за вихор меня — скажут про нас:
ты — яблоко-девушка, я — ананас.

Но я не индеец, я только — похожий.
Но пусть обрусеет и плод краснокожий,
пусть песню затянет наш девичий хор
про твой, Ананасе, зеленый вихор!

ОДА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

Стихи о России — стихи не простые:
Христа и березку вы мне б не простили,
прочти я псалом про цветы и скиты —
сказали б — Сметанников — это не ты!

Российским привычкам приписано: тройка,
икона, цыгане, трактир и попойка,
молодка, мужик, сарафан, самовар,
и эх, и чаво, и подобный товар.

Я спорить не буду, за время Советов
показано ясно — Россия не это.
Россия — смекалка, ухватка, размах,
и помнят поляки о наших Косьмах!

У русских не знали немецкого счета,
расплата за всех — а себе для почета,
не брали за пиво у гостя в дому,
и все без остатка в тарелку ему.

Японская вежливость нам не по нраву
с поклонцем, с присестом не каплим отраву —
чинили расправу — не маслили глаз,
и слов двоезначных нет в речи у нас!

Душа у народа, как небо и солнце,
раскрытая страннику дверь хлебосольства,
рубашка — товарищу — напополам,
и есть чем похвастаться нам — москалям.

Есть качества русские — скажутся сами —
недавно сказались они на Хасане,
и эти вот качества русской души
в приход коммунизму — возьми и впиши.

Есть качества русские — мастеровые —
наш Яблочков выдумал лампу впервые,
и радиозвук родился на Руси,
и это в приход коммунизму внеси.

И Ленин нас сделал всемирным народом,
крещенным на подвиг семнадцатым годом,
и вот — мужики — в академиях мы
у сложных наук тренируем умы.

Ста дружным народам — Россия старшая,
кнутом не грозя и тюрьмой не стращая,
а делится хлебом, любовью, душой
с дехканом, с казахом, с кавказским мушой.

Так ярче румянцу и больше красы ей.
Французы и негры, гордитесь Россией,
что дыню за стебель, и полюс за ось,
и счастье за хвост ей поймать довелось.

На этой земле есть красавица Варя,
второй не найдете, всю землю обшаря,
вторая — другая — не этих примет,
красивей? — возможно, любимее? — нет!

Так высься и ширься, все горы осиля,
всесветная мать коммунизма — Россия,
багряные стяги над миром вия,
и да расточатся все врази твоя!

ЧТО НАДО ПОЭТУ

Что надо поэту? — для полной удачи —
ни злата в сберкассе, ни каменной дачи,
ни дяди в Нью-Йорке, ни сада в Крыму,
ни чина, ни сана не надо ему.

Я начал писать на песчаности плеса
не вечною ручкой, а костью лосося,
я пенные строки писал по реке,
вычерчивал рифмы кремнем на руке.

Я мог бы писать на березовом лыке
пером журавлиным, чернилом черники,
кто сызмальства песню любить научён,
умеет ничем сочинять ни на чем!

Поэты — с поэзией спят в изголовье.
Мы — песню бурлацкую ловим на слове,
за соболем — словом по следу идем,
и рифму, как девушку с парнем, сведем!

Ни низких страстей, ни высоких материй, —
мне надо одно лишь: любить до потери
сознания, паспорта, кепки и сна,
чтоб долгой бессонницей снилась она!

Любовь — это двигатель нашего дела:
любить ее в сон облеченное тело,
сатиновой блузки цветочную нить,
песок под ногами любимой любить!

Мосты перекидывать, строить столицы,
врагу отвечать пулеметной сторицей,
и, путь пробивая во льдах кораблю,
к Сухуми от Арктики кинуть: люблю.

Планету мою, как подножье любимой,
и воздух, летящий возлюбленной мимо,
я в звездное небо глядеться привык,
как в ей посвященный ночной черновик!

Что надо поэту? — До клеток распада
любить, и ты будешь поэтом что надо!
И те, что любимы, поймут, стало быть,
что надо — поэта — одно лишь — любить.

Ос. Черный

МУЗЫКАНТЫ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В первые дни после каникул жизнь консерватории была особенно шумной. В вестибюле весь день толпился народ. Тут были музыканты, имена которых знала страна, и молодежь, только вступавшая на дорогу искусства. Те немного болезненные, напряженные лица, которые прежде считались артистическими и обозначали причастность к профессии исключительной и жизни незаурядной, постепенно исчезали. В среде музыкантов произошли большие перемены.

И все же какая-то неуловимая черта отличала людей, собравшихся здесь. То ли она относилась к их темпераменту, то ли к большей свободе жестов, но человек со стороны ее мог бы подметить. Более опытный глаз установил бы различия внутри этой среды: певцы, дирижеры, пианисты были чем-то друг на друга не похожи. Может быть, каждый из них нес в себе нераскрытые особенности своей профессии. Сейчас, впрочем, школа во многом их равняла: все были молоды, оживлены, и о них можно было в общем сказать, что будущее их не тревожит.

Лев Львович озирался по сторонам, мимо него проходили студенты, не обращавшие на него внимания. Впрочем, многих из них он и не знал. В сущности говоря, Лев Львович знал в лицо лишь пианистов, с ними у него был длинный и давний счет: каждому он мог бы рассказать, что, где и когда тот играл на вечере или зачете, и с достаточной колкостью он намекнул бы, в чем заключались слабые стороны исполнения. Правда, Лев Львович не отказался бы признать и способности студента: спор шел через голову исполнителя с его педагогом, спор давнишний, сложный и полный дипломатической тонкости.

Время шло, а Анны Гавриловны не было. Между тем, Лев Львович надеялся увидеть ее. Дела у него к ней не было, но он испытывал приятное и обнадеживающее чувство, думая о возможности встречи.

Не дождавшись, он пошел в класс. Он шел медленно, рассеянно оглядывая проходивших мимо него учеников. Изредка в его глазах вспыхивало любопытство.

— Ээ... милый мой! — позвал Лев Львович поднимавшегося по лестнице скрипача; он еще сам не знал, зачем его окликнул. — Вы мне вот что скажите, мм... вы на урок?

Бледное и приятное лицо студента внушило Льву Львовичу симпатию.

— Я вас где-то видел, неправда ли?

— Я играю у вас в камерном классе: Клумов.

— А-а, ну вот то-то же! — произнес Лев Львович почти нравоучительно. — Вы давеча приходили ко мне.

Но он все-таки не знал, как продолжить разговор, который сам затеял.

— Вы у кого по скрипке-то?

— У Зандберга.

— А-а, очень рад. — Он помолчал. — И что играете?

— Концерт Бетховена.

— Это какой, позвольте узнать?

Клумов заметил, стараясь быть вежливым:

— У него, собственно, только один.

— Ага, ну так я и думал.

И, окончательно расстроенный неудачей, Лев Львович повернулся к студенту спиной и пошел от него.

В сущности говоря, Лев Львович не обязан был знать, сколько концертов для скрипки написал Бетховен. В глубине души он этот инструмент презирал. Он считал его элементарным, слишком чувственным и неспособным передавать сложные движения души. Для него мир музыки был навсегда связан с роялем. В частном разговоре Лев Львович признался бы, что скрипичная литература, в силу ее особенностей, путаной бравурности и ослепляющего блеска, совсем не укладывается в его памяти и ему трудно отличить одно произведение от другого: Вьетан, Сарасате, Венявский лишены для него индивидуальных примет, и, сколько бы он их ни слушал в концертах и на студенческих вечерах, он их потом все равно мучительно не узнавал, как человек рассеянный и близорукий не узнает и путает лица. Он бы мог в этом признаться в припадке откровенности или желая представить себя в смешном виде. Такое желание время от времени на него находило. Но теперь, поднимаясь по лестнице, Лев Львович негодовал на себя: зная очень хорошо, что у Бетховена для скрипки написан только один концерт, как он мог запамятовать и допустить этакую несообразность?

Он дошел до четвертого этажа. Собираясь повернуть к себе в класс, Лев Львович увидел Анну Гавриловну. С плавностью грузной женщины она шла навстречу, и он устремился к ней.

— Вот и вы, как я рад. Видеть вас, Анна Гавриловна, для меня всегда истинное наслаждение.

Она, в отличие от него, выражалась с нарочитой простоватостью. Огрубляя речь, Анна Гавриловна как бы приближала себя к окружающим.

— Вы такой мастер выражаться пышно, Лев Львович, а на собрание, небось, не явились.

— Боже мой, право, забыл! — отозвался он с жаром. — Совсем из памяти выпало!

— Все вы так. Разве вас соберешь? Индивидуалы! — сказала она, повидимому, гордясь этим словом: оно подчеркивало разницу между ней и другими педагогами.

— Что же, все-таки, было? — спросил Лев Львович. — О чем шел разговор?

— Распределяли учеников. — (Он насторожился.) — Говорили о планах, намечали программы вечеров.

Анна Гавриловна недавно приняла на себя руководство фортепианным отделом. Она мечтала сочетать старые навыки педагогов с задачами, как она выражалась, текущего дня. В глазах Льва Львовича она была добрейшей женщиной и при том обладавшей счастливой практичностью. В сравнении с ней он считал себя человеком беспомощным и втайне мечтал о ее защите.

Заседания он отчасти любил: он видел в них одну из форм состязательства. Прошлое заседание, кроме того, занимало его и с деловой стороны.

— Ко мне никого там не записали? — с напускной небрежностью справился он.

Анна Гавриловна вздохнула основательно, словно собираясь присесть.

— К вам как будто никто и не просился.

Он искоса взглянул на нее.

— Ну и прекрасно! У меня, знаете, времени вовсе нет.

— Вы всегда так, Лев Львович, оригинальничаете.

У него испортилось настроение, он заговорил о другом:

— А хорошо у меня Мазель вчера играл! Вот, Анна Гавриловна, если б вы слышали!

— Да ну, полноте, — сказала она. — Кто ж его не знает — Мазеля? Он еще у Николая Васильевича превосходно играл. Помните, полонез Шопена?

Лев Львович не выдержал:

— Помилуйте, Анна Гавриловна! Он ужасно сыграл полонез!

— Ай-ай, как вы пристрастны! До чего этого я не люблю. Вы меня знаете — я терпеть не могу несправедливости.

Лев Львович подумал, что у него сегодня неудачный день.

Он вздохнул:

— Мне итти пора.

Анна Гавриловна протянула руку. Он обиженно и все же почтительно приложился к ней губами и пошел назад. Шум голосов, вырывавшиеся отовсюду звуки теперь коробили его и угнетали.

Он вошел к себе в класс недовольный. Здесь он чувствовал себя полновластным хозяином.

Лев Львович решительно направился к окну. Ученики опередили его и бросились открывать форточку.

— А вы не простудитесь? — заботливо спросил студент Бельник.

Не отвечая, педагог занял свое место около рояля. Он резко отодвинул стул и посмотрел на учеников: кроме Бобы Бельника, тут были Лев Шпирт, Нечаева и Галочкин. Шпирт стоял, облокотившись о хвост рояля, с таким видом, словно ему предстояли неизбежные неприятности и он готов к ним.

Он относился к числу тех студентов, которые делают свое дело невесело, слишком серьезно, но и неплохо.

Пока ученики разбирали ноты, Лев Львович недовольно ерзал на сту-

ле. Ему показалось, что из окна дует в спину, и он встал, чтобы закрыть форточку.

— Ага, — заметил Бельник. — Я говорил.

Боба обращался с Львом Львовичем так, словно у них было равное положение в классе и ему, Бобе, не было надобности считаться с настроением педагога.

— Уже измазались? — обратился тот к нему. — Подите вымойте руки.

Боба вытащил из кармана носовой платок и старательно вытер пальцы. Лев Львович с деланным недоумением следил за ним. Затем он обратил свой взгляд на Костю Галочкина, самого юного студента своего класса.

Замашки нынешней молодежи представлялись учителю странными. Он не понимал, почему студенты не следят за ногтями, почему руки у них не всегда чисто вымыты, и притом у них постоянно хорошее настроение, чересчур хорошее для музыкантов.

— Милый мой, — обратился Лев Львович к Косте, — вы когда-либо полотенце видели?

— Видел, ну, — сказал тот.

— Не «ну», дорогой мой, — когда к вам обращаются, следует отвечать вежливей.

Костя моргнул, не отводя от учителя глаз. В свою очередь, на Льва Львовича со стороны внимательно смотрел Боба, точно он наблюдал интересный опыт.

Всем было ясно, что у педагога сегодня неважное настроение и он будет весь урок придираться; это казалось естественным, и ученики без возражений, каждый, правда, по-своему, принимали это.

— Полотенцем, мылом, — продолжал Лев Львович, — пользуются люди, привыкшие к чистоте, умеющие писать без ошибок... Подите вымойте руки.

— А они чистые.

Боба перевел взгляд на товарищей («видали вы этого сумасшедшего?»). Шпирт ответил взглядом сосредоточенным и упорным. Галочкин покорился и, пожав плечами, пошел для вида мыть руки. Боба последовал за ним из сочувствия к нему и товарищеского единомыслия.

Первой должна была играть Нечаева. Когда они вернулись, она сидела уже за роялем.

И Нечаева знала, что урок будет неудачным. Свобода ее пальцев зависела от многих причин: от температуры в классе, от возможности до урока разыграться, и, конечно, придирки Льва Львовича тоже влияли на нее.

Едва начав играть, Галя почувствовала себя обреченной. По тому, как учитель молчал, она понимала, что взрыв его раздражительности близок.

И, действительно, Лев Львович закричал:

— Педаль! Уберите правую ногу! Это рояль, а не дамский велосипед!

Галя сняла ногу и теперь боялась поставить ее даже в тех случаях, когда это было необходимо. Время от времени Лев Львович отталкивал ее руки и сам вместо нее исполнял несколько тактов.

— Вот так! Вот так! Вам понятно?

Ей было понятно все, но она ничего не могла сделать. Она не умела

сыграть так, как показывал он: она не очень легко подражала, а, кроме того, тормоша ее, то и дело прерывая, Лев Львович разбивал ее план. «Только бы он не останавливал», — думала Галя.

Несколько минут он ее не трогал, и Галя играла, как во сне.

— Я удивляюсь вам, — сказал, наконец, Лев Львович. (Она покорно посмотрела на него.) — Вы больны? В таком случае сходите к врачу.

Он обвел класс взглядом, полным недоумения, и продолжал:

— Кто вам сказал, что я люблю анемичную музыку? Вы нас и за мужчин совсем не считаете? — (Боба осклабился.) — Какая-то утренняя серенада или баюшки-баю.

Ему доставляло удовольствие, когда он подбирал свои словечка удачно, он даже приходил в лучшее состояние. Галя ничего не ответила: она знала, что нисколько она не анемична и игра ее вовсе не бестемпераментна, — все это были его выдумки.

Ей хотелось поскорее кончить урок. Но Лев Львович ее не отпускал: он потребовал, чтобы она сыграла все снова. Казалось, он впал в исступление: отбивал ногой такт, бегал по классу, тыкал в ноты карандашом, кричал: «Это бездарно! Играть таким образом просто глупо!» Энергия, которую он затрачивал, давала ему право придираться. Все это стоило ему здоровья и нервов, и он, пользуясь своим правом, исступленно язвил.

Наконец, Галя встала. Она молча начала собирать ноты.

— Что с вами, моя дорогая? — взглянув на нее, совсем другим голосом произнес педагог.

Как будто театральная часть кончилась и можно было вернуться к простым отношениям. Он понял, что обошелся с ученицей слишком круто. Ему стало жалко ее, но он не нашел, что сказать ей, и повернулся к Бельнику:

— Ну, пожалуйста!

Боба разбирал ноты не торопясь, со степенной основательностью.

Будучи впечатлительным, Лев Львович в какой-то степени подчинялся своим студентам.

— Ну, не задерживайте нас, — умоляюще произнес он. — Это же не архивное управление!

— Сейчас, — ответил Боба. Он продолжал с той же неспешностью раскладывать ноты.

Наконец, он кончил. Он уселся и занес на педаль ногу.

— Что мы будем сегодня играть?

Любому другому ученику Лев Львович не замедлил бы объяснить, что множественное число в русской речи имеет смысл другой, на Бобу же он только взглянул.

— Ах, боже мой! Все, что вам будет угодно!

Боба хозяйственно вытянув ноги, приступил к игре. У него был при этом такой вид, как будто это дело труда для него не составляло. Он играл нисколько не лучше Гали. Стремление к тонкости, которое делало ее игру более сложной и не всегда уверенной, Бобу не отягощало. Однако Лев Львович не останавливал его. Он прослушал первую часть концерта. Голосом, в котором одновременно слышались и почтительность и брезгливость, он произнес:

— Ах, у вас прямо отбивная котлета выходит!

— Да-да, — сказал Боба спокойно. — Вы позволите продолжать?

— Я прошу вас!

Лев Львович вправе был дать себе передышку. На человека, подобного Бельнику, он не считал нужным растрачивать свой темперамент.

Он посмотрел в окно, прошелся по классу и даже пропел несколько тактов заодно с Бобой. Впечатление было такое, что Лев Львович игру его одобряет.

— Глубже октавы в левой руке, — заметил он на ходу.

— Да-да, — отозвался Боба.

Лев Львович насторожился.

— Я говорю — глубже, — повторил он и, вдруг остановившись, резко повернулся к игравшему.

— Слышу, Лев Львович, делаю, — невозмутимо ответил тот.

Эта крайняя степень спокойствия озадачила педагога, в ней он открыл примитивность. Он хотел было что-то заметить, но здоровое и непоколебимое начало, исходившее от Бобы, его победило.

Боба вытащил неторопливо платок и протер им руки и клавиши. Потом он степенно поднялся.

— Знаете, — начал Лев Львович, оглядев всех, — мне все-таки не везет, я думаю.

Глаза его блестели лукаво и грустно.

— Мне приходится, знаете, печь свою выпечку, ну, из дешевого сорта муки.

— Отчего же, — возразил Боба, — у вас Мазель, Галя, Козаков, Витя, я...

— Ах, знаете ли, все не то!

Лев Львович любил щегольнуть прямотой.

— Конечно, Мазель, Нечаева обладают талантом. У них даже тонкость есть и хорошее чувство стиля. Но, возьмите вы, — как она сегодня играла!

— Я плохо владею собой в классе, — сказала Галя.

— Не собой, моя милая, а приемами! — снова возбужденно сказал Лев Львович. — Все по наитию, по внушению чувства, а механики на поверку нет!

— Что же мне делать? — спросила она.

— Научиться, мой друг, рассуждать! И потом, бога ради, научитесь считать: дважды два, трижды три... Играйте, прошу вас! — сказал он, обращаясь к Шпирту.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Боба вышел из класса вместе с Нечаевой. Он по-приятельски обнял ее.

— Бесподобный мужчина, всесоюзного класса чудак.

— Он все-таки прав, — заметила Галя. — Играем мы нехорошо.

— Да? Ну, раз ты такого мнения... За себя я спокоен: Карло Цекки выше меня.

— Ты, действительно, невозмутим, Боба, — сказала она.

— А хочешь назову тебе двадцать пять городов, где сильнее меня нет никого?

Он начал называть: Тула, Краснококшайск, Жиздра, Тверь...

— Какой в этом толк? — перебила его она. — От этого мы с тобой лучше играть не станем.

— Пессимистка. Неинтересно с тобой... Ну, ладно, как твой роман?

— Отстань!

— Кончился? Уже? Да ну, что ты!

— Не приставай, Боба! — сказала она.

— Твой Клумов в двенадцатом классе. Я видел, когда он туда шел. У него такой умственный вид. Легкие у него в порядке?

— Боба, — сказала Галя, — ты с каждым днем становишься все глупее.

— Что-то мне стало скучно заниматься музыкой, — продолжал Бельник. — Все педаль и педаль — так вся жизнь пройдет. Хочу что-нибудь придумать.

— Что?

— Концертные группы, что ли, организовать, поездить по стране. Ты хотела бы?

— Не знаю, — сказала она. — Куда ездить? Зачем? Это твои фантазии.

— Я деловой человек, у меня наследственная деловая жилка. Что-нибудь придумаем, вот увидишь!

Он ушел. Галя пошла искать двенадцатый класс. Найдя его, она тихонько приоткрыла дверь.

Профессор Зандберг, невысокий, с ясными глазами и приятной округлостью щек, медленно ходил по классу. Он отсчитывал пальцами такт — больше для себя, чем для игравшего, — и время от времени останавливался.

Галя не очень хорошо разбиралась в скрипке; она, правда, любила ее звук, но мелкий и острый характер игры оставлял ее чаще всего равнодушной. Игра Клумова ей, впрочем, нравилась.

Он сидел на подоконнике и не видел Галю. Она приоткрыла дверь шире. Клумов заметил ее и вышел.

— Галенька! Куда же вы пропали? Здравствуйте.

Мысли его были заняты уроком, но, увидев ее, он сразу забыл о классе.

— Мне кажется, вы пропали, — сказала она.

— У меня было много причин... А вы без меня скучали?

Галя смутилась.

В коридоре, по соседству с классом, она чувствовала себя очень стесненной. Ей хотелось спросить у Клумова, почему он исчез, чем он был занят, но она не решалась.

— Скучали, Галенька? — повторил Клумов.

В сущности, он был влюблен в нее, но в разговорах с ней он усвоил условно легкомысленный тон и не мог от него отделаться.

Галю его несерьезность давно уже тяготила.

— Вам сейчас играть? — спросила она.

— Нет, до меня еще двое.

Они помолчали.

— Ну, как ваш концерт, Толя?

— Когда никто мне не мешает, он идет хорошо. Но стоит Зандбергу... или даже просто скептику со стороны...

Она покачала головой.

— Не верите? — спросил он.

Нет, она все-таки была ужасно приятная! На расстоянии она его не тревожила, но каждый раз, когда он ее видел, Клумов ощущал ее чистую привлекательность и простоту. Она ему очень нравилась. Он обнял ее.

— Толя, пустите!

Ей было неловко. В консерваторской сутолоке Галя чувствовала себя только ученицей.

— Толя, увидят...

— Приходите, Галенька, сегодня ко мне.

— Я не знаю... Сегодня?

— Вы заняты?

— Мне нужно играть.

— Нет, вы скажите мне точно: вы заняты?

«Вот эгоист!» подумала она.

— Вероятно, я все-таки соберусь.

Он привлек ее и поцеловал.

— Я вас жду, — сказал он и открыл дверь класса.

На мгновение перед ней предстала картина ровной учебной жизни: скрипач, стоявший вполоборота, студенты, которые его слушали, футляры на окне.

Галя медленно пошла по коридору. Она очутилась на улице, и консерваторская сутолока осталась позади.

Время до вечера показалось нескончаемым. Галя не знала, что с ним делать.

Она вспомнила несерьезный тон Клумова — ей стало не по себе. «Нужно было отказаться, зачем я обещала притти?» Этот тон мешал ей думать о Толе свободно.

В ее отношении к Клумову была странная устойчивость. Он слишком легко занял в ее сознании место, и это раздражало и подчас казалось ненужным.

И потом — эти правила легкомысленной жизни, о которых он постоянно твердил! Прав ли он? Нет, скорее всего, это — болтовня. Бывали минуты, когда ей казалось, что его взгляды подходят и к ней, но затем Галя понимала их ложность.

Она ловила себя на том, что ей хочется видеть Клумова. До вечера было еще далеко. Она испытывала нетерпение, на смену ему приходила холодность.

Галя пришла домой и бросила ноты на рояль. Она устала, не хотелось играть. Она легла.

В комнату заглянула мать и сразу заметила брошенное на стул пальто, ноты, лежавшие в беспорядке.

— Я уберу, мама, — поспешно сказала Галя.

Но Ольга Ивановна начала сама убирать, и Галя не стала с ней спорить.

— Как прошел урок?

— Ничего, средне.

— Конечно, ты совсем не работаешь!

— Нет, я теперь начала.

— Ну какие же это занятия! Толка из этого не выйдет.

Галя не могла ей объяснить, как это случилось, что она выбилась из

колеи. Перед матерью она стояла беспомощная. Положение осложнялось тем, что у Ольги Ивановны было правильное и часто безошибочное чутье; скрытность дочери была для нее оскорбительной.

Убрав, Ольга Ивановна задержалась в комнате. Галя понимала, что сейчас начнется неприятный разговор.

— Я хочу тебя о чем-то спросить.

Галя покорно взглянула на нее.

— Да, мама?

Ольга Ивановна пытливо посмотрела на дочь и, побледнев, продолжала:

— Вы встречаетесь с Клумовым?

— Нет. Я давно его не видела.

— Он тебе не пишет?

— Ну что ты, мама! Нет.

— Значит, вас ничего не связывает?

— По-моему, нет, — сказала Галя.

У нее было такое чувство, как будто она отвечает невыученный урок: она скосила глаза в книгу, и ее сейчас уличат.

— Странная вещь! — продолжала Ольга Ивановна. — У них роман, они не могут дня провести друг без друга, и вдруг — как совсем посторонние люди!

— Ну так... — сказала Галя, — так получилось.

— Неужели ты его никогда не встречаешь в Консерватории?

— Нет... иногда, случайно... Знаешь что, мама, — сказала она, наконец, поборов неловкость, — лучше не будем об этом говорить.

Ольга Ивановна стремительно повернулась. Нужно было успеть уйти из комнаты так, чтобы дочь ничего не заметила.

Галя беспомощно смотрела ей вслед. Вероятно следовало что-то предпринять: пойти за ней и объясниться. Но Галя была не в силах разговаривать.

Она поднялась, неприязненно посмотрела на рояль. Не зная, что с собой делать, подошла к нему и открыла крышку, потом придвинула ногой стул.

Она начала играть какую-то пьесу, очень давно не игранную и почти забытую.

Мать на кухне, услышав вещь, кото рую Галя учила в детстве, еще острей почувствовала свою боль. Ее иллюзии, наивные ее представления пробудились от этой пьесы, — весь, как ей казалось теперь, напрасно пройденный путь.

Галя играла бесцельно; игра не мешала движению мыслей. Какое несчастье, что она родилась в семье, где царят особые представления. Эти правила жизни ей не подходят. Они требуют от нее, чтобы она не была такой, какой хочет быть. В другом кругу она была бы свободной и могла бы решать все за себя.

Она терпеть не могла громких сцен. Если бы она просто, без преувеличения сказала матери, что очень ее любит, но должна все теперь решать без нее, та все равно бы горько обиделась.

Смеркалось. Галя остановилась и прислушалась. На кухне была полная тишина. Отец еще не приходил. Галя подумала, что лучше ей теперь же уйти.

Она начала следить за тем, что происходит за стеной. На кухне за-

жгли примус, его шум заполнил квартиру: можно было уйти из дому незаметно. Она схватила пальто и осторожно пошла к выходу.

Очутившись на улице Галя вздохнула свободней. Она чувствовала свою вину перед домом, и все же здесь ей было удобней и легче. Объяснение ей не угрожало, и потому ей казалось, что она могла бы его принять. Ей хотелось искренно объяснить матери, в чем ее давнее заблуждение и ошибка, и установить с ней правильный тон.

Итти к Клумову было еще рано, и Галя пошла к реке. Стало прохладно, она надела пальто.

Она почти не думала о том, что ее ждет сегодня, как она встретится с Толей и о чем будет с ним говорить. Она главным образом думала о том, как заполнить остающееся время.

Небо было еще по краям светлым. Отблески солнца потухали, и постепенно на улицах водворялась прозрачная темнота осеннего вечера.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Профессор Зандберг размечал в партии пальцы. В классе царило мирное настроение, и внешне он был мало похож на класс Льва Львовича. Зандберг работал спокойно, не торопясь. Голос у него был мягкий и, казалось, душевный; но доверяться его душевности нельзя было, и ученики понимали это. За нею стояла терпеливая, точная и почти неукоснительная система приемов.

В некоторых отношениях Зандберга можно было сравнить со Львом Львовичем. Оба пользовались признанием учащихся. Обоим было свойственно зрелое понимание искусства. Прежде сердцевина искусства чаще всего оставалась закрытой. Ее постигали талантом, чутьем, интуицией, но приемов к постижению ее педагог не давал. Он окутывал ее возвышенными словами, и она казалась доступной лишь избранным.

И Лев Львович и Борис Игнатьевич Зандберг знали к ней путь.

Но тут начиналось различие между ними. Лев Львович, страдая от непризнанности, был уверен в превосходстве своих методов преподавания. Однако в других классах, где методы были иные, тоже играли хорошо. Он объяснял это счастливым подбором учащихся и тем, что, будучи недостаточно признанным, он не может собрать выдающийся класс. Таким образом, Лев Львович был убежден, что свои более совершенные методы он применяет к учащимся с меньшим, чем в других классах дарованием.

Положение Зандберга было иным. Его признали сравнительно быстро. Он никого не успел обидеть. Его методический труд, освещавший темные закоулки искусства, покорял учеников.

Оба, и Лев Львович, и он, принадлежали к тому поколению, которое своим ростом было полностью обязано революции. Они могли это отвергать, они могли считать свой рост независимым от общества, однако именно тот новый мир, в котором они жили, сделал их понимание искусства не только возвышенным, но и реальным.

Скрипач, игравший до Клумова, ждал, пока Зандберг разметит пальцы.

— Вниз? — спросил он.

Зандберг пометил штрих. Он вернул ноты студенту, и тот снова начал играть. Игра его отличалась мягкостью. Она была уравновешенной

и в то же время теплой. Эти свойства Зандберг прививал всем своим ученикам: исполнение приобретало черты зрелости. Так играли и подростки, и почти готовые скрипачи — с чистотой замысла и тонкой отделкой штрихов. По отношению к скрипке задача Зандберга состояла не в том, чтобы доказать, что она обаятельна, благородна и чиста: эти свойства следовало навсегда закрепить за пальцами. Задача нелегкая, и она требовала умелого напряжения сил.

Клумов, слушая игравшего, испытывал удовлетворение от пластичной и ясной передачи. «Пройдет несколько лет, — думал он, — она покорит страну, и этот невысокий человек, их учитель Зандберг, который сидит здесь за роялем, будет известен всем. Он с виду скромен и малозначителен, однако он преобразовывал свойства скрипичного звука, певучесть инструмента в его системе игры открывалась в ее естественной красоте. Ее вооружала точность штрихов и слитная беглость. Краски, которые он накладывал, были умеренны и благородны.

Но Клумов знал и другое: вот он сейчас возьмет скрипку, и ему трудно будет удержаться в границах, поставленных Зандбергом. Это изящество и благородство невозможно копировать, его нужно либо принять без остатка, либо созерцать, но не следовать ему.

В те часы, когда скрипка Клумову подчинялась, он брал от нее то, что теперь так естественно давал в своей игре другой ученик. Иногда Клумову казалось, что это есть как раз то, о чем он мечтал. Тогда он проникался горячим желанием во всем следовать указаниям учителя.

Однако надолго его нехватало. Беспорядочная и нелепая сила увлекала его. То перед ним открывался путь другой, ясный и по-своему совершенный, то он начинал бродить впотьмах. Он понимал, что он неэкономен в работе и, занимаясь поисками того, что найдено до него другими, осложняет свой путь и, быть может, свои стремления.

Сегодня он играл хорошо и с той полнотой чувства, которая очищает рассудок. Эта сила и теперь поддерживала его, хотя в присутствии посторонних она делалась менее яркой.

— Ваша очередь, — обратился к нему Зандберг.

Он спокойно ждал, пока Клумов настраивал инструмент. Внутренняя торопливость мешала Толе в присутствии Зандберга добиться идеального состояния квинт.

Он поднял скрипку: на подбородке обозначилась складка, лицо окаменело и стало острей.

Борис Игнатьевич начал играть на рояле вступление к концерту. Он исполнял его напамять и в одном месте, взяв не тот аккорд, а другой, но уместный, усмехнулся и прищурил глаза.

— Ну? — сказал он, остановившись, и повернулся к Клумову.

Это был самый трудный момент, когда чужое движение надо было перехватить и сделать своим. Клумов взял первые октавы — ломаные октавы начала. Борис Игнатьевич молчал. У него был взгляд человека, который взвешивает оттенки чужого слова и не торопится вставить свое.

— Недурно, — заметил он. — Дальше.

Это скромное одобрение придало бодрости Клумову. Самое трудное в игре перед классом заключалось в том, что та сила, которая управляет играющим, слитная сила, делающая игру даже в трудных местах безошибочной, в классе исчезала. Эта удивительная сила, которая спо-

собна вести играющего, как лунатика, по труднейшим местам, — могла ли она быть реальной, когда волнение или даже маленькое беспокойство ее упраздняло? Может быть, ее следовало культивировать, а Зандберг, как и Лев Львович, знавший тайны инструмента, постигший, как и он, тончайшую связь в приемах игры, наблюдал ее с озабоченным любопытством. В его присутствии слитная сила терялась.

— Чище, чище, — сказал Зандберг; он два раза взял одну и ту же ноту: — Фа, фа!

Нужно было думать о том, чтобы «фа» было чуть-чуть выше и переход в шестую позицию был идеально гладким и чтобы при обратном движении четвертый палец не задел струну.

При всем том нужно было, чтобы фраза была сдержанной, благородной и теплой. То, что слушателями воспринималось, как естественное движение ума и души, на самом деле состояло из почти неограниченного числа мелочей, и эти мелочи, владея игравшим, требовали строгости, ясного понимания и, главное, навыков. Таким образом, нельзя было сказать, что этот процесс давал игравшему наслаждение. Оно приходило, как плата за долгий и трудный путь.

От того уверенного и даже возвышенного чувства, с которым Клумов пришел на урок, осталось не так много. Он несколько раз останавливался и потерял уверенность. Теперь трудности игры вырастали перед ним внезапно, как в темноте при быстрой езде возникают рытвины и ухабы. Он почти натыкался на них и каждый раз при этом думал, что вот-вот сорвется.

Зандберг покачал головой: это был не укор, а скорее тоже наблюдение. Он взял скрипку у Клумова и с удивительно гладкой ясностью исполнил отдельные места из концерта. Казалось, это должно было прояснить сознание Клумова, — на самом деле это совершенство выросло перед ним, как крутая стена.

Когда Клумов думал об этом на расстоянии, когда способность свободного наблюдения, подавляемая на уроке, возвращалась к нему, он понимал, что по каким-то ему одному свойственным обстоятельствам он не умеет и, может быть, не сумеет в точности следовать игре педагога, сколь бы прекрасной она ни была. Между тем, она казалась такой безусловной, ее логика казалась окружающим настолько бесспорной, что отступать от нее значило проявлять упрямство, враждебность или попросту неспособность.

— Вот что, Толя, — сказал Борис Игнатьевич, он в раздумье поднял глаза и взял два аккорда, — давайте этот концерт отложим.

Клумов не нашелся что сказать. Больше для порядка он заметил:

— Мне кажется, он все-таки выйдет.

— Выйдет, да. Но лучше все-таки отложить... Возьмите... Что бы вам дать?

Клумов ждал так, как человек ждет наказания. Он еще сегодня утром нашел именно в этом концерте особую силу интерпретации, она показалась ему новой, смелой и еще не найденной никем, а тут, измеренный общей меркой, он был побежден. При этом Зандберг со своей позиции был прав: действительно, свою свободу Клумов не сумел отстоять и играл в этом, не своем, а зандберговском ряду, несмело и далеко не безупречно.

— Что же взять? — спросил он.

— Возьмите... Давайте, возьмем что-нибудь полегче.

Клумов стоял униженный и ни на кого не глядел.

— Концерт Баха, что ли.

Это было обидно, хотя и последовательно: раз он не сумел защититься, он должен в присутствии других оплатить стыдом свою слабость.

— Ученический концерт? — спросил Клумов.

— Это будет зависеть от вас.

Действительно, границы между ученическим и неученическим в искусстве не существовало. Строго говоря, все было равно значительным. Тут все сводилось к профессиональному самолюбию: были вещи более и менее трудные. Ими мерялись скрипачи, пианисты, — все. Клумов сознавал, до какой степени эта мера мелочна, но не сумел стать выше ее.

Он молча сложил скрипку, зачем-то два раза ее переложил и, в конце концов, собрался.

— До свиданья, Борис Игнатьевич, — сказал он.

Зандберг кивнул ему спокойно и приязненно. Он уже внимательно и почти с любопытством ждал другого, смотрел, как тот настраивал инструмент, а сам в это время медленно перебирал на рояле аккорды. Он брал их с рассудительной и сдержанной теплотой. Даже и в этом обнаруживались выдержка и глубина. Это была выдержка музыканта, который свою артистичность подчинил педагогическому труду. Со стороны она представлялась мягкой и чуть-чуть меланхоличной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Держа подмышкой футляр, Клумов шел, не торопясь, по улице. Был хороший осенний день. Солнце ослепительно отражалось в окнах. Такие яркие дни выдаются ранней осенью.

Опять все вышло наперекор тому, как он думал, и он хотел понять, почему так случилось. Он считал правым себя: Зандберг забрал лучшее — свободу игры — и подсунул ему заботы о мелочном и опрятном порядке.

На уроке Клумов начал играть слишком самостоятельно. Зандберг в таких случаях с интересом ждал промаха. Промах бывал ему нужен для того, чтобы начать выверять целое, а Клумова этот метод обессиливал. Зандберг улучшал частности, а вся игра Клумова начинала шататься.

Сегодня это с ним случилось не в первый раз — такова была участь многих его уроков. Толя пытался понять, как получились эти промахи. Зандберг, как и Лев Львович, смотрел на них более осмысленно, чем педагоги прежнего склада: у тех трудились вслепую — здесь ученику предлагали продуманный труд. Приемы труда подчинялись системе. Однако нельзя было сказать, что она до такой степени убедительна, что ее можно обосновать и защитить. Наоборот, ко всяким теориям Зандберг относился с ироническим недоверием. И все же, когда Клумов каким-либо новым способом брал в руки смычок или отводил в сторону скрипку, или центр тяжести чуть относил в сторону, Зандберг спокойно, даже не объясняя, отменял новшество. Казалось, его опыт

включил в себя раз навсегда поиски учеников. Взамен этого он предлагал им проверенный путь. И, действительно, у него все было прекрасно: удобно, легко и, главное, благородно. Но Клумов обладал той особой формой негибкости, при которой поиски своего мешают принять чужое. Будучи очень восприимчивым к идеям, он был до крайности консервативен в усвоении готовых правил. Иногда он испытывал почти полную невозможность подчиниться догмам Зандберга, и путь от его собственной незрелости к совершенству Зандберга казался ему непроходимым. Но и свою незрелость он принимал совсем не так, как его педагог. Тот мерял ее расстоянием между ней и предлагаемой им системой, между тем как незрелость Клумова для него самого заключала в себе почти в готовом виде все то, чего он добивался. Это был еще не вполне оформленный, но уже новый путь. Клумов не соглашался ничем в игре поступиться ради правил Зандберга.

Но вот сегодня он снова не сумел себя отстоять, и педагог казался кругом правым. Правота его подтверждалась успехами класса. Люди разных лет и навыков двигались быстро, решительно и даже свободно. Никто не ставил вопроса о том, приносят ли они при этом в жертву свои личные особенности и то неуловимое своеобразие, передать которое стремится артист. Сейчас это было движение ясное и по-своему ослепительное. Внешняя скромность Зандберга располагала в его пользу еще больше. Пока еще об этом движении знали только те, кто в нем участвовал или стоял вблизи, но Клумов понимал, что оно рано или поздно выйдет наружу и прославит класс.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Милая!—начал Клумов, вбежав в комнату.—Не сердитесь, голубчик! Я застрял случайно и очень торопился.

Галя рассеянно перелистывала книгу.

— Я собиралась уходить, — сказала она.

Он снял с нее пальто и заботливо пересадил на более удобное место.

В комнате было немного вещей, и, если бы не рояль, она казалась бы пустой. На столе беспорядочно лежали книги, ноты и остатки еды. Клумов принялся наводить порядок: расставил стулья, передвинул кровать, которая была не на месте, и убрал еду со стола.

Он все делал живо; с его приходом впечатление неуютности рассеялось.

— Галенька, будем пить чай?

— Нет, — сказала Галя, — я не хочу.

Она представляла себе: сейчас он подойдет и обнимет ее; они будут разговаривать, как приятели или друзья. Ей приятно, когда он ее обнимает; ей с ним спокойно. Острота чувства приходит к ней тогда, когда Голи нет.

— Где же вы были? — спросила она.

— Забежал к девушке одной.

Он говорил с Галей, не думая о том, задевает это ее или нет.

— Роман какой-нибудь?

— Да нет! Во всяком случае, пока еще нет... Будете, Галенька, кушать?

Он пошел на кухню ставить чайник, и Галя осталась одна. Без него ей было легче думать самостоятельно: что-то ее тяготило, но что именно, она не знала.

Между тем, Клумов оказавшись один, тоже изменился: наедине с собой трудно быть несерьезным. Он вспомнил все течение дня; оно показалось ему слишком пестрым. Зачем он побежал к Вере? Важнее всего для него было то, что у него трудности с Зандбергом. Это даже не ссора, а глухие невскрытые разногласия, и неизвестно, чем они кончатся. Девушка, сидевшая у него в комнате, показалась ему очень близкой.

Когда Толя вернулся в комнату, он начал говорить о своих делах:

— Зандберг объясняет все моим нетрудолюбием. Он показывает мне, что нужно делать, а я все-таки делаю по-своему. Он прав — у меня с детства плохие приемы игры. Но я не могу работать над частностью. Мне нужна такая система приемов, при которой все было бы связано одно с другим.

— А вы ее ищете, Толя? — спросила она.

— Понимаете, Галенька, то, что я делаю, как будто не на пользу моей работе. Между тем, я иначе трудиться не умею. Я иногда нахожу такие вещи, от которых у меня кружится голова.

— А вы не слушайте его, поступайте по-своему.

— Он не дает. Я для него незаметная часть его класса, и если попробовать вылезти наружу, это нарушит порядок, который он с такой тщательностью создает.

Галя думала о другом: вот он умный, он способен увлекаться, и ему присуща даже сердечность; в его обществе Гале всегда удобно, она его легко понимает, а сентенции матери ее тяготят. Слушая его, она в чем-то узнавала себя. Может быть, они, при всем различии, одного склада? До нее дошло слово «детство». Галя живо представила себе свое и вспомнила, как она любила мать. Она вспомнила мальчика, который тогда был в нее влюблен.

Клумов сидел очень близко от нее. Она его слушала, смотрела на него. Когда она успела к нему так привыкнуть? Как это получилось, что ей с ним удобно и она к нему так привязалась?

— О чем вы? — спросил Клумов неожиданно. — Галенька!

— Что?

— Вы, по-моему, ничего не слушали.

— Слушала, — сказала она.

— А о чем я говорил?

Он заметил, что у нее по щеке ползет слеза. Клумов растерялся.

— Ну что это, право? — в замешательстве произнес он. — Галя? Голубчик! Галенька... Ну, не надо.

Галя вытерла глаза, но слезы все шли.

— У вас есть платок? — виновато спросила она.

Толя достал платок и заботливо вытер ей слезы.

— Ну, не надо, — просил он. — Голубчик мой, перестаньте.

Его охватывала нежность. Он все повторял:

— Галенька, родная, перестаньте.

Он привлек ее голову, волосы были мокрые от слез. Толя бережно гладил их.

— Сходить за водой?

Она покачала головой; она не хотела, чтобы он вставал. Толя сидел, не меняя положения, у него немели ноги, а он не двигался, как будто важнее всего для спокойствия Гали было сохранить неподвижность.

Он теперь испытывал все возраставшее чувство ответственности. Они сидели, не разговаривая, и странный восторг овладевал им. Все поверхностное отодвинулось от Толи, оно казалось бессмысленным и ненужным.

Он провел рукой по глазам Гали.

Она сказал тихо:

— Это пройдет, погодите.

Было уже поздно. За окном на улице стояла глубокая тишина; время от времени ее нарушали шаги прохожих.

Галя посмотрела в зеркальце и ужаснулась:

— Боже мой! Как я в таком виде выйду на улицу?

— Никто не заметит, темно.

— Который час?

Он высунулся в окно.

— Не знаю, часа три, наверно.

— Что же делать? — растерянно сказала она. — У нас давно спят.

Чувство ответственности перед ней было настолько значительно, что Клумов не сразу решился сказать:

— Останьтесь здесь.

Галя подумала и, подойдя к вешалке, сняла пальто.

— Нет, пойду.

— Останьтесь, Галенька, — настойчивей повторил он.

Они осторожно пробрались по коридору. Дыхание спавшей работницы сопровождало их вплоть до двери. На улице они почувствовали себя уверенней.

Дорогу перебежала кошка.

— Фу ты, чорт! — произнес Клумов, собираясь кинуться ей вслед. — Брысь!

— Вы суеверны? — заметила Галя. — Я не знала.

Он был рад, что вывел ее из оцепенения.

— Вернемтесь, — сказал он снова. — Все равно у вас спят.

Они дошли до ее дома. Во всех окнах было темно.

— Вот видите, — продолжал он, держа ее за руку, — я был прав.

Галя постояла в нерешительности, затем медленно повернулась и пошла с ним.

В коридоре так же настойчиво дышала во сне работница. В комнате продолжал гореть свет; после улицы он показался очень ярким.

Клумов собрался было стелить постель; потом понял, что делает не то, и положил все на прежнее место.

Подойдя к Гале, он осторожно вытащил шпильки из волос: затем усадил ее на кровать и начал снимать туфли. Он удержал в руках галину ногу и поцеловал.

Для себя он разостлал на полу газеты и после этого погасил в комнате свет.

— Засните, — произнес он тихо, — засните, голубчик.

В темноте Клумов разглядывал ее лицо и не смел двигаться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В эту ночь она не стала его женой. Чувство ответственности и почти братской нежности, охватившее Клумова, не позволяло ему подойти к ней. Было несколько таких вспышек, от которых он почти терял голову. Он чувствовал, как его охватывало опьянение и все вокруг начинало двигаться.

Он осторожно поднялся и, подойдя к кровати, заглянул в галино лицо: она спала. Его забота о ней и ответственность за нее приобрели необыкновенную значительность. Клумов погладил галину голову и дотронулся губами до лба.

Ночь, светлевшая у краев, доносила до комнаты едва уловимый ветер. Странное ощущение владело Клумовым. Девушка, очень близкая ему, лежала здесь, а он, влюбленный в нее, вместо слепого и пылкого чувства, испытывал другое, более сложное. В его представлении, как и в представлении многих, существовал образ силы, почти обязательной мужской настойчивости и даже грубости. Все это выдавалось за образец цельности. Клумов был теперь далек от него.

Прежде он влюблялся неудачно, он впадал в зависимость от своего чувства и становился неуклюжим. Женщины, покорявшие его воображение, чаще всего относились к разряду так называемых интересных, они были чем-то всегда недовольны. Свой эгоизм они облекали в такой наряд, что их недовольство он воспринимал возвышенно, как драматическую сторону их жизни. При этом он попадал в ложное положение утешителя, не подозревая, что их драматичность не препятствовала им прибегать к другим более естественным утешениям.

Наконец, это ему надоело. Наивная сострадательность показалась ему смешной. Он встречался с женщиной, которая будто бы умирала от туберкулеза; он мучился и устраивал ее дела, а когда спустя два года Клумов встретил ее цветущей, но не менее недовольной, он признал, что был глупым. Другая женщина стремилась на сцену. Тысячи интриг и происков окружали ее. На службу ее стремлениям ставилась и наивная сострадательность Клумова, ибо искусство было вправе принимать жертвы. Однако спустя много времени он встретил эту женщину в скромной и скучной роли статистки и, не решаясь сразу признаться себе, заподозрил, что способности ее вряд ли давали ей право на большее.

В конце концов, Клумов понял, что все эти недовольные женщины в своем большинстве были попросту эгоистками, — они не стеснялись эксплоатировать его влюбленность.

Он перестал им сочувствовать. Попрежнему время от времени они беспокоили его воображение. У Клумова была опасная склонность к дурному вкусу, но с годами стало легче видеть себя со стороны.

Клумов ударился в другую крайность — решил пойти по пути легкомыслия. Он начал развивать в себе нетребовательность. Это открывало широкую возможность встреч и видимость разнообразия. Кроме того, этот путь облегчал и будто бы сглаживал трудности Клумова и в искусстве. Легкое отношение к женщине должно было означать в его глазах большую жизненную простоту и стремительность.

Однако он увлекался взглядами не меньше, чем поступками. Галя оказалась благодарной слушательницей, и свои донжуанские взгляды

Клумов выложил перед ней с эгоистической прямотой и недогадливостью. Это, впрочем, не помешало его роману с ней, однако запутало его до крайности. Отношения Клумова с Галей и укладывались в тот искусственно легкий путь, который он для себя будто бы выбрал, и в то же время разительно не совпадали с ним.

Теперь эта девушка спала у него в комнате, и Клумов сидел возле нее, проникнутый чувством взрослой ответственности. Он знал, что она станет его женой, его донжуанство ушло от него и как будто без следа растаяло в том бесформенном и широком чувстве, которое владело им.

К утру Клумов заснул. Он разложил поверх газет пальто и вытянулся на нем. Ему казалось, что он спал бесконечно долго. Он совсем потерял представление о времени.

Галя уже не спала. Поймав ее взгляд, Клумов вскочил. Все вернулось к нему, и в первую очередь, — заботливое и нежное чувство.

Она смотрела на него растерянно.

— Что мне делать, Толя?

— Вы давно не спите?

— Как я пойду домой?

— Скажете, Галенька, родным, что вы выходите замуж. Вот и все! И не нужно об этом думать.

Она молчала.

— Галенька, ведь мы все решили? Да?

— Да, — произнесла она.

— А о чем вы теперь думаете? — спросил Клумов.

— Ни о чем, так.

В ее глазах он был именно тем донжуаном, каким он себя изображал. Она думала о том, как много романов было у него, и теперь, делая новый шаг, ступала так же нерешительно, как ступают по доске, которая вот-вот окажется под водой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Галя пришла домой растерянная. Увидев ее, мать побледнела.

— Боже мой! Значит, ты решила с нами порвать?

— Мама, — сказала Галя, почему ты это так трагически представляешь? Ведь все выходят замуж, разве только я одна?

— Но за кого? Ты отдаешь себе отчет в том, что такое Клумов? Легкомысленный, ветреный, с какими-то фантазиями...

Галя обиделась за него.

— Он не такой, как тебе кажется.

— Но ведь ты сама о нем так говорила!

— Нет, ты меня неправильно поняла.

Она не в состоянии была объяснить матери, что если даже и говорила о нем похожее, то это было совершенно не то, что теперь говорила мать.

— Ты стала его женой? — продолжала Ольга Ивановна. — Галечка, я прошу тебя, скажи правду.

— Я выйду за него замуж, — стойко ответила Галя.

Ольга Ивановна привлекла к себе дочь.

— Галенька, родная моя, я тебя умоляю, — подумай! Потом будет

поздно. Ведь ты знаешь его — это брак на две недели. Как ты будешь себя чувствовать, когда он от тебя уйдет? Он разобьет тебе жизнь, ты и так забросила музыку. Подумай, Галенька, умоляю тебя!

Она просила, и то ей казалось, что перед ней прежняя Галя — очень податливая, сговорчивая и как будто даже неспособная к серьезному чувству, то в новом припадке отчаяния она догадывалась, что все это неотвратимо и вернуть дочь уже нельзя Как она не понимает, что это сложно, ответственно и что это совсем не то, что она об этом думает!

— Мамочка, — сказала Галя, робко высвобождаясь, — я опаздываю в консерваторию.

— Как раз сегодня на тебя напала усидчивость! — Ольга Ивановна резко встала. — Нет, я совершенно вас не пойму. Это какая-то комедия, а не жизнь! Ты выходишь замуж и в то же время спокойно отправляешься на занятия.

— Но ведь там же не знают, что я выхожу замуж, — сказала Галя.

— Но ты, ты! Ты себя чувствуешь так, как будто ничего не случилось!

Галя ничего не ответила. Она начала искать ноты, которые ей, впрочем, не нужны были. Она рылась в тетрадях и думала о том, как закончить этот разговор. Взглянув сбоку на мать, она заметила, что та очень изменилась за ночь — похудела и постарела. Ей вдруг стало страшно; она подумала, имеет ли она право причинять ей такое горе.

Она подошла к Ольге Ивановне и погладила ее по голове. Ольга Ивановна отвела голову.

— Ты когда вернешься?

— Скоро... Нет, может быть, я задержусь, мне еще на гармонию. Ты не беспокойся.

— Поела бы сначала, — неожиданно сдавшись и почти обессилев, произнесла Ольга Ивановна.

Она хотела было подняться и пойти приготовить что-нибудь.

— Нет, нет, — сказала Галя с беспокойством. — Я не могу. Сиди, мамочка, я должна уйти немедленно.

И она ушла, оставив мать в состоянии полной растерянности.

В этом состоянии Ольга Ивановна просидела недолго. Ей показалось, что она упускает очень важное время и потом будет поздно что-либо предпринимать.

Она лихорадочно-быстро оделась и выбежала на улицу.

Ей нужно было увидеть Клумова. Ей казалось, что он уже ушел и она опоздала. Несмотря на сердцебиение, она шла все быстрее.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

После ухода Гали, Клумов в первые минуты почувствовал облегчение: он как бы снова получил в обладание свою комнату.

Он ночью мало спал и, оставшись один, прилег. Заснуть он не смог. Полежав немного, Клумов взялся за скрипку. Он припомнил вчерашний урок в классе, и сразу все трудные обстоятельства его жизни обступили его.

Концерт Бетховена, отвергнутый Зандбергом, было теперь неприятно играть. Порывшись, Клумов нашел ноты Баха и начал просматривать забытый концерт. Он начинался с энергичных движений. По началу все

удавалось, но, играя, Клумов сам себя готовил к тому, что вскоре от повторений концерт потускнеет, и то, что теперь дается рукам легко, потом придется закреплять упорным трудом.

Галя не возвращалась. Тот короткий промежуток времени, когда он успел пережить преимущества одиночества, прошел, и теперь Клумов дожидался ее с нетерпением.

Ольга Ивановна позвонила. Ей отворили соседи. Он не слышал звонка.

Она была здесь в первый раз. Ее поразила неопрятность квартиры, и при мысли о том, что дочери угрожает опасность здесь остаться, Ольга Ивановна прониклась еще большей решимостью.

Постучав в дверь, она почувствовала, что у нее сердце бьется чересчур сильно, и хотела подождать в коридоре. Но было поздно.

— Войдите! — сказал Клумов.

Он отложил скрипку и начал развязывать подушечку, лежавшую на плече. Увидев Ольгу Ивановну, он растерялся.

— Пожалуйста. — Клумов торопливо придвинул стул.

Он знал, что его ждет что-то недоброе. Приход Ольги Ивановны должен был означать примерно следующее: «Ты думаешь, мол дочь — как все? Ты думаешь, что она так же независима и беззащитна? Ты ошибаешься! За ее спиной стоит семья и не даст дочь в обиду».

Мысль о том, что его считают обольстителем, заставила Клумова ожесточиться.

—Анатолий Андреевич, — начала Ольга Ивановна официально, — я пришла к вам, как мать.

Она остановилась. Он видел, что ей нужно собраться с силами.

— Вы достаточно взрослый, и я не осмелилась бы вмешиваться в вашу жизнь. Но речь идет о моей дочери.

У Ольги Ивановны дрогнул голос.

— Простите меня, — продолжала она, — у меня достаточный опыт жизни, — ведь это не первое ваше увлечение?

Клумов не отводил взгляда от Ольги Ивановны и ничего не в состоянии был сказать.

— Я отношусь к вам с уважением и хочу быть с вами искренней, — продолжала между тем Ольга Ивановна. — Вас привлекло в Гале ее простодушие, легкость характера. Я знаю и ее недостатки и достоинства. Можете ли вы взять на себя ответственность за нее?

Клумову стало тяжело. Он не думал, что к нему могут относиться так неприязненно.

— Ольга Ивановна, — сказал он, — вы уверены в том, что можете этот вопрос решать за Галю?

— Я обязана! И вы, как человек более опытный, отвечаете больше ее. Хотя и с нее, — добавила она, — я ответственности не снимаю. Но расплачиваться ей придется больше, чем вам.

Ни Галя, ни он не собирались ставить друг другу условий. Их отношения, казалось Клумову, складывались свободно, а тут его как будто ловили в капкан. Эта мысль его раздражала.

— Ольга Ивановна, — сказал он, — вероятно, единственное, что вас устроило бы, — это мой отказ. Но ведь это касается Гали и меня. Как вы можете этого требовать?

Она посмотрела на него. Перед ней сидел человек упрямый и, как ей показалось, настойчивый.

«Если он женится, — подумала Ольга Ивановна, — он мне этого разговора не простит».

— Вы Галю любите? — спросила она покраснев.

— Не знаю, Ольга Ивановна, — сухо произнес Клумов. — Я на такие вещи отвечать не умею.

— Наверное я ничего не понимаю! В наше время ни один человек не ответил бы так. С вашими взглядами...

— Ольга Ивановна! — сказал он с раздражением. — Откуда вы знаете мои взгляды?

— Ах, уверяю вас, все это проще, чем вам кажется! Вы воображаете нивесть что вокруг себя.

Она встала: продолжать разговор было бесполезно.

— Подумайте, Анатолий Андреевич, — сказала она, — ведь вам незачем торопиться.

Клумов ничего не ответил. Он проводил ее и вернулся к себе. Приход Ольги Ивановны задел его за живое. Существовали простые и трудные обстоятельства, и он, оказывается, обязан был их знать и считаться с ними. Институт семьи показался ему отвратительным.

Когда Галя зашла к нему, он встретил ее настороженно и с опаской.

— Это правда, что я нечестен? — спросил он.

— Вы очень милы, — сказала она беззаботно.

— Приходила ваша мать и почти уверила меня в моей непорядочности. Я должен дать подписку, что женюсь на вас навсегда, что вы меня очень любите и я вас не меньше, что у меня намерения честные и я не бандит.

— Толя, не будьте злым, — сказала она.

Беззаботность ее пропала. Клумов понял, что тон его неуместен.

— Бедная, — произнес он, — вам с обеих сторон достается. Я совсем не знал, Галенька, что это такая трудная вещь — жениться.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Наступил вечер. Теплое небо, забеленное светом луны, было чистым. Луна поднялась из-за домов и залила все вокруг.

Клумов и Галя вернулись усталые от ходьбы. Галя испытывала неловкость при мысли о том, что она отсюда не уйдет.

— Мне очень жаль маму, — сказал она. — Как ей теперь нехорошо.

— Знаете что? Не думайте. Лучше об этом совсем не думать.

Она остановилась в нерешительности. В этой комнате, где она была много раз, Галя чувствовала себя теперь непривычно.

На столе лежали цветы. Под ними были конфеты. Отодвинув их, Галя обнаружила записку.

— Обоим, — сказала Галя обрадовавшись. — Смотрите, Толя! От мамы.

Он прочитал: все преимущества были на его стороне. Он почувствовал отдаленную симпатию к Ольге Ивановне.

— Галечка, — сказал он, — как это у нас будет теперь называться — семья?

— Может быть, и не семья. Как хотите.

— Тогда как же называть? «Мы сошлись?» Это ужасно! По-моему это совсем отвратительно.

— Отвратительно, — сказала она.

— Тогда, может быть, — «мы поженились»?

— Можно так, — согласилась она. — Толя, я ужасно устала. У меня даже голова кружится от усталости.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Бобе Бельнику, больше из деловых соображений, которыми была полна его голова, пришла мысль использовать молодых музыкантов. Чаще всего студенты играли в театрах, в кино. Они не видели еще перед собой широкого поля работы, и будущее представлялось им туманным.

Со своим проектом создания бригад Боба решил пойти в профком. Председателем его был нерешительный и флегматичный валторнист Дьяконов.

Боба обратился к нему. Он сел, спросил папиросу и неодобрительно осмотрел плохо обставленный класс. Прежде здесь занимались. От этого времени осталось плохое пианино. Во всем остальном класс удивительно быстро приобрел вид канцелярии — со столами, шкафами и журналами карточек. В свободное время Дьяконов играл на валторне. Она лежала у него на столе, и, окруженный студентами, председатель время от времени безнадежно на нее поглядывал.

— Дело вот в чем, — начал Боба: — работаете вы, по-моему, из рук вон плохо!

Председателя удивило это начало. Бобу он, кажется, до сих пор не встречал.

— Ты насчет чего говоришь? — хмуро справился Дьяконов.

— Насчет всего, а главным образом насчет концертов.

— А-а, концерты бывают по праздникам.

Тогда Боба начал излагать свой план работы в клубах. Он говорил уверенно и толково, но председатель скучно покачивал головой.

Боба знал, что, если он выложит свое предложение быстро, оно покажется Дьяконову легковесным. В это время в профком весьма кстати вошел студент. Пока тот рассказывал свое дело, Боба сидел, полный чувства превосходства, и отбивал пальцами на столе какой-то пассаж. Затем он вернулся к разговору.

— Есть ли среди широких масс потребность в музыке?

Он подождал. Дьяконов не отозвался. Тогда Боба сам ответил.

— Есть. Любят ли у нас концерты? Любят. Можно найти десятки мест, где хотели бы слушать концерты.

— Что ты мне говоришь? — перебил его Дьяконов. — Я это знаю сам.

Сила бобиного убеждения заключалась в том, что он умел нагромождать бесспорные истины в достаточном количестве и правильной связи. Так, задавая вопросы и сам на них отвечая, он постепенно пришел к выводу, что слушатели есть, музыку можно слушать и, стало быть, музыку можно исполнять.

— Какую музыку? — спросил Дьяконов. — Скрипка, рояль?

— Почему? — возразил Боба. — Слушать будут даже твою похабную валторну. Какие там у вас существуют концерты?

— Вебер. Кто там еще? Матисс.

— Ну, такую дрянь ты, конечно, играть не будешь, а что-нибудь с бо́льшим смыслом можно. Словом, — сказал он, — я берусь организовать десять клубов, и мы будем обслуживать их бригадами из студентов.

Дьяконов слушал с недоверием.

— Мы и так посылаем бригады, а толку нет, по второму разу никто не берет.

— Чудак ты, — нужно оформить договора! Создайте производственный отдел.

Дьяконов, вытащив из стола папку, просмотрел списки бригад.

— У нас отдел такой есть.

— Значит плохо работает, — невозмутимо сказал Боба.

Дьяконов, не торопясь, вникал в суть вопроса.

— Твоя как фамилия? — спросил он.

Боба ответил недовольно:

— Бельник, Бельник!

— Обратись ты, Бельник, к моему заведующему производственной частью.

Одним из правил Бобы было не разговаривать с людьми среднего положения: о делах он говорил с руководителями.

— Кто он такой у вас? — скучая спросил он.

— Теоретик такой — Колосков.

— Это какой? С глупым лицом?

Дьяконов обиделся за своего работника.

— Лицо не всегда обозначает человека, — заметил он. — Мало ли что про тебя скажут, — может быть, у тебя вид купеческий.

— Я и есть купец, — спокойно ответил Боба.

— Какой ты купец?

— Вот такой — самый обыкновенный.

Дьяконов немного растерялся.

— Чем твой отец торговал?

— Ты же говоришь о моем лице, — сказал Боба. — Отец, стало быть, не при чем.

— А торговал все-таки?

— Всю жизнь — фальшивыми звуками. Вот на такой дурацкой валторне, на альте...

— Шутник ты, — решил Дьяконов успокоившись. — Поди поговори с Колосковым.

Боба понял, что дело его не выйдет. Он ушел недовольный. Стало быть, снова приходилось вернуться к обычной жизни. «С этими людьми ничего не придумаешь: у них гибкости нет», сказал он себе.

Недалеко от учебной части Боба встретил Льва Львовича. Лев Львович устремился к нему.

— Вы нужны мне! — крикнул Лев Львович. — Вот как вы кстати! Ну, подите сюда.

Боба подошел ближе.

— Моего Мазеля не хотят записать на вечер.

— Не может этого быть, — сказал Боба строго.

Его уверенность очень импонировала Льву Львовичу.

— А вы спросили их, почему?

— Балладу Шопена F-dur играют двое — мой Мазель и некий Ситников из класса Лаговского.

— А почему, в таком случае, записан тот?

— Ну, я не знаю, мой милый! — нетерпеливо сказал педагог. — Ну, тот, может быть, комсомолец, а мой Мазель нет. Как я могу такие вещи знать?

— Комсомольцы баллад Шопена не играют, — сказал Боба авторитетно.

— Дорогой мой, ну, я не знаю! Подите в канцелярию и узнайте все подробно, я прошу вас!

Он в изнеможении опустился на скамью. Боба оставил его и направился в учебную часть.

— Вы все напутали, Лев Львович, — сказал он, возвращаясь. — Некий Ситников играет балладу As-dur. Мазеля не хотели записать потому, что за ним числятся ноты, что ли. Словом, я все уладил.

— Вот видите, дорогой, что здесь творится!

Он в прежней позе сидел на скамье. Боба имел вид наставника, который ждет, когда подопечный придет в себя.

Лев Львович помахал рукой перед лицом.

— Идемте, — сказал он Бобе, — вам нужно послушать Мазеля.

— Я не могу, я еще сам не играл.

— А-а, да-да.

Боба понял, что он допустил оплошность: преимущество перед учителем сразу сделалось нереальным. Лев Львович уже смотрел на ученика привычным образом.

— Да, да, идите играйте.

Он не знал, что бы ему еще добавить.

— У вас отвратительный звук, — сказал он. — Я даже не понимаю, как вы этого добиваетесь.

— Работой, — сказал Боба, — упорным трудом.

— Ну идемте со мной, послушайте немного.

Они пришли в класс. Мазель сидел один и играл в быстром темпе упражнения.

— Все уладили, — сказал Лев Львович. — Слава богу, все обошлось, и мы будем иметь удовольствие вас слушать.

Боба встал позади учителя.

— Я прошу вас, сыграйте нам балладу F-dur Шопена. — Он сложил на груди руки и отошел.

Мазель повернулся к клавиатуре, осмотрел ее еще раз, как бы проверяя себя. Он не заставил Льва Львовича ждать.

Его игра отличалась от игры Гали: в ней было меньше скрытых намерений, и, быть может, она была не столь тонка. Он играл ровно, свободно и в этом смысле почти безупречно. Его передача подкупала ясностью плана.

Педагог стоял в стороне и блестящими глазами смотрел на ученика.

— Недурно, — заметил Боба.

— Вы очень строги, — сказал Лев Львович, покосившись на него. Он произнес в ажиотаже: — Это превосходно! Безупречный стиль!

Мазель скромно слушал.

— Что мне делать, Лев Львович? — спросил он. — У меня финал не всегда свободно выходит.

— И не выйдет! — набросился на него Лев Львович, внезапно меняя тон. — И не выйдет, я вам говорю, потому что вы нелепо над ним работаете! Я вам, мой друг, много раз говорил, что при таком способе исполнения вы готовите себе провал. — Ну-ка, пустите!.. — Он отодвинул Мазеля и сам заиграл последнюю страницу баллады.

Увлекшись, он забыл о Бобе, и тот благополучно покинул класс.

Был уже второй час дня. Боба действительно хотел заниматься; он обошел несколько классов — все были заняты: в одном гудел контрабас, в двух классах занимались пианисты. В следующий он не зашел: издали слышна была труба. В последнем на партах сидели студенты, возле рояля стоял педагог — шел урок гармонии.

Это музыкальное разнообразие повергло Бобу в раздумье. Он помножил годы труда, нужные для воспитания музыканта, на число музыкантов в оркестре. У него получилось, что даже в скромный оркестр должно быть вложено пятьсот человеко-лет. Боба почувствовал уважение к обществу, которое питает и поддерживает этот огромный труд.

Так и не найдя свободного класса, он ушел. Он вспомнил о Гале — в консерватории ее нигде не было, ему захотелось повидать ее.

Галя нравилась Бельнику. Изредка он говорил себе, что вот превосходная для него жена. (Он думал о ней, нисколько не заботясь о том, что думает о нем она.) Впрочем, Боба считал, что он женится только по страстной любви.

Гали не было дома. Ольга Ивановна объяснила ему, что он может застать ее у Клумова. Боба ничего не выразил на своем лице.

— Благодарю вас. Она у него будет долго, я ее еще там застану?

— Не знаю, — ответила мать. — Я ее расписания не знаю. В свои дела теперь не принято посвящать стариков.

— Ну что вы, Ольга Ивановна! Разве вы старая? Вы не старая.

И, не желая оставаться в неведении, он спросил:

— Вам сколько же лет?

— Это невежливо, — сказала Ольга Ивановна. — Прежде даже мужчин не спрашивали о возрасте.

Боба не смутился. Он пробормотал что-то насчет того, что время было другое, а знать вообще важно все.

— Я все-таки пойду поищу ее, — сказал он.

Ольга Ивановна выпроводила его. Он ей не очень нравился, однако она подумала, что есть же вокруг Гали молодежь, несравненно более естественная и простая, чем Клумов, и почему-то нужно было, чтобы самый странный и неупорядоченный человек захватил ее дочь. Это показалось ей несправедливым ударом судьбы.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Вы спите? — спросила Галя шопотом.

Во сне у Толи было лицо спокойное, с оттенком суровости.

Он повернулся и открыл глаза.

— Ты, ты, ты, — произнес, он.

— Хорошо, — сказала Галя, — я скоро привыкну.

— Какая ты милая, чудесная! Как хорошо, что я на тебе женился!

Она припомнила то беспредельное чувство близости, которое владело ею; ей показалось неловким говорить ему «вы».

— Что нам нужно сегодня делать, Толя? — спросила она.

Он что-то сказал о работе. Гале показалось, что об этом можно было бы теперь и не говорить. Она повторяла про себя: «Мой Толя, мой Толя, мой». Какое-то новое право, которое она получила, наполняло ее чувством счастья. Галя взглянула на Клумова и погладила по щеке. Она подумала, что он человек с запрятанной страстью и не умеет ее свободно открыть. Ей показалось, что она взрослее его.

— Как меня угнетает консерватория, — сказал Клумов задумчиво. — Я даже первыми днями с тобой не могу насладиться честно. Она меня держит в тисках.

Галя ничего не сказала.

— Знаешь, голубчик, я обязательно поступлю на работу.

— Нет, я, — сказала она.

Ей очень захотелось сделать так, чтобы она могла о нем заботиться, чтобы он от нее до некоторой степени зависел.

Она представляла себе этот день другим; неужели Толя чувствует себя так, как будто ничего не изменилось? Нет, это был странный педантизм; может быть, за ним скрывалась горячность? Галя не хотела вмешиваться в его мир. Она удивлялась ему, но не протестовала.

Вдруг Клумов, забыв обо всем, начал ее целовать.

— Мне стыдно, что я так связан. Это меня унижает, — сказал он.

— Ты совсем, как цирковой артист, — рассмеялась Галя. — Они тоже заняты каждый день и всю жизнь подчиняют профессии.

— Но я так не хочу, Галенька! Я привязан к скрипке, но не желаю отдать ей жизнь. В конце концов, Галя, жизнь вокруг нас безмерно свободней.

— Кончай, Толя, вуз, — сказала она, — и ты сделаешь с собой все, что тебе будет нужно.

— Но я должен доказать Зандбергу, что он неправ!

Галя подумала, что, может быть, кое в чем Зандберг и прав. Но она не хотела спорить с Толей. Бессознательно она уступала ему во всем, чтобы завладеть им полнее.

Постучали в дверь: вошел Боба. Они оба немного смешались. Галя вскочила.

— Ба! — сказал он. — Вот где я ее застал! Что с тобой случилось? Ты с ума сошла или вышла замуж?

— А что такое? — спросила Галя смущенно.

— А то, что в консерватории занятия идут. Тебя исключили.

— Разве? — простодушно спросила она.

— Эта девочка поглупела. Не «разве», а тебя больше там нет! Анатолий, ты женился на ней?

— Женился, — весело сказал Клумов.

Боба сел. В полном изумлении он оглядывал комнату и хозяев.

— Женился, — повторил он. — На ней! Ты! Ну, я тебя поздравляю!

Он достал из кармана кисет и не спеша начал набивать табаком трубку: это было последнее достижение его независимой жизни.

— Хорошее дело затеяли, — произнес он ханжески-покровительственным голосом. Затем, сделав несколько глубоких затяжек, он продолжал:

— Между нами говоря, товарищи, я не понимаю, как это музыкант женится на музыкантше. О чем они говорят? О пассажах, пальцовке,

гаммах? Хороша совместная жизнь! Правда, Галька — она довольно приятная. Но все-таки: ты будешь ей жаловаться на Зандберга, а она тебе на Льва Львовича?

— Он уже жалуется.

— Конечно, я знал. И оба вы ни черта в этом не смыслите! Это каста, мои друзья, — каста чудаков и отщепенцев нормальной жизни. Попробуйте поговорить с ними о простых вещах. Боже мой! — Он схватился за голову. — Это дети! У них разуменья меньше, чем у пионера.

— Ты чепуху говоришь, Боба, — сказала Галя. — Лев Львович очень неглуп.

— А ты заметила, как он меня боится?

— Потому что ты, Боба, нахал.

— Нет, не потому. Я для него представитель советской власти, я логичен, деловит и изредка ему помогаю. Вся беда в том, что в музыкальных организациях у нас сидят пока дураки. Я из них самый умный.

— Но ты же ничем не управляешь, — заметил Клумов.

— Я управляю детской головой Льва Львовича. Хорошо, — вспомнил он, — а деньги на жизнь у вас есть?

— Будут, — сказал Клумов. — Найдутся.

— Конечно, вам нужно было бы жить в общежитии. Что это за собачья конура? — Он презрительно оглядел комнату.

За комнату вступилась Галя.

— А, по-моему, здесь хорошо.

— Ну да, потому что у вас обоих глаза влюбленных.

— Брось, — сказал Клумов.

Он не любил сентиментальных слов. Он подумал: «Неужели меня выдает внешний вид? Нет, Боба врет, вид у меня нормальный».

Ему хотелось, чтобы Боба поскорей ушел. Ему хотелось быть с Галей с глазу на глаз. Он испытывал жадную потребность в ее обществе, и оттого, что уже прошло несколько дней их совместной жизни, эта потребность меньшей не сделалась.

— Ну, дорогие мои, — сказал Боба, вставая, — живите хорошо, не ссорьтесь, пока не рожайте детей; посещайте классы, играйте сонаты на вечерах, пойте романсы и серенады. Если бы я не был таким толстокожим, я бы начал вам завидовать: в этой собачьей конуре у вас все-таки хорошо. Анатолий, я для тебя раздобуду работу: это будет моим свадебным подношением.

— Устрой в таком случае на двоих, — попросила Галя.

— А я, друзья мои, не комиссионер. Я просто добрый товарищ. Ну, обнимаю вас, я пошел.

Когда они остались одни, они признались друг другу, что его тирады их прямо таки оглушили. Клумов привлек Галю к себе.

— Я немногим лучше его, — произнес он смущенно. — Мои разговоры не лучше бобиных.

— Только он оптимист.

— Разве? Ты меня значит не знаешь: я пессимистов терпеть не могу.

— Посмотрим, Толя, — сказала она. — У меня время есть, я подожду.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ольга Ивановна с тревогой следила за Галей. То ей казалось, что Гале хорошо, и она испытывала горечь отверженности, то она начинала думать, что Галя несчастна.

— Ты довольна, Галечка? — спросила она.

Она сидела рядом с Галей и гладила ее голову.

— Довольна, мама.

— Ты, конечно, думаешь, что я пристрастна, — продолжала Ольга Ивановна. — Но у него, по-моему, очень нелегкий характер.

— Ужасный! — почти с удовольствием подтвердила дочь.

— Как же ты будешь с ним жить?

— Я думаю, это временно.

— Как временно? — недоумевая, спросила мать. — Разве характер бывает временный?

— Он меняется.

— Знаешь, папин характер не изменился за тридцать лет. Я достаточно решительный человек, и мне пришлось к очень многому примениться.

Ощущение того, что перед ней сидит взрослая дочь, что у них теперь один интерес, которого раньше не было, наполнил мать неожиданной теплотой. Сколько трезвых и горестных выводов накопила она за годы жизни! Теперь у нее появилась слушательница.

Однако Галя сказала:

— Знаешь, мама, вероятно, теперь отношения складываются иначе.

— Это вам кажется: деспотизм был и будет. В браке сильная сторона всегда угнетает слабую.

— Неужели всегда? — спросила Галя послушно.

— Кроме тех случаев, когда обе стороны независимы.

— Так ведь мы и независимы.

— Да, — сказала мать недоверчиво. — Очень хорошо, что ты думаешь так... — Она прервала себя. — Галя, ты думала о последствиях? — спросила она.

Галя покраснела.

— Я не знаю.

— Ты обязана знать, — продолжала Ольга Ивановна настойчиво. (Как это она раньше не подумала, какой ужас!) — Ты не маленькая и знала, на что идешь.

Но она поняла, что Галя не в состоянии об этом говорить даже с ней. Ольге Ивановне показалось, что она виновата в том, что сама отпугнула дочь. Сделав над собой усилие, она начала ей объяснять вещи, которые казались ей невозможными.

Она говорила точно, строго, как педагог.

Галя испытывала особое чувство: ей было приятно, что мать разговаривает с ней, как со взрослой, но из ее советов она ничего для себя не извлекла. Все это было слишком практичным и слишком далеким от ее страстной и скрытной любви.

К Толе она привязывалась все больше; характер у него был действительно трудный, но это на ее отношение не влияло. Жизнь с ним напоминала речное дно с острыми камнями, по которым ходить неудобно, и, прежде чем ставить ногу, надо всякий раз нащупывать землю.

Будучи эгоистом, Клумов умел в то же время правильно и широко

судить о других. Он не был стяжателем, карьеристом, прислужником; те свойства характера, от которых издали разило острым запахом буржуазной среды, были ему чужды.

Но дело заключалось далеко не в этом. И даже не в том, что Галя не могла бы влюбиться в обыкновенного человека, со средним стремлением к благополучию, со средним умением ладить с окружающими. Дело заключалось в том, что Клумова, со всеми его несообразностями, она любила и, сойдясь с ним, не стала любить меньше. Наоборот, это чувство стало более глубоким и кровным.

Он иногда останавливался в изумлении перед ней.

— Ты прелесть, — говорил он. — У тебя замечательный ум.

Свойства своей души ей не нужно было доказывать другим. Она не испытывала необходимости закрепить их в поступках, между тем как он страдал от потребности придать своим стремлениям жизненную полноту.

Иногда ей хотелось сказать ему: «Толя, зачем ты торопишься? Все придет само собой».

Его грызло какое-то беспокойство. Ему казалось, что время бежит мимо него, и он, Клумов, оставляет слишком бледный след.

Галя была миролюбива. Ей хотелось помирить Толю со своей семьей. Теперь, когда она имела опору вне семьи, мелочность взглядов и негибкий практицизм родных были ей не страшны. Ей казалось, что и Толя должен пройти, не замечая их; они не угрожали ему ничем.

Она уговорила его пойти к родным в гости. Трудные стороны своей профессии Клумов умел скрывать от других. Он казался внешне общительным, разговорчивым и веселым. Сергей Борисович, галин отец, расположился к нему всем сердцем. Он поставил на стол несколько бутылок пива, и они очень мирно поговорили обо всем.

— Что ж ты из него такого бандита сделала? — спросил он после их ухода у жены: — Простой и способный парень.

Она страшно обрадовалась тому, что Клумов понравился мужу. Ей самой показалось, что, может быть, страх ее был напрасным. В конце концов, Клумов — не подлец. У него сумбурное отношение к жизни, его легкомыслие — признак возраста, а не результат принципов, которых у него, в сущности, нет.

— Ты не знаешь его, — сказала она мужу, — а я знаю.

Она припомнила его лицо, когда он ее принимал, — лицо человека жесткого, упрямого и уверенного в себе; обида опять замутила ей душу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Между тем, учебная жизнь шла своим чередом. Когда на фортепианном совете обсуждали успехи учеников, Лев Львович взял себе слово и, начав с Мазеля, заявил:

— Я, разумеется, вполне им доволен. Человек, который так сознательно усваивает приемы моей школы, в моих глазах выше всяких похвал. Между прочим, хотел бы обратить внимание моих товарищей и коллег на весьма прискорбный случай; мой ученик должен был играть на вечере балладу F-dur. Я большой поклонник работы Бориса Платоновича. Но, позвольте, — зачем же некоему Ситникову, вашему, Борис

Платонович, ученику, занимать его очередь и оттеснять Мазеля на задний план? — Он обвел всех живым, беспокойным вглядом. — Я не знаю, говорят, это потому, что Ситников — комсомолец.

— Разве? — заметил профессор Лаговский. — А я и не знал.

— Ну и что же? — сказала, немного испугавшись, Анна Гавриловна. — Это хорошо.

— Великолепно! — подхватил Лев Львович. — У меня в классе три комсомольца, и, представьте себе, все трое недурно идут.

— А он играл уже? Вечер прошел? — продолжала Анна Гавриловна.

Она знала, что педагоги обладают несносной способностью, начиная говорить о главном, сбиваться на нелепый перечень мелочей. Анна Гавриловна старалась уловить тот самый момент, когда педагог начнет говорить о вещах необязательных. Она вслушивалась подозрительно и, не уверенная в себе, иногда осаживала его раньше времени.

— Вы говорите — прошел ли вечер? — разглагольствовал между тем Лев Львович: — Вы знаете, я даже сбился: у нас пошли какие-то вечера — Мийо, Равеля, Барто или Барту, — ах, я даже не помню!

— Бела Бартока, — поправили его.

— Ну, вот видите! — продолжал он не смутившись. — Даже двойная фамилия. А обыкновенный и гениальный Шопен должен ждать очереди! Я не знаю — вследствие того, что учащийся Ситников сыграл балладу As-dur, баллада F-dur подверглась прямо-таки гонению. Я хочу сказать, что ее загнали бог знает куда.

— Лев Львович, — тревожно заметила Анна Гавриловна, — вы нас заведете так бог знает куда.

— Ах, это очень важно!

Он обратился к окружающим за сочувствием и его, действительно, поддержали. Анна Гавриловна нетерпеливо постучала карандашом.

— Значит, Мазелем вы довольны? — сказала она, воспользовавшись маленькой остановкой. — А другими?

— Другие, — ответил он с жалобой в голосе. — Вы знаете мой класс — талантами он не блещет.

Лев Львович вздохнул и поднял кверху глаза.

— Почему? — вмешался Лаговский, пользовавшийся уважением всех. — У вас ведь занимается Нечаева?

— Да, изволит числиться у меня.

Анна Гавриловна надела очки и начала просматривать списки.

— Почему числиться? — с беспокойством спросила она.

Лев Львович снова обвел взглядом всех, на этот раз загадочно. Ему было приятно, что большинство присутствующих смотрит в его сторону. Он почесал переносицу и произнес капризным голосом:

— Тут есть почти интимное обстоятельство: она, как я слышал, вышла замуж. — Он вздохнул и остановился. — Она пропускает у меня пятый урок.

— Это грустно, — сказала Анна Гавриловна.

— Это ужасно! — с азартом подхватил он. — Я бы, например, ученицам с неустановившейся техникой запретил выходить замуж.

Посыпались веселые вопросы: за кого вышла замуж Нечаева и как давно, не сосватал ли их в камерном классе Лев Львович. Анна Гавриловна напрасно стучала карандашом. Лев Львович с удовольствием поглядывал на всех.

— Я не знаю, почему все беды сыплются на меня одного. У вас нет женатых учениц?

— Отчего же? Есть.

— Ну, я не знаю! Я совсем не знаю, как с ними следует обращаться. Накричишь, — пожалуй, обидятся. Все-таки, они дамы и в некотором роде привилегированные существа. Не кричать, — извините, я не умею!

— А вы попробуйте, — негромко предложил с дальнего края стола педагог Скворцов.

Лев Львович в ответ замахал руками:

— Нет-нет-нет, ради бога! Я человек старомодный.

Затем, когда оживление улеглось, перешли к другим классам. Лев Львович, чувствуя себя в некотором роде героем дня, делал время от времени замечания. Дальше все пошло гладко; Анна Гавриловна не имела оснований тревожиться. Ей казалось, что за поведение педагогов отвечает она. Это внушало ей гордость. Со своей стороны, они рассматривали ее роль только внешне: они друг к другу привыкли, и в их среде существовали определенные правила поведения, нарушать которые было не принято. Так, например, считалось неудобным критиковать работу соседа, потому что в этом усмотрели бы интриганство. Можно было с соседом не соглашаться, но говорить следовало обиняками, с дипломатической осторожностью. Молодежь, попадая в эту среду, понемногу с ней свыкалась. Тут еще был незаметен тот огромный поворот, который должен был в ближайшие годы изменить в стране все. Год великого перелома был уже не за горами, но в этом маленьком мире его и не ждали. Казалось, искусство прямой связи с жизнью не имело, и, продолжая делать привычное дело, педагоги совсем не задумывались над тем, в какой мере оно будет проверено временем и как время примет его.

После заседания Лев Львович задержался в консерватории. Он был в приподнятом состоянии.

Неожиданно он увидел Галю.

Он набросился на нее:

— Ну, что такое? Ну, почему вы исчезли? Ну, разве так можно, ай-ай-ай! Пропускаете урок за уроком!

— Я была больна, — сказала Галя покраснев.

Лев Львович посмотрел на нее спокойно и деловито.

— Грипп?

— Да, — сказал она, и краска залила ее лицо еще больше.

— Ах, знаете, натирайтесь спиртом! Я всегда таким образом спасаюсь от простуды — мой дружеский вам совет!

Он собирался было уйти, но затем снова повернулся к Гале:

— А я о вас плохо говорил на совете.

Она не решилась его спросить, почему он говорил плохо. Лев Львович объяснил сам:

— Ну что это, в самом деле? Такая способная ученица и так небрежно относится к делу!

— Я же была больна, — повторила Галя более твердо.

— Ах, мы все в разное время болеем! Посмотрите на меня: я совершенно измучен. У меня изжога, бессонница и нервы совсем, знаете, никуда!

Она была рада, что он заговорил о себе: о своем самочувствии он говорил с большой охотой.

Вдруг Лев Львович резко оборвал себя:

— Да, а вас, говорят, можно поздравить? (Галя жалко посмотрела на него.) У вас, говорят, какие-то перемены в личной жизни?

Лев Львович подождал.

— Что ж, очень рад, очень рад, — закончил он, милостиво протянув ей руку.

Он оставил Галю одну.

«Дурак Боба! — с негодованием подумала она. — Повсюду разболтал».

Потом она вернулась к мыслям о занятиях: время пронеслось так незаметно, что она только теперь поняла, что ей грозит.

Классные невзгоды — совсем особый вид невзгод: музыканты, как правило, к ним очень чувствительны.

Галя решила, что ей необходимо взяться за работу. Она и до этого занималась; каждый день, когда Галя садилась за рояль, ей казалось, что она войдет в колею. Но она не могла сосредоточиться. Наедине с собой Галя продолжала внутренний разговор с Анатолием. В его суждениях было много такого, что ее задевало и подавляло. Продолжая играть, Галя не могла оторваться от этого непрекращавшегося движения мыслей.

Со стороны могло показаться, что работа ее бесполезна. Но это было не совсем правильно: монологи Гали, которые она произносила про себя, странными путями связывались с игрой.

Когда Галя, наконец, явилась после перерыва в класс, она с опаской посмотрела на товарищей: ничто не изменилось, — те же требования, те же слова.

— Ну-ну, — сказал Лев Львович, потирая руки, — с удовольствием вас послушаю.

Он выпрямился и сделал несколько энергичных шагов. Он готов был выслушать то новое, что могло появиться в галиной игре. Он был в миролюбивом настроении.

Галя села за рояль, не доверяя себе: несколько эпизодов в сонате Листа не получались у нее и очень стесняли ее свободу. Она представляла себе, как обрушится на нее Лев Львович, когда она к ним подойдет; она уже слышала его едкие замечания. Но с первых же тактов игра Гали пошла хорошо, может быть, потому, что у Льва Львовича хватило терпимости, и он простил ей кое-какие промахи, Галя почувствовала себя уверенней.

— Постойте! — попробовал он сказать ей в одном месте.

Галя не остановилась. Она только кивнула головой.

Ей было приятно, что ее слушает не только Лев Львович, но и другие.

— Ах, очень мило! — произнес он, наконец.

Он подошел к ней ближе.

— Ну, пожалуйста, сыграйте еще раз это место; оно, правда, очень мило звучит.

В его глазах было заметно бескорыстное увлечение.

— Превосходно, — сказал он и затем, остановившись посреди класса, оставил Галю в нерешительной позе.

— Эту вещь мы сыграем на вечере.

— Когда?

— Вот какая точная ученица! Ну, когда будет готова! — Потом Лев

Львович решил, что срок все-таки лучше назначить: — Ээ... недели через три. Вы справитесь?

— Постараюсь, — сказала Галя.

После долгого перерыва она вновь испытывала подъем, как всегда после удачи. Ей хотелось поскорее притти домой и сесть за рояль.

Между тем, Лев Львович, полный отеческой снисходительности, продолжал:

— Что же вы... ээ, с вашим... (Он не знал как сказать — супругом? мужем?) — партнером не приходите ко мне в камерный класс?

Слово «партнер» нашло немедленный отклик на лицах товарищей.

— Мы придем, — бодро ответила Галя.

— Друзья мои, — обратился Лев Львович к ученикам, — нам вообще нужно составить план открытых вечеров. Шпирт, вы что хотели бы играть?

С обычной сумрачностью Шпирт сказал:

— Мне все равно.

— О-о! — произнес Лев Львович. — Так мог бы ответить Франц Лист или Антон Рубинштейн. А вы? — обратился он к Бельнику. — Вам я бы дал сонату Метнера.

— Что-нибудь попроще, — сказал Боба.

— А-а, великолепно. Упражнения Черни! Вы поразите всех беглостью и чистотой.

Галя ушла из класса, не дождавшись конца обсуждения.

По дороге она припомнила, что у нее не готов обед. Они обедали дома, это доставляло им особое удовольствие: они как бы вновь обживали комнату.

На столе лежали свежие овощи. Анатолия не было: он оставил все и ушел. При всей своей бесхозяйственности он охотно выполнял свою часть семейных забот. Он даже старался взвалить на себя возможно больше и вносил в это пыл и нежность. Семейное начало, вкус которого он забыл очень давно, возрождаясь, доставляло ему тайное удовольствие. Многое из того, что по его еще недавним взглядам, должно было ограничивать и мешать, теперь открывалось с новой стороны. Он полюбил семейную теплоту и уют.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Клумов расстался с семьей давно. Ему даже трудно было припомнить, когда он был с ней тесно связан. Правда, он навещал ее, изредка ездил в провинцию к своим. Оказалось, что его любили в семье, а он этого до последних лет не знал и давно привык считать себя лишним.

С самых ранних лет наблюдения и память Клумова сохранили тягостные следы того дурного, мелкого и нелепого, что несла в себе дореволюционная мещанская семья. Ее основа казалась ему тогда незыблемой и безусловной, и тем больше она ожесточала его. С детства он мечтал, как вырастет и уйдет от своих. В то время ему казалось, что его семья хуже других, что она представляет из себя какое-то исключение, что в других семьях жизнь легче, умней и естественней. Он не выносил неестественности. Когда к его сестрам приходили знакомые, сестры сразу менялись: говорили с другими интонациями, иначе смеялись. Толя

переживал это с тайным чувством стыда. Ему хотелось закрыть глаза, заткнуть уши, заснуть и проснуться в другой, непохожей среде. Его оскорбляли мелкие мерки семьи, ее узкие взгляды. Он не понимал их основы, и то обстоятельство, что люди очень небольшого достатка стараются отгородиться от людей еще меньшего достатка и питают особый нездоровый интерес к людям достатка большего, внушало ему чувство унижения. Существует демократизм врожденный, он не мирится с навязываемыми ему различиями и с трудом переносит насилие над собой. Он не желает признавать деления людей, принимая для себя лишь те, которые сам находит в своем опыте. Клумов не знал еще, с чем связано это унизительное расслоение общества, узость его взглядов, мелочность правил. Он не понимал его основы, но в слуховом и зрительном, в моральном и эмоциональном отношении это общество оскорбляло его. Оно угнетало его, и он его ненавидел. В частности, свои оскорбительные взгляды оно проводило через семью, и он надолго усвоил почти болезненную к ней неприязнь.

Прошли годы, и семья распалась. Она потеряла свою ценность, перестала говорить на один голос. Революция растормошила ее, растрясла и все в ней передвинула. Попадая время от времени домой, Клумов с почти мстительной радостью видел, какие глубокие изменения революция произвела в нем. Постепенно мелкие понятия этого круга заменялись более современными. Они звучали неуклюже, а может быть, и неискренне, но их принятие означало, что от прошлого не осталось почти ничего, что бы заслуживало защиты. Когда бывшая прислуга становилась студенткой и люди самого разного звания добивались всего, независимо от их прошлой нищеты, трудно было найти опору, на которой удержались бы старые, унизительные понятия.

В семье Гали он тоже увидел начала расчетливости и тех узко-практических взглядов, которые он ненавидел. Но здесь все это было иначе окрашено и выглядело приличнее.

В конце концов, он бы мог отнестись лучше к современной семье, хотя бы потому, что она естественно входила в то огромное целое, которое называлось советским обществом. В этом обществе Клумов, как и тысячи людей его поколения, дышал свободно; оно не стесняло его показной моралью, не требовало от него ложного драматизма, не ограничивало искусственными правилами внешнего поведения. Это был свободный воздух двадцатых годов в стране, которая вышла из столкновения с внешним миром окрепшей нравственно, свободной от предрассудков и способной по-новому ценить любые правила общественной жизни. На глазах молодежи догнивали деспотизм старой семьи, либерализм, ханжество и множество разновидностей лжи. Никому не было дела до этих уродливых примет ушедшего времени, а те, кто знал их по своему детству, с радостью наблюдали, как вымирали старые ощущения.

Новая семья создавалась, быть может, и с отклонениями, но лишь человек, зараженный ретроградством, мог бы ее обвинить в прежних грехах. И все же нужен был еще ряд лет для того, чтобы, забыв уродства старой семьи, простив ей кривую ее посадку, найти утраченную сердечность, которая шла очень издалека, от первых дней детства, и от которой возникала дразнящая и привлекающая, стойкая и нежная теплота.

Но в этот период жизни Клумов думал о семье еще отрицательно.

Ему казалось, что он не даст ей связать себя и подчинить свои стремления и путь мелким интересам.

Итак, он оказался в семье, состоявшей из него и Гали. Он мог думать, что это у него складывается совсем иначе, чем у других, что жизнь его соседей совсем непохожа на его жизнь, и все-таки он с Галей составлял семью.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Спустя несколько времени после галиного переезда к Клумову как-то пришла Вера. Она постучалась и тут же открыла дверь.

— Вы дома?

Вошла она так, как входит женщина, убежденная в своей неотразимости.

Оба были дома — и Галя, и Анатолий. Галя посмотрела на Веру почти с испугом. Это была женщина из того условно яркого мира, о котором ей рассказывал Клумов.

— Знакомьтесь, — сказал он смущенно: — Моя жена... а это Вера,— я тебе говорил.

— Как?! — воскликнула Вера. — Вы женились?! Вот это мило! Почему же вы скрыли от меня?

— Я женился недавно, — объяснил он.

Она оглядела Галю довольно бесцеремонно.

— Очень мило. Во всяком случае, поздравляю вас.

Она села. Галя тоже села, неуверенная в себе, словно в этой комнате гостьей была она; она совершенно не представляла себе, о чем ей следует говорить.

Чувствовал себя неловко и Клумов: он не знал, как ему себя вести.

Вера изредка, как бы мимоходом, взглядывала на Галю.

— Ведь вы собирались повести меня на концерт. Что же вы не держите слова?

— Я еще в этом году нигде не был.

— Но вы не забыли об этом?

— Помню, — сказал он.

— Ну да, если б я к вам не зашла, так бы вы сами вспомнили!

Она вела себя так, как будто женитьба Клумова является его частным делом и к их отношениям касательства не имеет.

В этом искусственном тоне разговор продолжался недолго. Вера поднялась. Галя встала ее проводить, но потом передумала.

В коридоре Клумов задержался; может быть, он договаривался с Верой о концерте. Вернувшись, он застал Галю рассеянной и молчаливой.

— Ты недовольна? Что с тобой Галенька? Что такое?

Она не ответила.

— Не понимаю, что тебе не понравилось, или ты хочешь, чтобы к нам никто не ходил?

— Ты бы мог не демонстрировать свое прошлое,— сказала Галя.— Оно совсем не такое привлекательное.

— Как?! Ты говоришь об этом? Как самая заурядная женщина!

Он думал, что она расплачется или начнет его укорять. Клумов чувствовал себя в эту минуту обобранным, — ему казалось, что покушаются на его свободное отношение к внешнему миру.

Он нахмурился и отошел. Но Галя не собиралась сдавать позиции; с убедительностью, какой он от нее не ждал, быть может, чересчур настойчивой, но очень логичной, она начала ему говорить, что, если бы она поступила так же — привела знакомого и в разговоре с ним отодвинула Толю на задний план, — он ей не простил бы. Она требовала равенства; об этом Клумов до сих пор не думал: ему казалось, что оно существует само по себе.

— А если мне это нужно?

— Что?

— Какая-то степень моей независимости.

— Ах, Толя, как это глупо выглядит! Ты на меня не сердись, — твоя Вера вульгарна и не так уж хороша.

— Я не желаю, чтобы ты так разговаривала, Галя! — сказал Клумов. — Ты не имеешь права впадать в мелочный тон.

— Уверяю тебя, что, если бы я когда-либо заговорила в твоем тоне, это тебя оскорбило бы больше.

Итак, она ему давала урок. До сих пор, занимая по отношению к ней позицию выгодную, он давал уроки ей. Он считал это вполне естественным, и даже не думал о том, что отношения меняются и бесспорных позиций нет. Мир, окружавший Клумова, сделался менее просторным.

Если бы несколько времени тому назад Клумову сказали, что он должен будет принести свободу в жертву своей любви, он, вероятно, заявил бы, что не согласится на такую жертву, а теперь, испытывая гнев, он все же не подумал о том, как вернуть себе свободу.

Клумов вынул из футляра скрипку и начал играть.

Галя читала. Время от времени он на нее взглядывал: в ней заключалась причина его стесненности. «Может быть, свобода — всего только миф?» подумал он. В искусстве к ней приходят лишь через труды и жертвы. Может быть, и в личной жизни так же? Он сказал себе, что это мысли слишком трезвого человека: в конце концов, он молод и не желает сам накладывать на себя путы.

Галя подошла к нему сзади и обняла. Он сыграл еще несколько тактов и опустил скрипку.

— Ведь ты неправа, — признайся.

Но признания Клумов от нее не получил. Вместо этого Галя поцеловала его.

— Иди с твоей красавицей на концерт, — сказала она. — Слушайте музыку и наслаждайтесь друг другом.

— Галя, какая ты недобрая!

— Вот и нет! Только зачем мне притворяться? Она мне не понравилась! Могу я думать о ней, как хочу?

Ей казалось, что она, действуя так, приносит Толе жертву. На самом деле она поступала безошибочно.

(*Окончание следует*)

С. Маршак

ИЗ РОБЕРТА БЕРНСА

ЧЕСТНАЯ БЕДНОСТЬ

Кто честной бедности своей
Стыдится — и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.

При всем при том,
При всем при том,
Пускай бедны мы с вами,
Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой —
Мы сами!

Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем,
И все такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина льют,
И все такое прочее.

При всем при том,
При всем при том,
Судите не по платью.
Кто честным кормится трудом, —
Таких зову я знатью!

Вот это хлыщ — природный лорд,
Ему должны мы кланяться.
Но пусть он чопорен и горд, —
Бревно бревном останется!

При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, —
Бревно останется бревном
И в орденах и в лентах!

Король лакея своего
Назначит генералом,

Но он не может никого
Назначить честным малым.

При всем при том,
При всем при том,
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют
Ум и честь
И все такое прочее!

Настанет день, и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.

При всем при том,
При всем при том,
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья.

ДЖОН АНДЕРСОН

Джон Андерсон, когда с тобой
Делил я хлеб и соль,
Я помню волос твой густой
Был черен, точно смоль.
Теперь ты снегом убелён,
Ты знал немало вьюг.
Но будь ты счастлив, лысый Джон,
Джон Андерсон, мой друг.

Джон Андерсон, мой старый друг,
Мы шли с тобою в гору,
И столько радости вокруг
Мы видели в ту пору.
Теперь мы под гору бредем,
Не разнимая рук.
И в землю ляжем мы вдвоем,
Джон Андерсон, мой друг!

ГДЕ-ТО В ПЕЩЕРЕ...

Где-то в пещере, в прибрежном краю
Горе свое от людей утаю.

Там я обдумаю
Злую судьбу мою,

Злую, угрюмую участь мою.

Лживая женщина, клятвам твоим
Время пришло разлететься, как дым.

Смейся с возлюбленным
Ты над загубленным,

Над обесславленным счастьем моим.

КТО К НАМ СТУЧИТСЯ...

— Кто к нам стучится в поздний час?
— Конечно, я — Финдлей.
— Ступай домой. Все спят у нас!
— Не все, — сказал Финдлей.

— Как ты притти ко мне посмел?
— Посмел, — сказал Финдлей.
— Небось, наделаешь ты дел.
— Небось, — сказал Финдлей.

— Тебе калитку отвори...
— Скорей, — сказал Финдлей.
— Ты спать не дашь мне до зари.
— Не дам! — сказал Финдлей.

— Попробуй в дом тебя впустить...
— Впусти, — сказал Финдлей.
— Всю ночь ты можешь прогостить.
— Всю ночь, — сказал Финдлей.

— С тобою ночь одну побудь...
— Побудь, — сказал Финдлей.
— Ко мне опять найдешь ты путь.
— Найду, — сказал Финдлей.

— О том, что буду я с тобой...
— Со мной, — сказал Финдлей.
— Молчи до крышки гробовой!
— Йдет, — сказал Финдлей.

ТЕБЕ ОДНОЙ

В полях, под снегом и дождем,
Мой милый друг,
Мой бедный друг,
Тебя укрыл бы я плащом
От зимних вьюг,
От зимних вьюг.

А если мука суждена
Тебе судьбой,
Тебе судьбой, —

Готов я скорбь твою до дна
Делить с тобой,
Делить с тобой.
Пускай сойду я в мрачный дол,
Где ночь кругом,
Где тьма кругом, —
Во тьме я солнце бы нашел
С тобой вдвоем,
С тобой вдвоем.

И если б дали мне в удел
Весь шар земной,
Весь шар земной, —
С каким бы счастьем я владел
Тобой одной,
Тобой одной.

ШЕЛА О'НИЛ

Когда волочиться я начал за нею,
Немало я ласковых слов говорил,
Но более всех
Имели успех
Слова: «Мы поженимся, Шела О'Нил!»

Дождался я брака,
Но скоро, однако,
Лишился покоя, остался без сил,
От ведьмы проклятой
Ушел я в солдаты,
Оставив на родине Шелу О'Нил.

Решился я вскоре
Бежать через море,
С колонной пруссаков в атаку ходил —
Навстречу снарядам,
Ложившимся рядом
С шипеньем и свистом, как Шела О'Нил.

У Фридриха в войске
Я дрался геройски,
Штыка не боялся и с пулей дружил.
Нет в мире кинжала
Острее, чем жало
Безжалостной женщины — Шелы О'Нил!

Э. Хаританович

ЛЕЙТЕНАНТ НИКАМУРА НЕ СТАЛ КАПИТАНОМ

Рассказ

Лейтенант Никамура застонал и очнулся. Первое, что он увидел, была узкая полоса бумаги на стене. Картинка колебалась от легкого ветерка. На ней было изображено ярко-синее море, цветущие вишни, абрикосы и персики.

Прохладный рассвет вливался в палату через раскрытое окно. Свет шел из-за голубых гор, подернутых легким, как узорные кружева, предутренним туманом.

Никамура попробовал приподнять разбитую голову, но это ему не удалось. Он в изнеможении откинулся на подушку и вдруг явственно понял, что жив, что цветущие деревья на стене, и прохладный рассвет, и расслабленность тела — ощущения жизни.

Он попробовал улыбнуться, но улыбка чуть тронула его губы. Внезапно ему пришли на память позорные происшествия минувшей ночи. Он опять застонал и испугался, что кто-нибудь из больных в палате увидит его страдания. Они будут теперь говорить об отсутствии выдержки у него.

Выдержка. Самообладание! Чорт возьми, не так-то это легко, когда голова разламывается на части, а карьера...

Карьера загублена. Она кончилась там, у прибрежных песков Амура.

Лейтенант Никамура вновь с трудом подавил стон, и холодный, липкий пот покрыл его тело.

А началось так хорошо... Все обещало полный успех, чин капитана и веселый отпуск в Осака. Но эти пятеро были сущие дьяволы. Они разнесли вдребезги и карьеру лейтенанта, и самую лейтенантскую жизнь, они доказали ему, что он жалкая, неповоротливая гусеница, сгусток никчемной протоплазмы.

Испарина выступила на его теле от подобных мыслей, но истина оставалась истиной.

Восстанавливая в памяти давешнюю битву, Никамура вертелся на кровати и стонал сквозь сжатые зубы.

В самом деле, ничто не предвещало в ту ночь позорной катастрофы.

Рота лейтенанта Окуто Никамура получила простое и легко выполнимое задание — оттянуть бакены поближе к манчжурскому берегу и по-

садить на мель дозорный катер № 25, когда тот, обогнув излучину, должен будет развернуться, чтобы пойти назад. Дальше еще проще: команду с советского катера снять на берег и доставить в штаб Квантунской армии.

Окуто Никамура, командир 15-й роты, самодовольно пошевелил усиками, козырнул, круто повернулся — плечи прямые и узкие, расширенные накладками на рукавах — и вышел.

...В ту же ночь бакенщику сквозь сон показалось, что будто огоньки бакенов — сначала один, потом другой — продвигались к берегу. Бакенщик торопливо выпрыгнул прямо из окна к самому берегу. Но сколько он ни вглядывался, огоньки казались неподвижными. Видно, быстрые воды Амура создавали иллюзию движения бакенов. Бакенщик вернулся домой. Он лег у открытого окна и глядел на реку, пока сон плотно не сжал его веки. Когда в тревоге он открыл глаза, ничто, казалось, не изменилось: огни горели, фарватер был прежним.

...Но Никамура рассчитал все: и краткий сон бакенщика, и возможность его появления на берегу, и темную ночь перед восходом луны. Он рассчитал так тонко, что, лежа в прибрежных кустах и следя за катером № 25, спокойно рассекавшим густую воду реки, он почти видел пять связанных по рукам советских моряков, которых его солдаты подгоняют в спину прикладами.

Двести пятьдесят солдат, разделенных на две группы, под командой четырех унтер-офицеров, сжали в тиски узкую полосу мели. Когда тиски сомкнутся, катер № 25 будет раздавлен, как перезрелый банан.

Никамура привстал, выгнув плечи. До пункта, где катер должен будет развернуться и врезаться в песчаное дно, оставалось не больше одного те[1]. Лейтенант затаил дыхание. Он прижал руку к сердцу; оно билось учащенно и толчками. От напряжения тошнило. Никамура перевел взгляд на кусты, где таились его солдаты, готовые ринуться на приступ советского катера. Кусты были молчаливы и неподвижны. Поднималась луна. Верхушки деревьев покрылись мутно-розовым налетом, внезапно вспыхнул край неба, и струящаяся в реке вода вдруг заискрилась теплым сиянием.

У носа советского катера кипела вспененная вода. В косых лучах луны брызги, окрашенные в перламутровый цвет, возникали на поверхности реки бурным каскадом искр.

— Мондзю! — прошептал Никамура имя буддийского божества. — Мондзю! Они поворачивают прямо на мель.

От восторга Никамура-сан взвизгнул пронзительно и тонко: катер № 25 со скрежетом врезался в песок. Катер с силой качнуло в сторону, он круто накренился, дизели внезапно заглохли, и стало тихо.

— Мондзю! — взорвал тишину лейтенантский голос, лихой и восторженный, будто это был клич к бою, а не имя древнего святого.

На этот крик из прибрежных кустов хлынули юркие маленькие фигурки солдат.

— Банзай! Банзай! На приступ! — закричал Никамура, потрясая револьвером и бегая вдоль берега. Его пронзительные крики метались над рекой, дробясь эхом где-то на противоположном берегу. Солдаты завы-

[1] Те — 109 метров.

ли протяжно и глухо, защелкали беспорядочные выстрелы, разорвалось несколько гранат — начался приступ.

Триумф! Окуто Никамура не ожидал такого воинственного шума, такого победного натиска. Враг в замешательстве должен пасть на колени и с дрожью в голосе молить о пощаде! Пять против двухсот пятидесяти — разве не забьются от ужаса сердца у этой пятерки, не дрогнут руки и не опустятся они перед неизбежным поражением!?

— Цмирну! — голосисто и победно запел по-русски потомок князей Мито. — Эй, капитана, цмирну!.. Выходить по-один на берег!

Но вдруг его слух был потрясен неожиданным треском пулемета. Пулемет застучал с правого борта и бил прямо по наступающей цепи солдат. Ливень пуль хлестнул с такой меткостью, что — о, Мондзю! — взвод унтер-офицера Канамуто ринулся назад, будто его отшвырнула огромная волна. И в этот миг — непостижимый и позорный! — Никамура увидел, как очень высокий человек с черными развевающимися волосами стремительно повернул пулемет к левому борту, и ливень огня залил второй взвод. А остальные четверо людей из команды катера установили огневой заслон скорострельными винтовками на носу и на корме.

Глухой рев наступающих солдат и вопли раненых, которые захлебывались в воде, и непрерывные выстрелы, ломающие лунную тишину ночи — все это было так неожиданно, что Никамура в неистовстве забегал по берегу, топча ногами влажный песок.

Цепь его солдат теряла звено за звеном. Тела жителей страны восходящего солнца уносились по течению Амура. Их путь освещала огромная, вставшая над лесом луна. Они плыли, обратив мертвые лица к звездному небу.

Но не это зрелище больше всего смутило душу потомка самураев. Он вдруг увидел то, чему никогда бы не поверил: солдаты внезапно образовали мятущуюся зигзагообразную линию и с воем отпрянули к берегу. Солдаты почти бежали — они бы бежали, если бы вода не сковывала их движений.

— Великий Мондзю! — прохрипел Никамура. — Это непостижимо!..

А солдаты выли, толкая друг друга, падали в воду, на их спины, как на помост, вскакивали другие. Это было стадо обезумевших овец. Выбравшись на берег, они бы сбили своего вожака, если бы тот не отступил.

Никамура отступал, чтобы напасть. Он забежал вперед, и маузер его несколько раз полыхнул огнем. Бежавшие солдаты с разбегу зарылись в траву.

Расстрел нескольких беглецов остановил других. Они сгрудились, со страхом поглядывая то на лейтенанта, то на дозорный катер № 25. И здесь, и там их ждала смерть.

В несколько минут унтер-офицеры вновь образовали роту солдат из стада испуганных овец. Никамура послал солдат в реку.

С катера опять зачастил пулемет, загрохотали скорострельные винтовки, и снова Никамура увидел, как начал действовать этот вездесущий дьявол. Он метался по палубе, перенося огонь с одного борта на другой; смертоносная струя его пулемета хлестала солдат страшно и стремительно.

Лейтенант слышал спокойный, неторопливый голос командира катера № 25.

— Адамчук! Левый борт!

И этот огромный Адамчук прыгал с правого борта на левый, никогда не опаздывая: когда пулеметный огонь заставлял откатиться солдат, наступающих с правого борта, Адамчук спешно обрушивал удар по солдатам левой стороны, которые были уже почти у цели.

— Частый огонь по пулеметчику! — взвизгнул Никамура, и унтер-офицер Канамуто вырвал из цепи нескольких солдат. Пробравшись в тень, отбрасываемую катером, они послали в советского пулеметчика несколько залпов.

Никамура захлебнулся от восторга: огромный Адамчук, перебегавший палубу; внезапно покачнулся, осел на левый бок и упал.

— Огонь! Огонь! На приступ! — закричал лейтенант, и глухой, победный рев солдат слился теперь лишь с частыми залпами скорострельных винтовок.

Бой близился к развязке. Сейчас солдаты вскарабкаются на палубу, послышатся короткие вскрики последней борьбы, и все будет кончено. Тишина вновь сомкнется над рекой, над лунным лесом. Никамура стоял, готовый ежеминутно услышать эту победную тишину.

Но вдруг заглохший на несколько секунд пулемет вновь стал поливать огнем цепи наступающих. Неистовое бешенство охватило тогда потомка князей Мито. Никамура, как рысь, прыгнул к дереву и взобрался на него. Он увидел: раненый Адамчук попрежнему стрелял из пулемета. Он успевал, теперь с некоторой медлительностью, во-время переносить огонь на другой борт. Этот бесстрашный сатана был так же грозен, как и прежде.

Никамура поднял револьвер: сверху стрелять было очень удобно. Он поймал на мушку затылок рулевого, но спуск нажать не успел. Будто дубиной кто-то с силой ударил его в плечо. Лейтенант, выронив револьвер, полетел за ним, ломая сучья. Удар о корни дерева почти оглушил его...

Падая, Никамура слышал — он мог поклясться в этом именем великого Мондзю, — что на катере прозвучал легкий смешок: видно, смеялся стрелок, который сбил его с дерева, как ворону.

Он лежал под деревом избитый, с исцарапанным лицом, с раной в плече и сучил ногами, пытаясь встать.

Бешенство душило его, воздуха не было, сердце часто билось, а пулемет стрекотал без передышки, гремели винтовки, и ночь освещали багровые сполохи, вылетающие из дул.

И во второй раз Никамура стал свидетелем невообразимого позора: на берегу вновь появились отступающие солдаты. Мокрые, истерзанные боем, они были похожи на бродяг, а не на испытанных бойцов Квантунской армии. Никамура не в силах был остановить их бегства. Он лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть мелькающих ног своих солдат.

На реке грохнуло несколько одиночных выстрелов, потом тишина, та самая тишина, которую так ждал Окуто Никамура, сомкнулась над катером. Но, ничем не отличаясь по звукам, эта тишина теперь таила в себе иной, нежелаемый смысл.

Лейтенант напряжением воли заставил себя подняться. Перед ним стояли только два унтер-офицера, а сколько осталось солдат — он не знал.

— Канамуто, — тихо произнес он, с трудом узнав в этом измокшем, ободранном человеке своего лучшего унтер-офицера. — Канамуто!.. Проверьте наличный состав людей!

Никамура посмотрел на часы. Бой длился восемнадцать минут. Поджидая Канамуто с докладом, он опять лег: болела голова, ныло и саднило все тело.

Никамура лежал и думал. Бой надо закончить в десять минут, пока не подойдет, встревоженный выстрелами, второй советский катер. Десять человек составят такую силу, с которой — о, Мондзю, может ли это быть! — с которой уже не совладать доблестному потомку князей Мито.

— Канамуто! — позвал Никамура, и Канамуто выполз из темноты. — Говорите, Канамуто...

— Лейтенант-сан, — сказал Канамуто бесстрастным тоном муштрованного вояки. — В наличии сто двадцать бойцов и два унтер-офицера. В бой могут пойти девяносто — тридцать ранено.

— Молчать! — внезапно завизжал Никамура и, схватившись за сук, поднялся. Он ударил бы унтер-офицера, но не было сил взмахнуть рукой.

Канамуто вытянулся, не понимая, за что на него обрушился лейтенант-сан.

— Хорошо, — произнес Никамура, сразу успокаиваясь. — Хорошо, Канамуто. Я сам поведу этих девяносто. Приказ: оставить винтовки, взять кинжалы; снять одежду, исключая фундоси[1], плыть бесшумно, стараясь чаще держаться под водой. Мы их переколем на борту. Слышите, Канамуто? Переколем всех и только одного доставим в штаб.

Он вздернул плечи и, сощурившись, надменно осмотрелся. Но голова — чорт бы ее побрал! — голова разламывалась от боли. Стиснув зубы, Никамура шагнул вперед. Осмотрев девяносто выстроившихся солдат, он разбил их на две группы: одну повел сам, вторую — унтер-офицер Канамуто.

Солдаты вошли в воду в одних фундоси, держа в зубах кинжалы. Луна осветила их желтые лоснящиеся спины. Потомок древних князей Мито ничем не отличался сейчас от своих солдат: в таких же фундоси, с лоснящейся спиной, с ножом в зубах, он шел, низко припадая к воде. Вода была холодная и стремительная. В ней колебались звездное небо и насмешливый лик луны.

Луна перебросила сверкающий мостик от берега к затихшему катеру № 25.

Никамура не мог держать в зубах «священный меч самураев» — от холода лязгали зубы. Он взял его в правую руку, погрузился в воду и бесшумно поплыл.

На воде виднелись только черные стриженые головы, да иногда поблескивали лоснящиеся плечи. Потрепанный, поредевший взвод медленно приближался к дозорному катеру...

Потом...

...потом Адамчук увидел противоположную стену с голубым карнизом.

---

[1] **Фундоси**—набедренная повязка.

В палате было тихо, сумеречно и прохладно. Бледнорозовый рассвет подступал к окнам ласково и нежно.

Адамчук попробовал приподняться, и это удалось ему, только остро кольнуло в боку. Он лег опять, хотел было нажать кнопку звонка, чтобы вызвать дежурную сестру, но раздумал. Сестра, видно, и так здорово намаялась с ним, пока он метался в горячке. Он сразу окунулся в жаркую пустоту, как только при помощи товарищей сошел на берег. До этого он держался крепко и даже боли не чувствовал. Нужно было не выпускать ручек пулемета, и рулевой Адамчук не выпустил их.

Он улыбнулся: хорошо, что ему удалось защищать оба борта. В сущности, это было так просто и вместе с тем очень сложно. Сложность заключалась в простоте задачи: не допустить самурайских подошв на палубу советского катера. Решить эту простую задачу можно было, только приняв бой с целой ротой японских солдат. Команда приняла бой, Адамчук занял свой боевой пост.

Все это было так просто и так естественно.

Адамчук закрыл глаза, прислушиваясь к тишине палаты. Он был один здесь, выбравшийся из горячей и мутной пустоты. Теперь все было четко и незыблемо, окрепшее тело нежилось под прохладной простыней. Захотелось курить, но папирос, конечно, не было. Последнюю папиросу рулевой Адамчук выкурил перед вахтой. Он принял штурвал, когда дозорный катер № 25, обогнув излучину и разворачиваясь, почти вплотную подходил к чужой земле.

Адамчук с трудом помещался в штурвальной будке: высокий и широкоплечий, с черными курчавыми волосами, он стоял полусогнувшись и зорко, не мигая, глядел вперед.

Катер № 25, идя по фарватеру, стал заворачиваться носом к берегу, чтобы повернуть назад. Огни бакенов светились далеко, и Адамчук спокойно поворачивал штурвал.

Ночь была теплая и пахучая. С сопок тянуло запахом кедровой хвои и цветов. В реке отражалось звездное небо, такое же темносинее и глубокое, как на Украине.

Рулевой Адамчук вел катер, изредка посматривая на мостик командира. Командир стоял, держась за поручни, внимательно изучая темные берега.

При повороте штурвала на 90 градусов опытный глаз Адамчука внезапно отметил, что фарватер здесь как будто расширился, — огоньки бакенов почти подступали к плоскому берегу.

— Что за чорт! — проворчал Адамчук. — Сдается мне, будто фарватер был не из широких тут... .

Может быть, прозрачный, рассеянный свет восходящей луны скрадывал истинное расстояние?

Адамчук держал руки на штурвале. Катер шел ровно, ритмично постукивали дизели, вспененная вода брызгами разлеталась в стороны. Изредка до слуха Адамчука доносились голоса двух мотористов — Корнеева и Стороженко; к ним присоединялся голос Черничкина, второго рулевого.

Берег неотступно приближался, хотя огни бакенов были далеко.

— Товарищ командир, — не выдержал Адамчук, высовывая голову из будки. — Я размышляю, что бакены не иначе, как к берегу оттиснуты.

Командир, не отрываясь, смотрел на темные очертания берегов, поросших кустами.

— Стоп! Полный назад! — внезапно рявкнул он. Но было уже поздно: катер шаркнул по дну, судно вздрогнуло, заскрипело и с силой накренилось набок.

Штурвал почти врезался в грудь Адамчука. Дизели заработали тревожно и быстро, взревел винт катера. Потом все стихло.

Над люком показалось удивленное лицо Стороженко, измазанное маслом.

Он не успел высказать свое удивление: застучали выстрелы, а из кустов, из высокой прибрежной травы, выскакивали фигурки японских солдат и с глухим ревом кидались в воду.

— Цмирну! — прозвенело с берега. — Эй, капитана, цмирну! Выходить по-один на берег!

— Шо там щебечет эта пиголица? — произнес, наконец, Стороженко.

— Просит тебя на стакан чая, — проворчал черноглазый Корнеев. — Товарищ командир...

— Адамчук, к пулемету, — сказал командир сдержанно и неторопливо. — Корнеев, вы со Стороженко защищаете корму. Черничкин ко мне.

Он перемахнул через поручни мостика и спрыгнул на нос.

Командир был молод, только что окончил школу, и эта первая неожиданная встреча с врагом приятно взволновала его.

— Адамчук, — бросил он через плечо, — вам придется поработать на обоих бортах.

— Есть поработать на обоих бортах! — весело отозвался Адамчук, и первая его пулеметная очередь хлестнула по врагу.

В то же время командир и Черничкин, Корнеев и Стороженко облили горячей струей огня цепь нападающих.

Из цепи выпадали звенья, и цепь редела, — и тела солдат плыли по лунной дороге Амура.

Амур плавно и неторопливо катил свои воды к суровому и хмурому Охотскому морю. Там, в далекой ледовой пустыне, пробивались, тараня лед, советские ледоколы; на островах стояли маяки радиостанций; на полярных зимовках, на самой вершине мира гордо и ярко, как пламя, пылали среди лютой пурги, багровые стяги.

Родина! Необъятны твои земли! За счастье народов, их населяющих, за их неприкосновенность, за честь их бился рулевой Адамчук, бились Корнеев и Стороженко, бились Черничкин и командир. Бились все — плечо к плечу.

Флегматичный и долговязый Стороженко вкладывал обойму за обоймой и неторопливо, со снайперской тщательностью, прищуривал левый глаз.

Корнеев лежал рядом с ним — молодой, черноглазый моряк, комсомолец Корнеев, недавно приехавший на Дальний Восток с Балтики.

А на носу катера командир и Черничкин — оба голубоглазые и очень молодые, примостившись за якорными цепями, без промаха били по наступающему врагу.

Адамчук слышал их частые выстрелы, окающий голос Черничкина, короткие приказания командира, плавный украинский говор Стороженко, густой бас Корнеева. Это было крепкое, ничем нерушимое товари-

щество, спаянное великой любовью к своей земле.

— А что, хлопцы, как у вас там? — крикнул командир на корму, и голос его потонул в грохоте выстрелов.

— А ничого, — ответил Стороженко. — Бьем, не подпускаем.

— Адамчук! Левый борт! — приказал командир.

— Есть левый борт! — И в этот миг Адамчук почувствовал тупой удар в бедро, потом острым ожогом опалило голову. Палуба дрогнула и поползла куда-то в туманную муть. Адамчук покачнулся и упал.

— Адамчук! — крикнул командир. — Левый борт! Что случилось?

Этот голос привел Адамчука в себя. Он приподнял голову и увидел, что к борту уже лезут темные фигурки, уже протягивают они руки к желанному катеру. Сила Адамчука подавила слабость: пулемет с яростью рассеял, как брызги, тысячи пуль.

А враг все наступал — врагов было так много, что у краснофлотцев рябило в глазах. И вдруг в одно из мгновений рябь прекратилась. Чуть позже они поняли, что выстрелов больше нет. Враг отступал к берегу.

— Хлопцы! — услышал Адамчук голос командира. — Кто ранен?

— Адамчук ранен, — сказал Стороженко. — Я видав, як он грохнувся у пулемета, но, может, он тольки спотыкнувся, бо пулемет опять затакав.

— Меня трохи царапнуло, — отозвался Адамчук. — По голове царапнуло. Но я могу держаться, товарищ командир. Нам бы только с мели сняться.

— Мамка моя, — запел вдруг Стороженко. — Да они, сучьи ублюдки, с кинжалами в зубах. Гляди, гляди!..

— Товарищ командир, — заметил Черничкин, — их теперь ведет та самая ворона, которую вы сшибли с дерева... Эге, да они в одних исподниках...

— По местам! — скомандовал командир. — Адамчук, можете держаться?

— Могу, — ответил Адамчук.

Потом...

... потом Окуто Никамура очутился почти у самого борта катера № 25. Японские солдаты, осатанелые от двух порций сакэ, уже карабкались вверх по обшивке катера. Будто водоросли, они облепили правый борт, живые, ползучие водоросли, по цепким щупальцам которых била прикладами четверка из команды дозорного катера. Никамура слышал вскрики солдат, их падение в воду. А четверка этих дьяволов носилась вдоль борта и отражала малейшую попытку взобраться на палубу. Пятый, раненый, истекая кровью, защищал пулеметом левый борт.

Никамура не мог понять мужества и силы этих людей. Он знал, что есть предел человеческой выносливости. Но предела не было. Пятерка попрежнему была вездесущей: ни один солдат не мог проникнуть на палубу. Двум удалось это сделать, незаметно пробравшись с носа, но их в упор расстрелял из пулемета этот бессмертный курчавый чорт.

И Окуто Никамура вдруг ясно понял, что рота его слабеет. Мондзю! Разве это рота самураев? Это какой-то сброд бушменов, карабкающихся на корабль, чтобы, разграбив его, продеть себе в ноздри и уши медные ручки от дверей.

Лейтенант не мог смотреть на этот позор. Будь проклят тот день, когда генералу вздумалось получить русских для необходимых ему све-

дений! Будь проклята сила этих людей! Будь проклята эта река, сжимающая холодом его тело!

Хрипя и задыхаясь, Никамура подобрался к катеру. Нож он держал в зубах, его острие ранило губы, и соленый вкус крови вызывал тошноту.

— Мондзю! — прохрипел он, подтягиваясь на руках к палубе. — Мондзю! Я один сделаю больше, чем вся эта шваль.

И, кажется, Мондзю услышал проклятия потомка князей Мито, а может быть, увидел его позор. Во всяком случае не что иное, как руки божественного Мондзю, внезапно протянутые с палубы, помогли ему взобраться на катер.

Никамура ощутил пальцы, крепко обхватившие кисти его рук.

Он встал на палубу и встряхнулся. Вода стекала с его узких лоснящихся плеч. Он уже притронулся к рукоятке «священного самурайского меча», чтобы взять его в руки, но меч был выбит из зубов. Что это? Милосердный Мондзю неожиданно превратился в высокого улыбающегося человека в белом кителе. И милосердная рука, которая так предупредительно помогла взобраться лейтенанту на палубу, вдруг сжала его горло и один раз, только один раз, встряхнула лейтенантское благородное тело. И Никамура убедился, что земля вертится со страшной быстротой.

— Мондзю! — произнес Никамура, вращая глазами.

— Мондзю! — успел он проскрипеть второй раз, когда жесткий белый кулак с сухим треском опустился на левую, потом на правую скулу лейтенанта.

Окуто Никамура никогда не предполагал, что бить по морде можно так оглушительно и с таким треском. А трещало все — весь мир трещал, качался, гудел, разлетался вдребезги.

Голова потомка древних князей Мито моталась из стороны в сторону, мир гудел, подергиваясь тусклой пеленой, и лейтенант в тоскливом изнеможении закатил глаза.

Но гул и треск неожиданно прекратились, шумело только в голове. Тогда Никамура увидел глаза стоящего перед ним человека. Глаза были светлые, молодые, с веселыми и злыми искринками.

— Вот что, милейший господин! — услышал лейтенант сухой и очень жесткий голос. — Скажите-ка вашим дуракам, что инцидент, как говорится, исчерпан. А потом скажите им, чтобы они сдвинули катер с мели. Нам некогда: нужно сменяться. Ну!?.

Тело Никамуры внезапно поникло. Но крепкая рука так встряхнула его, что он понял: симуляция потери сознания ни к чему не приведет.

— Мондзю! — сдавленно произнес он. — Моя не понимает русски... моя...

Удар кулаком в скулу заставил потомка древних князей Мито вновь ощутить оглушительный круговорот земли и сразу понять язык чужой ему земли.

— Канамуто! — слабо проговорил он, перегнувшись через борт. — Канамуто... Вы слышали, Канамуто?

Канамуто слышал все — и его распоряжения были точными и очень спешными. Никамура удивлялся, откуда у его измученных солдат появилось столько прыти. Они разбились на несколько отрядов, и гул их голосов был очень оживленным и веселым. Солдаты работали, чтобы

освободить тот самый катер, который они хотели захватить. Мондзю! Это ирония жизни и ничего больше! Это парадокс, который воплотился в истину! Разве можно противиться, когда чувствуешь себя маленькой собачонкой перед слоном?

— Корнеев! В машинное! — раздался голос человека в белом кителе.

Дизели заработали, судно дрожало, под дном скрипел песок, а японские солдаты дружно покряхтывали, будто простые кули, которым хорошо заплатят. Катер несколько раз качнуло, потом он тихо начал скользить по песку.

— Полный назад! — крикнул командир, и Никамура вдруг почувствовал, что сильные руки поднимают его над палубой. Он увидел в мерцающей реке свое отражение — вода передразнивала судорожные движения его ног и рук.

И Окуто Никамура, потомок древних князей Мито, полетел в воду, как испорченный груз.

— Человек за бортом! — услышал лейтенант насмешливый голос рулевого. — А вот, товарищ командир, второй наш катер. Видите — сигнализирует: слышали выстрелы, что случилось?

— Сигнализируйте ответ, — сказал командир: — все в порядке, ожидаем смену.

Анна Гарф

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Рассказ

1

Когда-нибудь здесь застучат колеса поездов, но пока, кроме жужжания шмелей да посвиста перепелок, ни звука не услышать на этих холмах, в этих долинах. Меня и Адыека послали сюда снять карту местности.

Когда мы вступаем в лес, то прежде всех выкрикивает свое приветствие чечевица.

— Тетя, Витю видел? Видел-видел. Витю видел? — начинает она чуть свет.

И так до самой ночи, до той поры, пока с болот сердитые коростели не закричат ей в ответ свое:

— Да-да-да-да! Да-да!

Мой спутник, местный уроженец, Адыек слышит в крике чечевицы другой вопрос:

— Эде, эде бе саак? Эде бе саак!

По-русски это будет: «Сестра, сестра, кобылу доить? Сестра, кобылу доить!»

Коростели, по словам Адыека, говорят не «да-да-да», а «тарт-тарт-тарт», т. е. «тяни-тяни-тяни».

Мы путешествуем уже восьмую неделю. То спуск, то подъем — лошади дышат тяжело. По дну неба, распустив паруса, плывут облака. Воздух так прозрачен и чист, что облака рельефны и видны во всех трех измерениях.

Адыек никогда не видал кораблей, и облака кажутся ему клочьями белой мерлушки.

В тот вечер мы поднялись на вершину горы Иши. На кедрах уже наливались синие шишки, и с этих шишек на шелковистую хвою падали прозрачные, как слезы, капли смолы. Казалось, что небо легло кедрам на плечи, так сине было вокруг. А внизу сияли травы, пронизанные солнечно-желтыми цветами.

Вдали ряд за рядом лиловели лесистые хребты гор. За горами не было видно солнца. Но казалось, что его лучи проходят сквозь горы, и от этого растущие на вершинах лиственницы выглядели плоскими, словно вырезанными из тонкой бумаги с сусальной позолотой.

Когда справа над остроконечной вершиной ближней горы затеплилась первая звезда, мы расседлали коней, спутали их и отпустили. Войлочные потники под седлами были мокры — за день мы несколько раз бродили быстрые реки.

Адыек пошел нарубить дров для костра. Я разостлала потники и вынула из походных кожаных мешков посуду.

Мы так спешили уехать из Томска, что не взяли с собой даже сахара. Чай, овсянка, сухари, соль — вот и все наши запасы. В деревнях покупали масло и потом на привале у костра пили соленый чай с маслом и заедали его диким луком, диким чесноком и чуть-чуть заплесневевшими сухарями.

Палатки у нас не было. Чтобы получить палатку, следовало зайти в геолого-разведочную контору. Ни Адыек, ни я не сделали этого, боясь, что из-за палатки придется лишний день прожить в городе.

Поужинав, мы укладывались каждый на свой потник и тотчас же либо засыпали, либо притворялись спящими.

Я выбирала себе любую звезду и, переходя от нее взглядом к другим, проводила воображаемую линию от звезды к звезде до земли. Иногда таких линий получалось восемь. Тогда мне казалось, что я лежу в восьмигранном звездном шатре.

В тот памятный вечер Адыек первый нарушил молчание.

— Я думаю, в Томск обратно зачем мне? Работу кончу и айда сюда, на Ишу-вершину, домой. Учиться зачем мне?

Я знаю, почему Адыек говорит так: моя младшая сестра, которая учится с ним на одном курсе в Томске, сказала ему, что не любит, не любила и никогда не полюбит его.

У меня тоже есть свои причины желать навсегда устроиться где-нибудь здесь, в тайге.

Мы оба, попросту говоря, устремились в эту поездку, как бросаются в прорубь. И вот каждый из нас притворяется спящим. А костер тихо потрескивает, и дым стелется понизу, отгоняя комаров.

2

Вдруг послышался цокот копыт. Наши спутанные кони не могли так цокать. Я подбросила сухую ветку в костер, и, вспыхнув, огонь осветил круп чужой лошади.

— Разрешите к вашему костру присесть? — сказал всадник.

— Пожалуйста.

Человек спешился, и мы увидели ноги в шерстяных носках, в сандалиях, стеганые ватные брюки, стеганую куртку, ватную кепку и лицо, безусое, безбровое, изжелта-белое, тоже будто подбитое ватой и выстеганное морщинами.

Голубые выцветшие глаза смотрели пытливо и чуть-чуть насмешливо.

Мы обрадовались встрече — это был известный всей округе доктор Васильев.

Когда-то посланный сюда земством, он полюбил этот край и остался здесь. Ему бы давно пора выйти на пенсию, но он шутя уверяет всех, что и сам бы рад состариться, да все некогда.

— Отур, отур (садись), — приветствовал врача Адыек, радуясь, что может поговорить на родном языке.

Васильев понимал все четыре местных диалекта. Он присел на краешек моего потника, увидел винтовочку, погладил ствол, поднял, прицелился и спустил курок. Шурша крыльями, в траву упала насмерть раненная кедровка.

— Ай, маатырь-аббай адучи мерген! — завопил восхищенный Адыек. — Здорово!

— Я только что человеку ребра чинил — бык подмял его, — сказал нам доктор. — Ночевать приглашали, не остался. Надо мне успеть тут поблизости на один хуторок. Все, знаете, никак не выберусь туда, больно широк район. Вы не медики? Жаль. Вот это, действительно, жаль. А то заставил бы вас поехать с собой. Уж очень любопытный случай. А главное близко. Вот лошадь малость передохнет и поеду. Я давно туда собираюсь, но хуторок был в ведении моего коллеги. Забавнейшая история.

Доктор с удовольствием грыз наши сухари, запивая их крепким чаем, с наслаждением ел опротивевшую нам овсянку и с аппетитом рассказывал о хуторе, куда собирался ехать.

— Видал я этого человека лет пятнадцать назад, с тех пор не встречались. Красавец, умница, профессор. Кто-то его там, в Москве, обидел — то ли друг оклеветал, то ли враг оскорбил, — одним словом, человек прибыл сюда спасаться от гнусной цивилизации. В пути встретил такую же обиженную судьбой девицу. Влюбился, женился. Все, знаете ли, он мне пел тогда: «как хорошо вдвоем в лесах дремучих жить». Построили они себе халупу и живут. Занимаются охотой и рыбной ловлей. Кур, гусей завели. Рассказывали мне, что и ребят они там наплодили, сколько — не знаю. Ни меня, ни моего коллегу на роды не звали. Это, конечно, их дело, но оспа, но тиф? Позвольте, скажу я ему, либо предъявите справку о прививках, либо, пожалуйте прививаться. Так вы, значит, не медики? Ах жаль, до чего жаль!

Доктор пошарил палкой в траве, поднял убитую кедровку, ощипал ее, выпотрошил, срезал раздвоенный сук, насадил птицу на палку и воткнул палку в золу у костра. Потрескивая, жарилась наша дичь.

— Итак, дети мои, вы живете на овсяной диэте? Скучновато это, по совести говоря, получается, а?

Может быть, доктор действительно имел в виду только наше меню, но нам обоим стало не по себе от его все знающей улыбочки.

— Так, значит, на хутор едете? — чтобы что-нибудь сказать, спросил Адыек.

— Да, да, — подхватил доктор. — Я туда давно собираюсь, с тех

пор, как мой коллега покинул свой пост. Но, видимо, судьба хранит этих отшельников, ибо, как только задумаю ехать, обязательно по дороге выйдет какая-нибудь задержка: то эпидемия, то сам захвораю. Я ведь малярик. Уж и сальварсан на себе пробовал, и акрихин пью — ничего не берет.

— Ай, ай! — вскочил вдруг доктор. — Дичь-то наша чуть не сгорела.

Он выхватил палку, на конце которой шипела почерневшая кедровка.

—Вот так-то, друзья. Видите, какой мне в жизни вышел жребий: будь людям и лекарь, и повар, и аптекарь.

Он мастерски разделил крохотную птичку на три дольки, сжевал свою порцию и встал.

— Спасибо за чай, за сахар.

— А чай-то был с солью, — поправили мы.

Доктор засмеялся и свистнул своего коня.

— Он у меня смирный, как собака, — приговаривал доктор, поправляя коню чолку. — Десять лет с ним работаю.

3

После рассказов доктора нам с Адыеком тоже захотелось поехать на профессорский хутор. Мы быстро свернули свой лагерь, заседлали коней и поскакали. Посветлел край неба, и на нем, будто прозрачная капля, повисла утренняя звезда. На горизонте, похожая на гриб, стояла бревенчатая халупа.

Издали этот крытый соломой домишко показался мне тем самым жильем, о котором я мечтала. Даже стало обидно, что хатка уже занята. Поднявшись на пригорок, мы увидели подернутый рябью пруд и на берегу девочку. Она вцепилась руками в рожки молодого бычка и, играя, пыталась пригнуть его шею к земле.

На пороге хибарки сидел, покуривая кривую трубочку, седенький, обрюзгший старичок.

Заметив нас, он встал и почтительно сдернул с головы свой войлочный блин.

— Наше вам с кисточкой.

— Мне профессора Ходотова, — сказал доктор.

Старичок вынул изо рта трубочку, поковырял в ней жестким, негнущимся пальцем, подсыпал махорки, снова вставил трубочку в рот и, наконец, прошамкал:

— Они самые, то-есть мы и будем профессор Ходотов.

— Очень приятно, разрешите представиться — районный врач Васильев.

Старичок приосанился, откинул волосы со лба и произнес:

— Пожалуйте в мои апартаменты.

Он толкнул дверь; нас обдало запахом прелой овчины и мочи.

Стукнувшись лбом о притолоку, профессор сгорбился и, согнувшись в три погибели, вошел в грязную курную избу.

— Nehmen sie Platz — произнес он, подвигая доктору мокрый табурет. — Voilà.

Васильев сел. Ходотов тоже. Мы стояли на пороге, не решаясь войти и не смея уйти.

— Я покинул Москву, — начал профессор, — потому что должен был постичь процесс. Понимаете? Автомобильное стекло, то-есть стекло в зеркале шофера, оно генирует. Оно генирует входящие и проходящие предметы, ежеминутно зарождая их для того, чтобы бесследно смыть. Вы не знаете, зависит ли это от органического строения глаза или от химико-механического состава самой массы стекла, не фиксирующего процесс?

Вопрос был задан в упор.

Умные глаза доктора, не сморгнув, ответили на взгляд Ходотова. Старик смягчился. Он склонился к уху врача.

— Понимаете, — зашептал он, — бывают стекла упругие, не бьющиеся, гнущиеся, морские. Но каким стеклом можно восполнить органический недочет глаза, не воспринимающего процесс? Например, стекло иллюминатора, оно в движении моря, волн и парохода движется, не фиксируя движения. Совершенно сверх особой прочности, упругости и состава должно быть стекло, восполняющее органическую ограниченность человеческого глаза и не только пропускающее или отражающее движущиеся предметы, но одновременно фиксирующее, воспринимающее и задерживающее в себе отраженное.

Тут профессор порывисто обернулся и спросил меня:

— Скажите, у вас в Москве делают такие стекла?

— Нет, — ответила я, — таких стекол у нас в Томске не делают. У нас делают стекла для электрических лампочек.

Старик выпрямился, брови его задвигались. Минуты две он смотрел на меня. Потом вдруг ударил себя по лбу и рассмеялся.

— Стекла для электрических лампочек, — повторял он, задыхаясь от смеха. — Стекла для электрических лампочек. В Томске!

Безнадежно взмахнув руками, Ходотов неуклюже, как слепой, побрел к окну и протянул руку к оконной раме. Но он еще не успел тронуть пальцами мутного оконного стекла, как дверь отворилась и в комнату вошла грязная баба, жирная, щекастая, грудастая.

— Пора гусей выгонять, — сказала она.

Ходотов оглянулся. В его цыганских глазах опять засветилась усмешечка.

- Mafemme, — произнес он добродушно и прибавил с улыбочкой: — то-есть баба моя.

Не зная куда скрыться, мы с Адыеком отошли к стене, у которой стоял большой деревянный ларь.

— Моя библиотека, — сказал Ходотов, гостеприимно поднимая крышку ларя.

Мы увидели книги: русские, французские, немецкие и даже какой-то толстый латинский фолиант. Я открыла первый попавшийся том. На меня пахнуло клейстером и плесенью. С прожухлых страниц посыпались жучки и букашки.

— Тега-тега-тега! — откуда-то, должно быть, с озера, донесся голос.

— Тега-тега! — подхватил профессор и мелко, по-стариковски семеня, заторопился к выходу.

Едва различая выцветшие от сырости буквы, я прочла слова, которые никогда не забуду:

Кто хочет чуждым миру быть,
Тот скоро будет чужд...

— Куда же вы, куда? — крикнул вслед Адыеку доктор.

— Бархан герек (ехать надо), — сказал тот, ставя ногу в стремя.

У него был такой вид, будто он собирался гнать без остановки до самого Томска.

— Жаль, что вы не медики, — сетовал доктор, помогая мне сесть в седло. — Очень жаль! Этот профессор — типичнейший случай. Любой клиницист позавидовал бы мне.

Его доброе, умное, помятое, будто стеганое на вате лицо казалось в то утро особенно бледным. А вылинявшие глаза без бровей и ресниц будто видели в этот миг и меня и Адыека насквозь.

— У меня начинается приступ, — сказал доктор.

А. Коваленков

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

ОКНО

Когда я думаю о счастье,
В моих глазах встает одно —
Распахнутое ветром настежь
Прямоугольное окно.

Над ним летят и гаснут зори,
Листва шумит и мчится вниз,
А снизу ветреное море
Швыряет брызги на карниз.

И по ночам в его квадрате,
Вися меж небом и водой,
Сторожевой, военный катер
Горит зеленою звездой.

ЛИЗА

Русское имя — моя отрада:
— Лизанька, Лиза.
Оно со мной
Неразлучимо.
И мне не надо
Дружбы иной.
И любви иной

Не называйте Елисаветой
Радость мою
И мою печаль:
Елисавета — с гербом карета,
Пыльных музеев
Седая даль.

Лизанька — это другое дело, —
Это ромашка,
Тропинка во ржи...

Тронь меня, Лиза,
Рукой загорелой,
Сердце свое
На ладонь положи.

Пусть засверкает
Оно — золотое
В солнечном свете
Июньского дня,
Не помышлявшее
О покое,
Настежь раскрытое
Для меня.

БЕЗ ТЕБЯ

Еще осталось время для прогулок,
Для детской дружбы с морем и песком,
И глиняный татарский переулок
Попрежнему зияет за окном.

Еще остались камушки и ветер,
Байдарка и крылатое весло,
И виноградный холод на рассвете,
И хвойное вечернее тепло.

Еще бежит к шиповникам тропинка;
Там полдень спит врастяжку на скамье.
Еще волна твои следы не смыла
И на дороге пыль не улеглась...

Но мне не терпится.
Солеными губами
Притрагиваюсь
К меркнущей листве —
И ничего не требую
На память
И думаю тревожно
О Москве.

ГРУСТНАЯ НОТА

На грустной ноте песенка пропета,
Окончен задушевный разговор.
Последний день, последний вечер лета
Закрыл глаза и руки распростер.

Березу обнял август напоследок,
И, убежав из рощи от соседок,
Ему вослед она глядит с холма...

На грустной ноте песенка пропета,
Мотив растаял, эхо не вернешь.

В последний час последней ночи лета
Ты без меня, печальная, заснешь.

Шум поездов, роенье звездопада.
— Прощай, прощай, — услышишь ты во сне.
— Я здесь — вблизи. Тревожится не надо,
Спи крепко и не думай обо мне.

На грустной ноте песенка пропета,
Ее печаль не требует ответа,
Я для тебя
Другую
Сочиню...

СЕКУНДА

Атакуемая дружиной
Шумных сосен и тополей,
Разворачиваясь пружиной,
Извиваясь среди камней,
В Симферополь
бежала
дорога
И упала
ничком
в траву.
Прямо с каменного порога,
С ревом
ринувшись
в синеву.
И земля, что со мной делила
Побережий своих тепло,
Тихо голову положила
Под серебряное крыло.

В. Козин

ПОМИДОРЫ

Рассказ

Английское кепи, серая гимнастерка грубого сукна и пояс с подсумком; в подсумке остались следы от обойм. На плечах — кавалерийская шинель.

Четыре года жизни в степях и седле кончились. Надо было жить дальше.

В высоких комнатах азербайджанского наркомзема сидели под плакатами бывшие земские старички, призванные строить новую агрономию, и вспоминали прошлое. Они были вежливы, болтливы, недоверчивы. Кулагин им понравился открытым лицом и точностью ответов. Старички назначили его инструктором сельского хозяйства и послали на границу Грузии.

«Хорошие ребята!» подумал Кулагин. Боны, полученные на дорогу, он положил в подсумок и пошел на базар, где жарили в котлах жирную требуху.

Кулагин поехал чрез Тифлис по кахетинской ветке, в дороге рассматривал мягкие горы и ущелья, пил карданахское вино. От станции Цнорис-Цхали он приловчился даром на арбе. Грузин держал на руках ребенка и покрикивал, Кулагин стегал буйволов. В алазанском духане веселые старики поднесли ему деревянный ковш с вином. В Лагодехах он поел соус с перцем и курицей, рассказал духанщику два матросских анекдота и выпил с ним бутылку вина.

На агрономический пункт Кулагин пришел под вечер с кавалерийской песней и отрапортовал старику-агроному, что прибыл в его распоряжение. Агроном был испуган, он боялся шинелей, аулсовета, жизни.

Кулагина поселили одного в домике у сада. Он устроил себе койку, принес со склада разрушенный ломберный столик, чугунную скамью и начал жить.

I

Если Кулагину случалось привезти на седле из Грузии вино, он звал к себе Марину. Он находил ее на огороде или в саду и говорил, оправляя гимнастерку:

— Могу вам предложить от чистого сердца стакан вина?

Она отвечала не глядя:

— Благодарю. Не пью.

Потом приходила напудренная и выпивала все.

Когда четверть становилась прозрачной, Кулагин садился рядом с Мариной на чугунную скамью и обнимал ее плечи.

— Хотите отдохнуть на койке?

Но Марину уже пьянила гордость воспоминаний, она тоскливо отказывалась.

У нее было богатое прошлое содержанки бакинских торгашей. Теперь она работала сторожем агрономического пункта и ходила в сандалиях на босу ногу. Ноги у нее были белые. И единственное платье небесного цвета — в курином помете. Она смотрела за птицей и полола траву на огороде.

Воспоминания ее были бессвязны и одиноки. О, на Востоке любят полных женщин и фаэтоны! Ее катали по набережной в шляпке электрик — цвет самый модный, она была молодой, в файдешиновом платье, высокая прическа, шоколад «Миньон» и вино «Бени карло», очень дорогое. Когда ее водили в оперу, ей доверяли бриллианты; она открывала плечи и была, как статуя.

— Посмотрите на мои плечи, я вся сверкала!

Марина, смеясь, вспоминала свою красоту, удачи, чужое богатство, потом плакала. Кулагина она не замечала. Это походило на игру. У нее было большое легкое тело. Кулагин расстегивал на спине Марины английскую булавку.

— Пошел к чорту! — говорила она и закрывалась руками.

Тогда он наливал ей последний стакан вина. Трезвая, она была недоступна. У нее сохранилось чувство высокой стоимости своего тела. Кулагин ничего не мог дать ей в обмен.

Когда она начинала трезветь, он протягивал ей платье и открывал дверь. Она окидывала его презрительным взглядом и уходила.

Дело было летом, в саду висела луна.

До утра Кулагин писал. Он хотел простой девичьей ласки, которую не знал; его беспокоил избыток силы, но рубить сухие стволы на опушке сада или седлать старого мерина было поздно. Кулагин садился к окну, зажигал лампу и писал всю ночь, криво, без помарок.

Война, работа. Прошлое, промчавшееся за иноходцем комбрига, настоящее — случайное, в мечтах о том, чего всегда ему недоставало. Были, конечно, встречи... Под степным ометом, над Кубанью, весной, у расстрелянной станции, на камнях у моря, в теплушке ночью... Случалось. А вот так, чтобы полюбить, не было.

День проходил на огороде.

Огород был велик, земля горяча. Учил Кулагина огородной мудрости седой Зоммель. Это был мастер своего дела. Его густые брови и усы сурово свисали, он был слаб и тощ, ходил с палкой и в папахе.

Половина огорода была отведена под помидоры. За помидорами зеленой стеной стояла кукуруза, вдоль забора — делянки лоби, свеклы, табака, редиса, спаржи, земляной груши. Огород был опоясан широкой зеленью тыкв и обнесен клещевиной. По вечерам клещевина казалась нарисованной на закате голубыми линиями.

— О, — говорил Зоммель, подымая палку к небу, — это прекрасное, полезное растение! Вы не художник, молодой товарищ, вы ничего не понимаете в искусстве природы.

Старик любил думать вслух. У него была своя мысль, полная солнца и здравой мечтательности.

Освободив с помощью Кулагина ряд помидорных кустов от растительных побегов и оставив лишь плодоносящие, Зоммель сел на грядку, держа в руке садовый нож, и притих. Кулагин курил, остывая, чувствовал радость возбужденного тела и слушал шелест кукурузы. На дальних грядках с луком и петрушкой полола траву Марина; она была похожа издали на большой изогнутый плод.

Кулагин докурил папиросу, свернутую из прошлогоднего табака, и взялся за мотыгу, чтобы разрыхлить междурядья. Зоммель постучал пальцем по его плечу.

— Мой юный друг, — сказал суровый старик и поморгал глазами, — вы знаете мой новый сорт помидоров, по нескромности я назвал его «Образ солнца». Это неплохой сорт, но позднеспелый, вы будете есть его только через месяц. Тонкая кожа. Благородный запах. Крупный плод. У вас много чувства, мало мыслей. Надо знать, наблюдать и думать, мой юный друг! Природа расточительна. Человек экономен. Природа медлительна, у нее впереди вечность. Человек хочет жить быстро. Я сделаю свой сорт скороспелым. Мне надо несколько лет, чтобы оставить людям полезный, прекрасный плод моей мысли. Я научу вас, юный друг, как создавать, пользуясь созданным.

Старик, волнуясь, рассказал Кулагину о законах наследственности, изменчивости и великом методе отбора. Кулагин ничего не понял.

2

На агрономическом пункте был верховой конь — старый демобилизованный мерин с умной печалью в глазах, с жидким хвостом. Он родился в начале века и был ровесником Кулагину.

Мерин знал повод и шенкеля, брал дувалы, имел просторную рысь, ложился по команде, но годы и боевая жизнь дорого стоят; у мерина ослабели ноги, углубились глазницы, и морда стала, как у святых на иконе. Только иногда, отгулявшись на высокой траве, он пробегал по саду, делал вольт и взбрыкивал задними ногами.

Кулагин возвращался на мерине из Лагодех, держа на бедре четверть вина. Горы были круглые и мягкие, по горам бродили тени облаков, долины лежали в цветах. Конь поднялся на холм. Дорога падала вниз и за речкой скрывалась в тени каштанов и орешника. За вторым холмом показались трое верховых.

Между Грузией и Азербайджаном гуляли бандитские стаи. Кулагину рассказывали о встречах. Он почувствовал недоброе, прижал четверть к груди и пустил коня полной рысью. Верховые засуетились под холмом и вдруг пошли наперерез.

Кулагин прилег на конскую шею и поскакал к реке. У ближайшего верхового, пересекавшего долину на пегой лошаденке, показалась в руках винтовка.

«Врешь», в отчаяньи подумал Кулагин и ударил мерина каблуками.

Пегий конь пропал сзади. Впереди по камням неслась река.

Мерин на скаку ворвался в воду, кинув к небу тысячи брызг, осел на задние ноги и провалился. Вода залила седло, стало слышно, как по дну катились камни.

Кулагин обернулся. Передний верховой тащил из чехла винтовку. Конь сделал скачок и вынесся на берег. Выстрел.

Конь круто занесся за скалу, пестрая тень каштанов и орешника помчалась ему под ноги, дорога пошла вниз извиваясь.

На солнечной лужайке, которую Кулагин пересекал, минуя завороты дороги, старый мерин поскользнулся, упал мордой в траву, и Кулагин вылетел из седла вместе с четвертью. В руке у него осталось горлышко с кукурузной початкой, заменявшей пробку, и обломки стекла. Он ощупал мерину коленные суставы и, оглядываясь, поскакал дальше.

В тот вечер, на закате, Марина спокойно ходила по двору, окруженная белыми леггорнами. Кулагина занимал мерин: у него дрожали ноги и отвисала нижняя губа. Кулагин выводил его с отпущенными подпругами, расседлал, растер соломенным жгутом подседельное место, вычистил, дал несколько глотков воды и привязал в саду, бросив охапку свежего сена.

Сад застыл в предночной темноте, потом небо зазеленело снизу, выросли черные сучья, и на суку повисла большая, раскаленная луна. Старый конь стригнул луну настороженными ушами и вздохнул.

Ночью Кулагин проснулся. Было прохладно. Кулагину стало жаль пропавшей четверти и пустого вечера, но потерянного не вернешь. От нечего делать он сел к столу писать, придумав новую встречу в своей жизни — с девушкой в розовом платье.

Когда на второй странице кончились признания, Кулагин задумался, о чем писать дальше. Он перелез через стол и сел на подоконник.

«Можно врать, когда пишешь, или нельзя? На фронте нельзя, за это шкуру сдерут».

Над садом начиналось утро, двор светлел, все было неживым и четким. Домик, где жил Кулагин, примыкал к садовой ограде. В саду звучала речка. Кулагин решил умыться и встал на подоконник, чтобы прыгнуть.

Над речкой была перекинута доска. На доске стояла девушка в розовом и раздевалась.

Кулагин остался в окне. Девушка была с черными волосами, в красных туфлях. Она стояла над быстрой водой, закинув руки за голову. Кулагин видел округлые локти и яркий рот. Она стянула до пояса платье, потом сорочку, погладила ладонями грудь, опустилась на колени и стала мыться. Тогда Кулагин заметил, что заря над садом уже распустилась, и услышал голоса птиц. Под старой яблоней лежал мерин. Спина у девушки блестела. Она подняла голову и начала вытираться. Потом долго рассматривала себя. Со двора донесся стук. Зоммель стоял в одном белье на крыльце главного дома. Он стучал палкой о каменную плиту и кричал обиженным голосом:

— Елена! Елена! Куда ты пропала?

3

Складами и дворовым хозяйством агрономического пункта заведывал Виктор Леонидович Громов-Гронский, бывший акцизный чиновник. У него ничего не осталось, кроме блестящего пробора и одного зуба во рту. Он ходил медленно, поводя плечами, в грузинской рубашке с высоким воротником, на ногах — деревянные дощечки.

— Я получал семьдесят пять рублей в месяц, — говорил он, жуя пустым ртом, — но мне всегда делали подарки. Все любили меня. Была жизнь, лакей, женщины... Я пил вина только удельного ведомства, имел костюм, делал визиты высокопоставленным лицам, как ел! Как я ел! Теперь, будьте добры, взгляните — штаны, но под штанами нет даже кальсон. Представьте себе, привык!

В то розовое утро, когда Кулагин надел английское кепи и взял из угла мотыгу, в комнату, постучавшись, вошел Виктор Леонидович. Он был без пояса и сейчас же вышел назад, обнаружив, что потерял с ноги дощечку. Вернувшись с дощечкой в руке, он стукнул по столу и закричал:

— Я не хочу! Не хочу!

Покачнулся, раскрыв беззубый детский рот, приложил ладонь к животу и пробормотал:

— Проклятие! Катар.

Потом рассказал о девушке.

Ее звали Елена.

До революции она была служанкой одинокого Зоммеля, в восемнадцатом году стала его женой. Однажды через селение у подножья гор, где жил и работал Зоммель, прошла конная вереница белых. Было утро. Елена лежала в постели, солнце освещало ее всю, в окно смотрели горы, потом заглянула сбитая набекрень папаха.

Отряд спешился.

Зоммель стоял на крыльце, сжимая палку.

— Господа, господа, она совсем молодая!

Ему погрозили нагайкой.

Когда ушел последний, Зоммель, вытирая слезы, сказал, что это ничего, главное, осталась жизнь, и добавил, что он уже ничего не помнит и свою единственную тростиночку будет любить вечно.

Потом обнаружилось, что Елену заразили.

Зоммель постарел, у него стали постоянно дрожать руки. По ночам он плакал на крыльце и палкой стучал о каменные плиты.

Он продал все, что могло купить село, и отвез Елену в город.

Через два года, поздней ночью, Елена вернулась к мужу.

Весь агрономический пункт обедал в столовой главного дома. Готовила Марина, иногда Громов-Гронский. У него были способности в этом деле, но мешала лень, и обед запаздывал часа на три. Хозяйство было натуральное, кормились огородом. Каждый день — лоби и тяжелый кукурузный хлеб. Жиров недоставало. После обеда Кулагин мечтал о жирном соусе из требухи в грузинском духане.

Виктор Леонидович сидел на дальнем конце стола и делал фигурки из кукурузного хлеба. Марина была, как всегда, спокойна и недоступна.

За столом говорил один Зоммель. На нем сияла чистая рубаха; он по-детски одергивал ее и пальцем постукивал Кулагина по плечу.

— Мой друг, мы вырастим с вами скороспелый помидор и назовем этот сорт... А? Как мы его назовем?

— Не знаю, Юлий Романович!

— «Прекрасная Елена»!

Зоммель поднялся из-за стола как только кончился обед. Виктор Леонидович решительно положил ладони на стол, открыл рот — и ничего не сказал.

Зоммель толкнул палкою дверь. Виктор Леонидович быстро встал.

— Юлий Романович!

— Ну что?

— Я боюсь заразиться!

— Я два года ее не видел! — сказал старик и прижал к груди палку. — Товарищи, дорогие!

— Отец! — крикнула Елена из-за двери. — Юлий Романович! — И распахнула дверь.

В комнате стало тихо. Марина сложила тарелки на буфет и вышла, захватив с собой для кур недоеденное лоби.

— Оставь нас, Еленочка! — дрожащим голосом проговорил Зоммель. — Мы — мужчины...

— Вы не мужчины, — спокойно сказала в дверях Марина, ногой поправила половичок и крепко прикрыла за собой стеклянную дверь. Стекло зазвенело.

У Елены выкатилась слеза.

— Мы уедем отсюда, — прошептала она.

Кулагин осторожно взял Виктора Леонидовича за пояс.

— Топайте, — сказал он. — Будьте добры! — и вывел его на крыльцо.

4

В саду светлели стволы, в вершинах деревьев оживали птицы. Через сад, скрываясь в высокой траве, бежала узкая река. Над водой склонялось дерево.

Набрызгавшись среди травы, Кулагин вскочил на доску и отряхнулся. Жаль, воды по колено, нельзя плавать! Он переплывал с друзьями-ординарцами Волгу, когда они шли через Царицын на Южный фронт, Дон, Кубань — реку земляного цвета — и чистый Днепр. В горной речке не наплаваешься!

Кулагин долго стоял на доске, широкоплечий и гладкий, потом повисел на дереве, болтая ногами, ловко спрыгнул на доску и начал плясать.

«Пойдем, пойдем, ангел милый, пойдем танцовать со мной!»

Хорошо плясать голым над быстрой рекой, когда растет заря, в озаренном саду падают яблоки и лист ложится на плечо!

В прозрачном небе блеснула вершина старой чинары, что росла на дворе. Кулагин стал одеваться.

Под чинарой сидела Елена и улыбалась.

В тот день Кулагин один разрыхлил междурядья на всей площади, занятой помидорами, и вечером наколол столько дров, что Зоммель удивился.

На другой день утром в ворота постучали. Ободранный лезгин спрашивал агронома. Старик вышел на крыльцо. Лезгин порылся за пазухой и протянул ему бумажку. Старик прочитал и поднял кулаки.

Виктор Леонидович медленно ходил по двору, постукивал дощечками и напевал:

Люблю я в знойный день под кустиком сидеть...

Он сказал Кулагину, что любовь старика опасна и что председатель аулсовета приветливый человек.

Перед обедом Зоммель позвал Кулагина. Елена собирала в корзину яркие тряпки, куски хлеба, брюки со штрипками.

«Наверно, продавать барахлишко», подумал Кулагин.

Зоммель ходил из угла в угол и тянул книзу седой ус.

— Мой друг, — сказал он Кулагину, — я несчастлив!

Старик всплеснул руками и долго стоял, глядя в потолок.

— Что делают со мной? Я ничего не понимаю. Вы молоды, вы были солдатом, матросом, вы сражались. Помогите мне, я прошу вас!

Зоммель хотел увезти Елену в город, найти комнату, занять деньги у друзей.

Близилась осень, сбор урожая. Аульный совет запретил Зоммелю выезд.

— Ладно, — сказал Кулагин и посмотрел на Елену, — поговорю с начальством. Но только, что мы будем здесь делать без командного состава?

— Мой благородный друг, — закричал Зоммель, — я расскажу вам все от «а» до «зет»! Видит бог, я не оставил бы вас, но сердце мое... Вы молоды. Я прошу.

«Соберем мы эти чортовы помидоры или не соберем? — подумал Кулагин. — Понасажал их до горизонта».

Он накинул на плечи шинель и пошел в аулсовет.

— Ты председатель? — распахнув дверь, спросил он черного человека, отягощенного маузером, и сел к нему на стол. — Ты зачем наших обижаешь? Жена от белобандитов пострадала, а муж от тебя плакать должен?

Кулагин распахнул шинель и ударил по столу кулаком.

— Тебя не брали еще на господа-бога? Пусть старик едет, я за огород отвечаю. Пиши приказ. Эй, делопут, секретарь, канцелярия, иди сюда!

Матросская тельняшка под кавалерийской шинелью и вскинутая бровь... Расчет Кулагина был точным.

— Мой друг, — сказал Кулагину Зоммель, — благодарю вас. Как обидно, что вы ничего не знаете! Если бы я мог оставить в ваших руках свою голову с седыми усами, я был бы счастлив. Запоминайте, мой друг, запоминайте и думайте как можно больше!

Старик и Елена уехали ночью. Арба была запряжена парой рослых, красной масти, быков. Вещей на арбе почти не было.

Когда открыли ворота, старик взял за локти Марину и сказал ей:

— Живите улыбаясь. Женщине идет улыбка. Прошу вас, будьте снисходительны к Кулагину — это благородный молодой человек.

Елена отвела Кулагина в сторону. Кулагин стоял перед ней вытянувшись.

— Прощайте, — сказала Елена, голос ее сделался печальным. — Не думайте обо мне плохо. Разве я виновата?

Она улыбнулась, лицо ее стало детским. К ним подошел Зоммель.

— Мой добрый товарищ!

Над просторным двором стыла луна — такая яркая, что видно было, как бык пускал слюну.

— Я доверяю вам мою честь. Я доверяю огород! Не смешивайте при уборке сорта кукурузы, дайте вызреть «Образу солнца», гоняйте воробьев, гоняйте с огорода всех пернатых негодяев!

Старик потряс палкой.

— Дайте вашу руку.

Зоммель поднялся на колесо арбы. Кулагин подсадил Елену. Погонщик ударил быков, арба выкатилась за ворота.

— Я хочу только покоя! — сказал Виктор Леонидович, закрывая ворота, и улыбнулся одним зубом. — Завтра зарежем курицу и будем проводить время в беседах. Ах, я давно мечтаю об этом!.. У меня есть немного деньжат, — сказал он Кулагину и обнял его за плечи, — не съездить ли вам за вином?

5

Засыпая, Кулагин подумал: «Не было мне печали!»

Спал он крепко. Разбудил его Виктор Леонидович: он был свеже выбрит, сверкал отчетливым пробором и длинноносыми ботинками.

— Люблю я на заре под кустиком сидеть, — пропел он, сел на чугунную скамью и залюбовался своими ботинками. — Любил я в молодости спать часов по десять. А теперь? С рассвета ем яблоко и съесть не могу. Воткнешь в яблоко зуб и думаешь: «Последний ты у меня, что я без тебя, кормильца, делать буду?» Пойдемте, подергаем морковочку на огороде.

Земля была расцвечена капустой, тыквами, помидорами, подсолнечниками, залита солнцем. Виктор Леонидович согнулся над грядкой с коротелью, которая давала уже второй урожай. Лицо его покраснело. Он вытащил короткую морковку, очистил и начал скрести ее своим черным зубом. Хвостик морковки извивался, как живой.

«Сколько же тут убирать! — сердито подумал Кулагин. — Одному не справиться. Ну, Марина! А вот этого однозуба как приспособить?»

В полдень из города вернулась арба. Быки были покрыты пылью. Один потерял в дороге подковку и жаловался на ногу. Шею другого натерло ярмо. Погонщик сказал, подобострастно улыбаясь:

— Ай, товарищ хозяин, быки хотели скорей домой, как лошади бежали. Держать нельзя.

Кулагин приказал вымыть быкам ноги, натертые места присыпать купоросом, арбу поставить в тень. Погонщик засуетился, и Кулагин почувствовал себя хозяином.

Он обошел двор. «Почему весь день не видно Марины?» Заглянул в курятник, потом в склад.

Это было длинное помещение со сводами, пересеченное косыми лучами света. На каменном полу стояли плуги, сортировки, лежали бороны, куча лесного ореха в углу, запыленные бутылки, хомуты, стулья без сидений, опрыскиватели, бочонок с медным купоросом, бидон парижской зелени, известь, комод без ящиков, ночной горшок с гвоздями, люстра, старые ульи. К одной стене были прислонены картины. Кулагин начал вытаскивать их и весь пропылился.

Картин было много. Лисы, волки, зайцы, медведи, лоси, кабаны, фазаны — и женщины. Женщина, танцующая среди мечей, женщина, заснувшая на диване, женщина в пламени.

Последней оказалась голая девушка, застыдившаяся над ручьем. Эту картину Кулагин осторожно вытер и повесил над своей койкой.

Тень чинары близилась к глинобитной печке, поставленной на краю двора. Кулагин поднялся по каменной лестнице главного дома и вошел

в большую комнату. Над головой его пронеслась ласточка и вылетела в окно. Дом был пуст. Под окном зрели гранаты. Вдали стояли горы.

«Так. Ни одной собаки. Ни работы, ни обеда. Хожу один, как на карауле, пожрать нечего!»

Кулагин отшвырнул ногой стул и вышел на крыльцо.

На окраине сада паслись два быка, по спинам их двигались тени деревьев.

Кулагин долго сидел на крыльце. В саду падали яблоки.

К вечеру пришел Виктор Леонидович, с детской улыбочкой, с хлыстиком.

Люблю я на закате под кустиком...

Кулагин, не торопясь, спустился с крыльца.

— Сегодня я, наконец, увидел настоящих людей.

— Снимайте ботиночки! — сказал Кулагин.

— Вам не нравятся мои ботинки?

— Я тебе заместитель агронома или не заместитель? Надевай свои доски и катись на огород.

Виктор Леонидович открыл рот и повертел головой, озираясь, но на дворе не было ни одного свидетеля. Тень чинары рассекала двор пополам. Наступала прохлада.

— Не понимаю. Я вам не мальчик!

— Айда!

Кулагин взял Виктора Леонидовича за плечо и повел перед собой. Виктор Леонидович покорно склонил голову. Перед огородной калиткой он застонал и схватился за живот.

— Я буду жаловаться. Дайте мне спокойно умереть!

— Ладно, — сказал Кулагин и разжал руку, — не умрете, а вот ботинки, действительно, жалко. Разуйтесь. Будете дергать лук, а я копать свеклу.

6

Перед началом предвечерней работы Кулагин сидел в заросли орешника, под кустом. Развлекаясь, он дразнил палочкой зеленого жучка, отливавшего чернотой, потом начал обрывать папоротник. В орешнике послышались голоса.

В просторную тень возле куста вошли Виктор Леонидович и Марина. Говорил Виктор Леонидович. Он был взволнован.

— Не могу! — скорбно произнес Виктор Леонидович и прижал к груди ладони. — Меня не воспитывали быть поденщиком. Вы посмотрите на мои руки, взгляните на них! Грязь, трещины, пахнут копытом. Я воняю потом, как лошадь. Но мыться в холодной воде...

— Я вам согрею.

— Нет, не могу! Морковь, пастернак, лук, сельдерей, огурцы, бураки, проклятые помидоры — видеть все это невыносимо! Меня воротит от огорода. Это каторга, а мы с вами, моя дорогая, рабы. И у нас есть хан, повелитель, деспот, мальчишка, разбойник с большой дороги, бывший матрос, солдафон, пират, а мы его пленники. Грудь выпирает, в поло-

сатой тельняшке, голову обвязал красным платком... Это же бандитизм, средние века! Как я устал! Я работаю, как в деревенской песне, — от зари до зари. Я хочу покоя. Я не могу жить не разговаривая. Беседа утешает человека. А я весь день молчу и потею. Мне некогда вспомнить свою жизнь. Я все время ползаю. Я все забыл, не помню ни одного анекдота. Поверьте, когда я ложусь спать, я хочу наложить на себя руки. Но это невозможно. Я раб, но жизнь меня влечет. Моя дорогая, я разучился говорить, я не пою любимых песен, я гибну, Марина Николаевна, и, погибая, думаю: «Какой я дурак!». Я согласен, чтобы у Зоммеля было двадцать жен и все больные. Я согласен на все! Я никогда в жизни так не работал, я смертельно боюсь этого разбойника. Вы видели, как он помогал запрягать быков? Чуть шею быку не свернул. Дайте ручку. Откажемся работать. Что я говорю? Убежим. Нет! Я лягу вот здесь, под кустом, и буду лежать, пока не умру.

— А я вас подыму, — сказал Кулагин, вылезая из куста. Он подошел к побледневшему Виктору Леонидовичу и приподнял его. — Устали? Ну, отнесу вас на огород.

— Нет, нет! — закричал Виктор Леонидович. — Минутная усталость. Я не жалуюсь! Я уже привык!

Первые часы после обеда работать на огороде трудно: земля и воздух раскалены, пот заливает лицо и капает на руки. Но тени стеблей и листьев медленно продвигались, и вместе с тенями росла прохлада. Отрадно темнели убранные грядки с высохшей ботвой, половина помидорных кустов стояла голая, без плодов; вдоль дорожки, поблескивая, синели кучки баклажанов.

Марина и Виктор Леонидович убирали лоби. Кулагин ломал кукурузные початки и складывал их по сортам. Когда он присел на корточки у крайней кучи и закурил, к нему подошла Марина.

На ее розовой, покатой, открытой груди держались капли пота. Лицо было горячим и блестело. Она посмотрела на Кулагина ненавидящими глазами, поправила платье и негромко сказала:

— Заставьте Виктора Леонидовича работать. Он только потеет, а ни черта не собирает. Мне одной до вечера не управиться. Потом будете меня ругать.

— Я? Вы баба хорошая, ну, женщина, словом, — человек. И какого чорта, Марина, вы на меня сердитесь? С вином я к вам теперь не пристаю.

— Может быть, потому и сержусь.

За ужином, как всегда, молчали. После ужина Кулагин долго стоял в саду под первыми звездами и смотрел на мерина. Он почистил его щеткой, погладил, потом взял лошадиную морду в ладони. Мерин стоял спокойно. У него была благородная морда, с прямым профилем и строгими ушами. Полумрак скрывал черты старости.

— Эх, конь! — сказал Кулагин. — Аполлон ты мой, Васька!

Когда он ложился спать, у окна свистнули, и промелькнула тень. В саду долгим и слабым голосом заржал мерин. Кулагин вскочил. Мотыга стояла в дальнем углу. Он прыгнул в угол и обернулся.

Дверь тихо открылась, в комнату вошла Марина.

— Вот здравствуйте, — сказал Кулагин и забыл о мотыге.

— Что мы будем завтра делать? — спросила Марина. — Кончать баклажаны или начнем картошку?

— Вино пить.
— Поедете?
— Поеду.
— Одна я буду работать?
— Я к завтраку вернусь.
— А бандиты?
— Проскачу.
— Какой смелый! Убьют.
— На фронте не убили.
— На фронте у вас ружье было.
— Яблоками отобьюсь.
— Мерин споткнется, вам голову отрежут.
— Чорт с ней, плакать некому.
— А мать?
— Мамы нет.
— Ну, отец!
— Забудет.
— Вот сирота! Зачем вы пьете?
— Вас хочу угостить.
— Благодарю. Не пью.
— От чистого сердца? Стакан вина?
— Не ездите.
— Из-за вас.
— Ой, что вы?
— Чтобы вы не сердились!

Марина ушла в полночь. Уходя, она приостановилась в двери и сказала:

— Вы не ездите за вином. Я и завтра приду к вам.

7

Виктор Леонидович уважал себя больше всех. Он оберегал свое тело и душу от резких движений, плавно ступал, мог проспать от вечера до вечера и видел всегда детские сны. Чтобы приучить его вставать и двигаться по-флотски, Кулагин повесил на чинару пустой бидон и ножкой от развалившейся кровати отбивал склянки четыре раза в день — перед началом и концом работы.

Постепенно у бывшего акцизного выработался условный рефлекс — один из самых скорбных в его жизни. При первых дисциплинарных звуках он вскакивал с кровати и, не помня себя, перелетал из комнаты на крыльцо. Его ослепляло солнце, и он застывал, как белый столб.

— Ах! — стыдливо произносила Марина, если ей случалось в это время проходить мимо крыльца.

— Ох! — отвечал Марине Виктор Леонидович и прикладывал руки к груди. — Он разбивает мне сердце, посмотрите на меня, я погибаю, как мученик!

Часа за два до первых вечерних склянок Кулагин взял из комнаты седло и понес его на двор. К ближнему плоскогорью, где в тропе скользит родник, вела тихая тропа. День был низкий, облачный. Кулагину захотелось простора.

«Поеду шагом по тропе, под копытом звякнет камешек, буду есть яблоки, песню спою».

Кулагин заседлал мерина и пошел потрясти ранет. Он залез по стволу старого дерева, распростертого над садом, укрепился на суку и с силой потряс ствол.

Яблоки запрыгали по траве, раздался крик.

Кулагин перевесился через сук и заглянул вниз. Под длинной ветвью яблони стояла на коленях женщина. Она держалась ладонью за голову и, изогнувшись, смотрела вверх.

Кулагин остолбенел, обняв руками ствол.

В траве сидели двое: девушка с черными волосами и смуглолицая, длинноносая девочка.

Меж облаков проскользнуло солнце, небо стало просторным. Девочка начала собирать яблоки, которые Кулагин хотел съесть на одинокой тропе. Девушка в зеленом платье легла на траву и раскинула руки.

Кулагин дотянулся до крупного яблока, сорвал и нацарапал на нем: «Давайте познакомимся».

Яблоко упало у белой руки. Девушка его съела, не открывая глаз.

Орешник, сад, дом, земля агрономического пункта и возделанные земли вокруг принадлежали до революции ученому садоводу Гаджиеву. Это был вежливый человек, любивший путешествия, ковры и фруктовые деревья, имевший обширные знания о садоводстве всего мира.

После гражданской войны Гаджиеву вернули белый домик с двумя колоннами на опушке сада. Вернувшись усталым и седым в тихий дом, в котором сохранились чуть уловимый запах старой жизни и гвозди на стенах от ковров, Гаджиев повеселел и вскоре посадил у стены своего дома гранатовый куст и скороспелую яблоню. Потом вызвал к себе из Тифлиса племянниц — Лялю и маленькую Тамару, чтобы в доме, где ничего не осталось, кроме тишины, были молодые голоса.

Отец Ляли был поляк, мать — тюрчанка. Белая кожа, серые глаза, черные брови.

Кулагин сполз до середины ствола и прыгнул.

Часов на агрономическом пункте не было. Склянки отбивались по длине тени. Через два часа после обеда, когда тень чинары вытянулась за печь, Виктор Леонидович проснулся. Он был очень удивлен тихим пробуждением.

«Уж не пожар ли, господи?».

Виктор Леонидович испуганно влез в штаны и вышел на крыльцо. У арбы стоял подседланный мерин. Солнце продвигалось к голубой горе. Из солнечной глубины сада донесся смех: звонкий — женский, за ним раскатистый — мужской.

— Кулагин ржет, — прошептал Виктор Леонидович и от удивления присел на ступеньку. — Что такое? Почему не бьют склянки? Марина Николаевна!

Никто не отозвался.

Леггорны лениво путешествовали по двору, мерин оглянулся. Пригретый солнцем, Виктор Леонидович дремал, натянув на колени рубашечку.

8

Кулагин стал худеть. Он приходил на огород с первым светом и сейчас же брался за мотыгу, лопату или нож. Огород был прохладен и

пуст, птицы не шевелили кукурузных стеблей. Кулагин работал в одних трусах, с той радостной стремительностью, когда в работе забываешь все.

Вместе с солнцем появлялась Марина. Она приносила хлеб и соль. Кулагин завтракал, стоя на коленях, всем, что попадалось под руку. Марина отворачивалась. Потом привыкла. У Кулагина были сильные ноги и выпуклая грудь. Марине начали нравиться его горячие движения, смуглый блеск тела. На голове Кулагина краснел платок, трусики были черные. Кулагин работал с веселой энергией и не успевал вытирать потное лицо.

Перед вечером он встречался с Лялей и Тамарой. Сад был золотым, яблоки ярки. На Ляле каждый раз новое платье, цветное и легкое, на Кулагине одна и та же серая гимнастерка грубой шерсти. В гимнастерке было жарко. Кулагин терпел. Он лазал на деревья за грушами и яблоками и заразительно смеялся. Ляля была приветлива и строга.

— Ну, вот и встретил...

Виктор Леонидович увидел Кулагина с Лялей на закате у речки. Они переходили по доске. Ляля остановилась, долго смотрела на воду — и покачнулась. Кулагин поднял ее на руки и перенес через речку.

— Слава богу! — сказал Виктор Леонидович и перекрестился. — Был я распят на кресте, теперь воскрес. Наконец, бандит влюбился. Кончились склянки... Господи, какое счастье!

Он пошел в дом.

«Люблю я в тихий полдень под кустиком сидеть!» — и проснулся, как всегда, от страшных звуков. Не веря себе, он осторожно подкрался к выходной двери и заглянул во двор.

Склянки отбивала Марина.

Виктор Леонидович был до того удивлен, что почувствовал тошноту и прислонился головой к колонне. Потом спустился с крыльца и медленно пошел к чинаре. Марина убежала на огород. Виктор Леонидович опустился в тень.

На огороде он работал с молчаливой рассеянностью, а вечером сказал Марине:

— Все люди подлецы... Вы, Марина Николаевна, тоже!

— Я? — вскричала Марина. — Так оскорблять? — И ударила Виктора Леонидовича граблями. Виктор Леонидович отступил, поглаживая потревоженное место.

— Все женщины одинаковы, — сказал он. — Не будем ссориться.

Марина начинала чувствовать себя хозяйкой. Она неутомимо работала весь день, улыбалась Кулагину. Походка ее стала быстрой, уверенной, и склянки она отбивала очень точно.

Виктор Леонидович начал опаздывать на огород. Марина сказала ему:

— Вы не мужчина, а содержанка. Обед я вам готовить не буду. Сами готовьте!

— Я окончательно погиб! — ответил Виктор Леонидович со слезою в голосе. — Вы жестокая женщина, Марина Николаевна, вас увлек этот молодой пират.

— Об этом цыц! И не смейте ходить по двору раздетым! Идите дергать лук.

Первая размолвка была у речки. Ляля долго смотрела на воду и вдруг почувствовала, что мимо и назад поплыли стволы, тени, сад.

Кулагин подхватил ее, перенес по доске и прислонился спиной к дереву. Он держал ее на руках и смотрел в лицо. Белый лоб, длинные ресницы. Кулагин прижал Лялю к себе.

Не открывая глаз, Ляля сказала:

— Оставьте меня!

— Почему?

— Опустите меня.

Кулагин опустил и нахмурился. Ляля стала к нему спиной, поправила волосы и позвала Тамару.

— Вы бы упали в воду, — сердито сказал Кулагин.

— Я не об этом. Нельзя было так долго держать меня на руках... Вы ничего не понимаете!

Из орешника откликнулась Тамара.

— Ау!

9

Марина стояла перед картиной. Под картиной на койке сидел Кулагин. Он менял на ботинках бечевки. Рядом лежал черный клеш. До вечера оставалось часа два.

— Андрюша, — смирным голосом сказала Марина, — вот ты бегаешь за старшей племянницей Гаджиева. Я видела, ты целовал у нее ручки, а она смеялась: «Нет, нет! Так не целуют!». Я тебе не подруга на всю жизнь. Ты имеешь право бегать за ней. Но только у нас с тобой ничего не выйдет! Картофель и бураки надо в погреб складывать, кукурузу отдирать от початков, огурцы и помидоры надо, Андрюша, солить. Ты работаешь, как мужик, веселый ты мой матросик, с тобой всегда улыбаться хочется! Но... если работать только до обеда, мы же не управимся.

— Ладно! — сказал Кулагин и бережно положил клеш под подушку. — Марина, я таких, как она, еще не видел. Показать тебе, как военморы чечотку выбивают?

Блестящие горы красного, коричневого, желтого цвета стояли перед стеной склада, белые леггорны суетились над россыпью зерен. Перед одной из кукурузных куч почтительно стоял Виктор Леонидович. Ноги его были скрыты в сухих и бледных листьях. На куче сидела Ляля. Она была в красном платье, без чулок.

— Поверьте, — говорил ей Виктор Леонидович, — мы работаем, как титаны, но какими варварскими средствами! Не знаю, как я выжил. Ваш кавалер, мусье Кулагин, очень энергичен, но невежда. Ни воспитания, ни традиций! «Даешь», «аврал», грубый нрав, бесстыдная самоуверенность...

— У вас дырка на колене.

— Все женщины одинаковы, — пробормотал Виктор Леонидович и сел на листья. — Дырка!

— Что вы сказали?

В дверях показалась спина Марины, железо взвизгнуло по каменному полу. Ручная кукурузная молотилка выползла из склада. Кулагин толкал ее перед собой. На его плечах и спине вздулись мускулы, он весь блестел. Красный платок сбился на ухо.

— Виктор Леонидович, давай, авраль!

Ляля, не двигаясь, стояла на кукурузной куче. Молотилка уперлась в землю. Кулагин выпрямился и смахнул пот со лба.

— Вы? — сказал он и от удивления забыл ладонь на лбу.

— Я, — ответила Ляля. Початки покатились из-под ее ног. Она порозовела. — Вы бы оделись.

— Это ничего, я на работе... Ну, ладно, сейчас.

Когда Кулагин вернулся в брюках и тельняшке, Ляля стояла у молотилки и смотрела, как Марина закладывает в нее первый початок.

— А ты смазывала? — на бегу крикнул Кулагин. — Давай какое ни есть масло, хоть хлопковое!

Ляля вздрогнула. Марина пошла в дом за маслом.

— Какая вы сегодня яркая! — сказал Кулагин Ляле. — Вы никогда не ходили к нам на двор.

— Тамарочка уехала, мне скучно. Только и всего.

Ляля спокойно и незаметно осматривала Кулагина. Круглая шея и лицо темного загара, сильная грудь, затянутая тельняшкой, ноги в широком клеше с бахромой, клок светлых волос и красный платок.

— На кого вы похожи?

— Деспот! — отчетливым шопотом проговорил Виктор Леонидович.

— Слышите, Андрей?

Кулагин радостно засмеялся. Ляля назвала его по имени! Ничего не поймешь в этой путаной девчонке, не угадаешь, когда она говорит сердечно. Веселая и обидная. Язык у нее, как колокольчик, быстрый, неровный. Все на языке, а что на сердце — неизвестно.

До вечера Кулагин крутил колесо молотилки. Рядом стояла Марина и вкладывала в жерло початки. Ляля прошлась по двору, осмотрела склад, садик и вернулась.

Солнце расплылось за вершинами сада, сад стал красным. Марина побежала растапливать печь. Кулагин заторопился. Ляля смотрела, как мелькают черное колесо и смуглая рука Кулагина.

— Неудобно и крутить, и вкладывать. Потеря времени! — сказал Ляле разгоряченный Кулагин. — Попробуйте вложить початок.

— Вы мне пальцы обрежете.

—А вы уберите руку. Ну, вкладывайте!

Ляля двумя пальцами взяла початок и осторожно вложила. Зерно полилось на брезент. Ляля засмеялась.

— Это забавно! Очень забавно! — прошептал Виктор Леонидович. — Еще одна жертва бандита.

— Давайте, давайте! — закричал Кулагин. — Сейчас Марина будет бить...

Ляля раскраснелась, спина ее стала влажной, и капля пота потекла по телу, когда на дворе раздались гром и звяк. Ляля выронила початок. Виктор Леонидович вскочил, отряхнулся и ушел.

— Что это такое? — спросила Ляля. — У вас всегда на дворе дикие звуки.

— Склянки отбивают, — небрежно ответил Кулагин. — Восемь часов, работа кончена. Сейчас будем ужинать. У нас по-флотски.

— Я пойду.

— Выйдете в сад?

— Не знаю.

— Приходите. Луна будет...

Ляля смеялась весело и звонко. Коса ее распустилась и оплела пле-

чо. Кулагин стоял смущенный. Он поднял конец брезента и с силой сгрузил зерно.

— Не обижайтесь, — сказала Ляля, вздохнув, и перекинула волосы на грудь, — я не могу притти.

— Почему?

— Вы — пират. Что с вами будет при луне?

— Не хотите, не приходите.

— Ну, не сердитесь. Приду.

— Правда?

Ляля пристально взглянула на Кулагина и убежала в сад; красное платье мелькнуло за калиткой и растаяло в саду.

10

Окно было открыто, в стекле чернела ветка с яблоками. Из окна доходил запах старого дома.

Ляли в саду не было. Кулагин подошел к окну и стал за яблоней.

В лунном свете блестели две колонны. У подножья одной лежал забытый ковер. Кулагин заметил на ковре книгу. Он пробрался за деревьями и поднял ее.

Слова, слова, книги, стихи, картины. Когда девчонка успела все прочитать, сделать жизнь из книг и слов?

Года четыре, не меньше, какой-нибудь тонконогий папа с бородкой кормил ее и, целуя, давал деньги на платья. Так, отдыхая с детства, она стала веселой, нарядной, презрительной. Не нужно ей ни аттестата на довольствие, ни сапог, ни здоровых рук.

Четыре года скитался Кулагин пешком и на коне. От Волги под Самарой до Черного моря, от Харькова до Дербента и Баку.

Вспомнить только: голодную Астрахань, пустыню Волги, самарские степи, сугробы, волчий вой, сны под ометом, отряд комбрига, днепровские плавни, синее море, пески и прибой, братишек отчаянной жизни.

Скрыться, промчаться, накормить коня, стряхнуть вшей, найти на убитом сапоги, не утонуть, потерявши берег, удержаться на крыше последней в эшелоне теплушки, что летит через ночь в раскачку, и не умереть случайно от вши или пули в расцвете сил. Когда же тут научиться целовать пальцы?

— Если с пальцев начинать...

— Что начинать? — смеясь, спросила Ляля.

Она лежала на подоконнике. Голова и плечи в лунном свете.

Кулагин подошел на носках и заглянул в комнату.

— Вы одна? Я вас искал, весь сад обошел.

— Я знала, что найдете, я за вами наблюдала. Постойте, куда вы?

— К вам.

Кулагин приподнялся на руках, закинул ноги и сел на подоконник, спиной к луне. Ляля быстро отстранилась.

— Это зачем? Пустите меня.

Она хотела спуститься на пол. Кулагин обнял ее плечи и потянул к себе. От нее чуть пахло горькими духами и такою свежестью волос, что Кулагин ослабел. Ляля уперлась ладонью в его подбородок и запрокинулась.

— Поцеловать вы меня не поцелуете... Это наглость!

— Ляля, — сказал Кулагин, — не могу я все время ходить вокруг вас на носках, как в пороховом складе! Вы веселая, строгая. Я давно о такой думаю, четыре года. Ну, люблю... Я хочу вас обнимать, а не яблони, чорт их возьми! Вы умная, а простого не понимаете. К вам нельзя и прикоснуться. Не нравлюсь? Не зовите в сад.

— Прикасаться совсем не нужно. Любите так.

— Вы не картина. А похожа, чорт побери!

— Что такое?

— У меня картина в комнате. Утащил из склада... Ляля!

— Перестаньте! Ну! Разве так любят? Вы просто бывший матрос.

— С вами я не матрос, с вами я салага, мальчик.

— Вы мне сегодня не нравитесь.

— А раньше?

— Не смейте больше приходить.

— Пожалуйста.

Кулагин выпрыгнул в сад. Окно закрылось.

Остались яблони и луна. Кулагин сломал толстый сук и закинул его. Постоял. Свернул папиросу. Посвистал, хотя свистеть не хотелось.

11

До обеда Кулагин крутил колесо кукурузной молотилки. После склянок ворота приоткрылись, на двор, хромая, вошел Зоммель.

Дорожная пыль осела на его седые брови и усы, к штанам прилипли куски грязи. Он потряс палкой и закричал:

— Здравствуйте, здравствуйте! Рад вас видеть!

— Юлий Романович, вы хромаете! — испуганно сказала Марина.

Зоммель поднял ладони к небу и посмотрел на нее безумным взглядом.

— Это чувствительнейшие животные! Человек не может удержать их от преступления. Они мчатся от солнца, как от змеи, в первую лужу, опрокидывают арбу вам на голову, и вы лежите в луже на спине. Где вы, что от вас осталось? О, голова моя перенесла удар — она привыкла к ударам, но мое колено пострадало.

— Кто вас опрокинул? — спросил Кулагин.

— Буйволы.

Старику показали урожай. Он был удивлен и растроган. Склад, очищенный от случайной завали и уродливых обломков, накопленных до потолка, поразил его: он был заполнен луком, морковью, капустой, баклажанами, горами кукурузы, ссыпанной по сортам, бледнозелеными стручками лоби. Весь огород, оторванный от земли, был перенесен сюда, разложен и собран в новом порядке.

Старик молча обнял Кулагина и снял папаху перед Мариной. На лице Марины сквозь загар проступил румянец, глаза сверкнули, она улыбнулась и стала такой молодой, что Кулагин почувствовал себя счастливым.

Молотилка, смазанная хлопковым маслом, быки, белые леггорны, — все блестело и было целым до удивления. Но совсем удивился старик, когда внимательно посмотрел на Виктора Леонидовича: это был крепкий, обветренный человек с суровым выражением лица, быстрый в движениях, молчаливый.

Часа через три после обеда старик перенес новое удивление.

Он дремал на двуспальной кровати и думал в полусне. Окно было

открыто, осеннее солнце лежало рядом с седым Зоммелем. Потом солнце исчезло, и холод обнял старика. Звон треснувшего неба наполнил комнату.

Зоммель, забыв бедное колено, пролетел через комнаты и выскочил на крыльцо. Небо было чистым, сад спокойно желтел, под чинарой стояла Марина и била в бидон. Старик охнул.

Марина выполнила флотскую обязанность и подошла к нему.

— Марина Николаевна, вы не больны? Переутомились? Отдохните! Что ж это такое?

— Склянки, Юлий Романович, пожалуйте на работу.

Огород был пуст, только тыквы оставались неубранными. Виктор Леонидович, покрытый обильным потом, срезал их садовым ножом и выкатывал на дорожку.

Тыквы, выросшие на земле, удобренной сухим пометом, были огромны. Они величественно катились и звонко сталкивались на дорожке. Виктор Леонидович забегал вперед, чтобы удержать, но площадь огорода имела легкий уклон, движение гигантских тыкв становилось настойчивым. Виктор Леонидович шептал: «Господи, когда же склянки?» — и пятился перед тыквами задом, пока не натыкался на огородную калитку. Кулагин, смеясь, отодвигал ее вместе с Виктором Леонидовичем и уносил тыквы.

Марина и Зоммель спустились в подвал. Кулагин подтянул трусики, поправил красный головной платок и поднял на плечо самую большую тыкву, похожую на солнце.

Из подвала донесся крик, над землей сверкнула бледная голова Зоммеля без папахи. За стариком, ослабевшая и безмолвная, вылезла Марина. Кулагин уронил тыкву. Тыква подкатилась под старика. Старик растопыренными пальцами сжал голову.

— Засолила, засолила. Она засолила «Образ солнца»!

Старик взглянул на Кулагина. Руки его упали.

— И вы, мой юный друг! Вы кукурузу собирали по сортам, а помидоры? Помидоры! Вы погубили «Прекрасную Елену»! Кто может создать новый сорт из соленых помидор, сваленных в бочки? Все пропало. Погибло! Все будет съедено. Они засолили мою мысль. Господа, товарищи, что вы сделали со мной?

— Но, Юлий Романович, уезжая вы ничего не сказали о помидорах.

— Я был слаб, я потерял память. Я позволил себе увлечься. Я уступил простому чувству. Я наказан. Да, да! Справедливое возмездие! Вы не знаете селекции, мой друг, вы не знаете, что есть отбор — и я забыл это! Я преступник. Жизнь не прощает ошибок. Я погубил прекрасный плод.

Зоммель закрыл лицо руками. Марина заплакала.

12

На агрономическом пункте было тихо, как в пустыне. Закат окрасил вечер в красноватый цвет, солнце опускалось в тишину.

Марина заперлась в своей комнате, Виктор Леонидович пошел к курятнику. Кулагин сидел на огороде.

Огород лежал разрытый и пустой; увяли широкие листья, свернулись оборванные побеги, изломанные кукурузные стебли царапали небо, подурнела прекрасная клещевина.

«Наработал! Последняя надежда старика...»

Старик неслышно вошел на огород и остановился над помидорными рядами. Кулагин притаился. Закат начал темнеть. Тощий старик стоял без папахи перед раскрытой грядкой, как перед могилой. Кулагин взглянул на голый затылок старика и осторожно, на носках, пошел прочь с огорода.

Стебли зашумели. Старик обернулся.

— Не уходите! — просто и убедительно сказал он. — В такие дни нехорошо быть одному. Не ваша вина, мой друг, что вы не знаете правил селекции. Все это ничего, ничего! Моя голова перенесла тысячи ударов, но она никогда не перестанет думать и мечтать. Я не сдаюсь горю — я побеждаю его. Деньги потерять — ничего не потерять, мужество потерять — все потерять! Запомните это, мой юный друг! Вы были солдатом, вы должны уметь переносить все. Вы смелы, но вы ничего не знаете. Надо знать, всю жизнь надо познавать, наблюдать и думать. Да, да, — всю жизнь! Запомните и это, мой благородный друг! Будущее в ваших руках... Вы простите меня. Сегодня я перенес много радости и горя, я забыл. Не сочтите меня глупым стариком. Елена написала вам письмо. Несчастная девочка шлет вам привет.

Зоммель вынул из нагрудного кармана листок, перевязанный цветной ниткой, и передал его Кулагину с печальной торжественностью. Кулагин покраснел.

— Нашла! Нашла!

Калитка отскочила, Марина с распущенными волосами влетела на огород. Светлые ее волосы распались по плечам, лицо горело, грудь высоко подымалась. Белые ноги были открыты выше колен. В подоле платья она держала помидоры.

— Что? Что нашла? — пробормотал старик и схватил голубое платье. Марина слабо улыбнулась.

Старик выпрямился. Лицо его стало бледным, на одной щеке пробилось розовое пятно, глаза смотрели не мигая.

— Что это? Я вас спрашиваю, что это?

— Помидоры, Юлий Романович! «Образ солнца»!

— Почему вы думаете? Глупости!

— Мы их собирали последними...

— Да, да, сорт позднеспелый, я вас предупреждал!

— И я кормила ими кур...

— Марина Николаевна! — Старик отступил, распростер над огородом руки и застыл. — Это святотатство! Этому слов нет в человеческом языке! «Образ солнца»! Кормить проклятых... Но, позвольте, откуда вы знаете?

— Я знаю, знаю! Кормить кур было нечем.

— Кормить проклятых кур можно чем угодно. Початками!

— Я им бросала помидоры. Потом мы стали молотить кукурузу...

— Ну, кукурузу!

— Куры начали наедаться зерном, помидоры перестали клевать. Я собрала, которые валялись, и насыпала их в угол птичника. И совсем, совсем забыла.

— Не надо ничего забывать!

— Сейчас Виктор Леонидович был в курятнике и нашел. Вот, все исклеваны, а два сохранились, наверное, в середине лежали.

Зоммель взял два сморщенных крупных помидора — каждый на ладонь — и долго смотрел на них, шевеля пальцами и сдвинув брови.

Закат спускался.

— Да, да! Что-то есть. Приятно держать в руке. Давайте сюда все!

Зоммель пересыпал из голубого подола все помидоры, сказал: «А?» — и скрылся за калиткой.

Марина опустилась на грядку. Кулагин подошел к ней и поправил ей волосы.

Елена писала на разлинованной карандашом бумаге большими круглыми буквами:

«Я знаю, вы хороший, вы не будете смеяться. Я никогда не жалуюсь на то, какая мне попалась жизнь, но так обидно. Встретилась я с вами и словно не встречалась. Вы были такой сильный и веселый, когда плясали один под яблоками, а я тихонько смотрела на вас и завидовала. Пожалуйста, напишите мне несколько слов. Вам не трудно, а мне большая радость...» И адрес.

Кулагин тщательно свернул письмо и положил в подсумок. На память.

В эту ночь он любил только Марину. Она была взволнованной, необычайной.

Ушла Марина под утро. Уходя, сказала:

— Ты очень ласковый, я тебя всегда буду помнить!

— Ну, прощай! — ответил Кулагин. Над садом начиналось утро, двор светлел.

Кулагин сел к разрушенному столику и написал Зоммелю благодарное письмо. Потом вышел в сад, погладил мерина и поцеловал его между глаз.

— Прощай!

Утро распускалось над садом, когда Кулагин вышел за ворота, на дорогу. Придорожные листья покрывала белая пыль, дорога была длинная и пустая.

Кулагин поправил узелок с одеялом и перекинул шинель на другое плечо.

До станции было двести верст. Кулагин прошел их пешком, не торопясь, речки переезжал на попутной арбе.

Через год, все в той же гимнастерке грубого сукна и кавалерийской шинели, он сидел в аудитории сельскохозяйственного факультета и слушал лекции о великом методе отбора.

О. Неклюдова

НРАВОУЧИТЕЛЬНАЯ СКАЗКА

— Кар-карр, — сказала ворона, — этот вышел в папашу.

Она говорила о своем сыне, вороненке с сизым клювом. Как все матери, она им гордилась, и в речах ее звучало родительское самодовольство. Ворон тоже находил, что сын похож на него.

— Послушайте, послушайте, — вмешалась худая и нервная ворона, которой не удалось выйти замуж. Как все старые девы, она была недоброжелательна, считала себя несправедливо обиженной, но еще не теряла надежды и любила кокетливо понаивничать. Она была сентиментальна и проливала слезы по всякому поводу.

— Послушайте, дорогая, он вырастет очень красивым мужчиной, ах, какие у него блестящие перья! — И она томно взглянула на вороненка.

А вороненок, о котором шла речь, сидел на дереве и, нагибая голову то вправо, то влево, разглядывал игравших в мяч мальчишек. Он был подростком и тоже любил играть, а один мальчик ему очень нравился. Это был кудрявый белокурый сорванец, розовый от возбуждения. Стояла осень. Клен рассыпал золотисто-ржавые листья, и они стремительно разлетались по воздуху.

Ребята высоко забрасывали мяч, и он пропадал в голубой суматохе ветра. Вороненку очень хотелось поиграть, и он опустился пониже и даже совсем спрыгнул на землю.

— Посмотрите-ка, ворона! — сказал тот самый мальчик, что больше всех понравился вороненку. Его звали Витька. — Давайте ее поймаем и приручим. Говорят, что вороны умеют разговаривать.

Они побежали за вороненком и, видя, что им его не поймать, бросили в него маленьким камешком и подбили ему крыло. Потом Витька быстро набросил на него шапку.

— Ах, ах, — сказала престарелая сентиментальная ворона,— он погибнет. Ах, каким бы он вырос красивым вороном!.. — И из глаз ее полились слезы так обильно, что, казалось, идет дождь. Они стекали по ее длинному клюву, и клюв был похож на водосточную трубу.

А Витька, поймав вороненка, принес из дому большие ножницы и подрезал ему крылья, чтобы он не мог улететь.

Вороненок закричал:

«Брр-брр!..»

И Витька обрадовался:

— Он говорит, что зовут его «Борька». — И понес вороненка домой.

Раньше Борька мог летать сколько угодно, но он этому не радовался. Просто летал. Иначе ведь и быть не могло, раз он птичьей породы. Теперь он только ходил, переваливаясь, на слабых ногах и прыгал. Он ерошил перья и, выгибая свой длинный клюв, сердито кричал: «Брр-брр!» Вокруг ходили куры, кошки, собаки. Собак и кошек он ловил за виляющие хвосты, а кур стремился долбнуть в голову. Ребята гонялись за ним с палками и шестами, едва он садился где-нибудь отдохнуть, потому что ему было трудно все время ковылять на своих беспомощных лапах. Он размышлял о своей странной судьбе.

Не только ребята забавлялись, гоняя Борьку с места на место. Из соседнего домика выходила старушка с шестом и взволнованно семенила за Борькой. «Кши, кши», шипела она. Иногда она приговаривала: «Я тебе, я тебе». Витька кормил Борьку сырым мясом и учил его говорить, но Борька еще не освоился с людьми и знал только свое выразительное «брр-брр». А ночью со двора исчезали куры и кошки. Сторожевые собаки почтенного возраста вступали в исполнение своих обязанностей и время от времени хрипло тявкали. Собачья молодежь носилась по улицам, пронзительно лая и подымая пыль, а знакомая вороненку длинная гладкая такса испускала лирические рулады и думала, что у нее хороший голос.

Борьку запирали в чулан. Он долбил клювом стены и метался в темноте, разбивая голову о какие-то ведра и палки. В щелку проникала серебряная ниточка лунного света. За стеной пела такса. Потом у маленького окошка раздавалось хлопанье крыльев. Это прилетала старая ворона проведать сына. Она горько плакала и стучала носом в стекло.

— Не беспокойтесь, мамаша, — утешал ее вороненок, глотая слезы. — Крылья еще, может быть, вырастут, и я улечу.

Но старая ворона не верила тому, что вырастут крылья. Потом она улетела, дав сыну несколько житейских советов. Все-таки она достаточно видела на своем веку и была очень мудра. Во всяком случае она советовала ему ни с кем не ссориться и поскорее выучиться говорить по-человечески. А потом наступало утро, и Борьку выпускали на двор. Он прыгал и все ждал, что, может быть, у него все-таки вырастут крылья.

Витьке никогда не приходило в голову, что он испортил борькину жизнь. Он его хорошо кормил и учил говорить и все свободное от уроков время проводил с ним.

— Ежели ты будешь плохо учиться, выкину птицу вон, — угрожала мать. Но Витька учился неплохо. Конечно, лучше вместо «посредственно» получать «отл» и «хор», но ведь для этого надо все штаны просидеть.

Витькины родители жили в железнодорожном поселке. Отец его был стрелочник. Мимо их домика звонко проносились скорые поезда, и тогда стекла в окнах дрожали от страха и жаловались стеклянными голосами. А временами проползал товарник, и из полуоткрытых дверей вагонов выглядывали задумчивые коровьи морды и свиные пятачки. Витька любил гнаться за товарником. Он мог бы его перегнать, если

бы товарник не был так длинен. Иногда он вскакивал на подножку и ехал недалеко, болтая босой ногой в воздухе и балансируя на другой ноге. Но случилось однажды, что поезд пошел быстрее, быстрее, быстрее, и Витька взмахнул ногой в новом башмаке (он надел эти башмаки впервые, чтобы итти с ребятами в кино), — а подошва была круглой и скользкой, — нога подвернулась, и Витька свалился под откос. Его дернуло, перевернуло и ногами бросило на рельсы. Витька не почувствовал никакой боли, он только испугался, как бы не испортились новые башмаки — получит тогда от матери... но потом в глазах потемнело и ему стало дурно.

Поезд остановился, сбежался народ, поднялась суматоха, но Витька уже ничего не слышал, он был без сознания.

Много мучительно-длинных месяцев пронеслось над витькиной головой. После осени наступила зима, белая и рыхлая, с багровыми закатами, с таинственным узором на окнах. Потом пришел апрель. Он вылез из своей двухколесной таратайки и зашагал по поселку. Там, где он ступал, таяло. Он стукнул в витькино окно и приложил к стеклу пальцы. И стекло поголубело, заискрилось, и Витька, лежа в постели, видел, как в форточку влетел голубой и веселый ветерок.

Потом наступил май, и солнце стало припекать. Витька лежал в кровати, а около него, на полу, прыгал Борька. Теперь они были квиты: Борька не мог летать, Витька пока не мог ходить. Правда, доктор обещал, что ходить он непременно будет и нога заживет. Борька научился говорить «здравствуй» и «я здесь», а Витька тоже научился всякой всячине: он рисовал, и лепил, и решал шахматные задачи. Чему не научишься, лежа в кровати!

Борька стал настоящим другом. С ним было не скучно. А когда к окну подлетала борькина мама и говорила с Борькой вороньим голосом, Витька улыбался ей, как знакомой и даже родственнице.

Весною Витька вышел на улицу на костылях. Он был высок и бледен, и очень серьезен. Костылями он гордился, и все его жалели.

В августе случилось несчастье. Борька что-то проглотил и умер. Когда он умирал, он взглянул на Витьку жалобными глазами и сказал: «Я здесь». Потом он закинул голову и умер. Витькино горе было вполне взрослое. Он впервые в этот момент понял, что по его милости куцый Борька не мог летать и жил с ним поневоле. Он мечтал, может быть, о птичьих своих привязанностях и о крыльях.

В этот день Витька впервые ходил без костылей. Когда он встал на свои выздоровевшие ноги, он почувствовал острый прилив радости. Он подумал о том, как ужасно было бы стать калекой и какое счастье, что ноги его при нем и опять могут двигаться. Он заплакал о Борьке.

Зимой он сделал из Борьки чучело.

Падал снег. Чучело Борьки стояло на окне, а по снегу ходило много живых ворон, и они разговаривали о своих птичьих делах. А Борька смотрел на них вполне равнодушно, и ему уже не хотелось ходить и летать с ними, потому что, вместо птичьего сердца, внутри у него была только одна солома.

Ник. Ушаков

ИЗ КНИГИ «ПУТЕШЕСТВИЕ»

РУСЬ

Как на другой звезде,
совсем далеко,
кресты церквей
и сонный окоем,
но раздается
звон кольчуг и клекот
воды,
сомкнувшейся над кораблем.

И надо мной
в степи прошла орда,
и я лежал
на темном дне Цусимы.

Незримые стекаются года
и на суде присутствуют незримы.

Пронизанные стрелами насквозь,
изведавшие океан и пламя, —
свидетели сошлись, как повелось,
и мужество
глаголет их устами.

И, не страшась услышать приговор,
я говорю по чести и по праву:

— Ты не кликуша,
и твой сын не вор, —
мы заслужили
в общих муках славу.
Стоим мы оба пред одной судьбой.
Я сам — судья
и сам всему свидетель,
за все века
прославленный тобой,
за все века
перед тобой в ответе.

СТАРЫЙ КИЕВ

Мы ничего не забываем,
и хорошо знакомы нам —
в овраге
улица кривая
и колокольни
по холмам.

Чем был черней
в овраге вечер,
чем ночь в ярах
была страшней, —
тем ярче
разгорались свечи
нагорных
золотых церквей.

Их золоченые громады
пылали жаром
сквозь стекло.
Ведь даже и слепому надо,
чтоб было
где-нибудь
светло.

СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ

Малый флигель меж сараями:
три окошка, два крыльца...

Там в шкатулке несгораемой
были деньги у отца.

Жил он правилами старыми,
аккуратно вел дела.

Убежала мать с гусарами
и в трактире умерла.

Дочка молится — не ленится...
От тоски на волоске

бродит черная келейница
в мантии и клобуке.

Монастырь построен выгодно —
над лесами, не в степи...

Старший сын сидит безвыходно
в желтом доме на цепи.

Божья мать с безумным отроком
улыбается ему.

И ведут цыганки под руки
сына младшего в тюрьму.

Л. Пасынков

СЫН И ОТЕЦ САИДОВЫ ИЗ УРОЧИЩА МОЧЕГ-ОР

Когда в лесном урочище, близ селения Мазада, появились двое русских и один лакец, Гассан, человек уж немолодой — ему за сорок, — недовольно сжал губы. Гассан предвидел нежелательное оживление, может быть, осложнение жизни. Он высказал свою боязнь очень хорошей пословицей:

— Э-э, видно, на козу со сломанной ногой навалилось новое дерево!

Пожилые, умные люди полностью согласились с Гассаном Саидовым — он проницателен.

Беда пришла скорей, чем думал Гассан, и к тому ж она пришла в его дом. Сын Гассана, Али, соблазнился появлением чужаков. Очень нехорошее дело! Был Али человек молодой, лет восемнадцати, хотя он по свойственной ему самоуверенности, настаивал на том, что ему девятнадцать. Он сильно интересовался тем, как чужаки взобрались сюда — к вершинам гор, обросшим лесом. Затем Али впервые услышал, что есть на свете город Брянск и в Брянске водятся комсомольцы. Отец не разделил радости сына. Что с того, что Али впервые услышал о Брянске, ведь брянские ребята тоже впервые услышали о существовании аула Мазада; таким образом, незнание уравновесилось с обеих сторон, и Гассан тем и удовлетворился.

Но Али не мог удовлетвориться — он ведь давно считал себя мазадинским активистом; давно — это значит с мая прошлого года!

Ему многое напели, его убедили в том, что в Брянск ведет лучшая дорога, чем в Мазаду, — там железная дорога, две пары рельсов. Гассан и над этим посмеялся. «Что ж, — сказал он, — очень может быть, что в Брянске — рельсы, но и в Мазаду ведет недурная тропа. Иногда, правда, тропа сужается, становится вьючной, и на ней вырастают камни, но ослы пообтерли камни боками, и дорога, право, недурна. Зато среди города Брянска не растет столько деревьев, сколько среди Мазады, — это уж наверное. А есть ли в Брянске такой водопад и слетаются ли в Брянск горлинки? И бродят ли около Брянска волки и косули?»

В свою очередь Али тоже не согласился со многими доказательствами отца. Мазада, понятно, видное место, но Брянск лучше. В Мазаде, например, нет лесного института, а в Брянске есть. За родным аулом сизеет на горах лес, поют в его чаще веселые птицы, и все-таки Брянск лучше. Али бродил,

размышляя и глядя, как белые облака умывают и утирают лес — завидный туалет!

Сойдет туман, и отчетливо зачернеют двусторонние влажные гребешки лапника. А покажется солнце, и воздух согревается, он проходит лесом, выросшим на камнях, и обливает деревья своей эссенцией. Но все-таки в ауле нехватает института для комсомольцев Мазады!

Так Али, привязанный к родине, все меньше довольствовался ею и с некоторых пор, куда ни пойдут студенты из Брянска, крался за ними, как волк за косулей, — подглядывал из-за сосен, что делают брянцы. Али видел, как ребята эклиметром вымеряют сосны, и думал благоговейно: «О, это не простые люди! Отец ошибается».

Как-то он подошел к студентам и познакомился. Брянцы обрадовались комсомольцу: у них, чорт возьми, дело общее. Отец узнал о поступке сына и так нахмурился, что кожа над бровями покраснела.

На поступок сына Гассан откликнулся угрожающей и предостерегающей пословицей:

— Голову повяжи, пока не разбита.

Он верил, что любопытство сына глупо и до добра не доведет.

Али оправдывал свой поступок:

— Но брянцы изучают самый, самый лучший способ транспортировки леса, мне ж интересна транспортировка.

— Что? — грозно спросил отец.

— Транс... транс-порти-ров-ка... — заикаясь произнес сын, — то-есть вывозка с горных возвышенностей.

— Ча! А они хоть раз в жизни до того времени видели такие крутизны?

— Нет. Но они знают науку.

— Наука не гора, а ниже. Кто они, чтобы уметь то, чего мы не умеем?

— Ими руководит доцент.

— Кто?

— До... До... доцент... Это почти профессор.

— А что такое профессор?

У сына задрожали губы:

— Откуда мне знать, я спрошу, если хочешь.

— А раз не знаешь, — засмеялся отец, — так раньше узнай, а потом говори. И, прошу, больше не напоминай мне о студентах. Не смей к ним ходить.

В семье Саидовых пошла нехорошая, тревожная жизнь. Раз сын вернулся домой и выпалил одним духом, что, помимо доцента, есть в брянской группе еще и дипломант, что все они бьются над тем, как работать на неудобных пересечениях, а уж горы Тляротинского района — это, сказал дипломант, — могут похвастаться своим неудобством.

— Но, — Али уверен, — они победят!

Отец возразил справедливо, он возразил пословицей:

— Лисицу губит хвост, человека губят мечты.

Но хотя это была пословица, Али почему-то не согласился. Он верил больше доценту и дипломанту, чем хорошей пословице, что уж само по себе говорит о легкомысленности. Но чего вы хотите от человека, который прожил всего восемнадцать лет, хотя бы и в Мазаде? Али бормотал разные, к делу не идущие глупости.

— Крутизны, — сказал он раз, — восходят до пятидесяти пяти градусов.

— Градусы, — возразил отец, — бывают, точно! Но в чем? Не в горах, а в бузе, в бузе и в водке. Этот дипломант своими фальшивыми сведениями сведет с ума Али!

Однако Али теперь каждый день уходил к молодежи. Молодые брянские научные работники (прибавилось еще несколько человек) с большим усердием производили изыскания, и Али не спускал с них глаз, он повторял за ними каждое слово! Понятное и непонятное. В особенности ему нравились слова непонятные. Он их ценил даже больше пословиц.

За брянскими молодыми людьми Али прошел несколько затененных, малодоступных урочищ, шепча новые слова.

Он вместе с брянцами, не отступая ни на шаг, осматривал лес и камни родного урочища Мочег-ор. Затем он сам их водил по урочищу Ухада-тар. Иногда он спал с ними в лесу, уча разводить костер и рассматривая эклиметр. Брянские студенты слушали, как поют дрозды в урочище Топач-ор; дрозд уже пел неохотно, а может то была и какая другая птица, — стоял склон лета тридцать восьмого года, травы, выбившиеся меж камнями, грубели и выцветали. Молодые брянцы жили жизнью, полной наслаждения и неудобства, а их спутник упивался примусом и культурным разговором.

И вот скоро по всему Тляротинскому району, в котором находится Мазада, распространился слух, что семья Саидовых распадается. Конечно, нашлись люди, которые говорили, что отцы и дети не могут хорошо жить в такое ужасное, нервное время. Гассана все одобряли. Он умен, иначе как бы он запомнил так много пословиц. Если б сын не изменил обычаю, то все и дальше было б хорошо в солидной гассановской семье.

Но Али не слушался отца, упорствовал и водил русских по громадным скалам, поросшим соснами, и ему снились сны о самой дешевой транспортировке леса, о лесоспуске, о том, что он — студент. Али сказал о лесоспуске отцу, и Гассан расхохотался: «Какой там еще лесоспуск? Ча-ча! Это дорога малунов (чертей); где здесь брянцы проложат лесоспуск?»

Но Али стал зубастей и не приходил с одними новостями без толкований. Он сказал отцу, что вот этот вопрос о дороге для лесоспуска и разрешает студент-дипломант.

Гассан пожал плечами. Нет! Лес растет на такой высоте, что по ней могут ходить только козы или аштыкулинские акробаты. Известно, что аштыкулинцы ходят по канату, обувшись в малоудобные медные горшки. Что может на головокружительной высоте сделать студент с его бумажкой? Ла-ле-ле!

Возражения отца заставили Али внимательнее следить за работой дипломанта. И сколько ж этот комсомолец напустил цифр-козявок в свою записную книжку! И все строчки связаны с урочищем. Диво!

А Гассан усмехался: заезжий молодец может записать всю гору цифрами, от того гора не сократится ни на локоть.

— Но он рассчитывает скорости, — возразил сын.

Изо дня в день молодой Саидов все так же делил с дипломантом сыр, галушки, заправленные чесноком и уксусом. Он делил с дипломантом и соображения о проекте расчета скоростей. Али возвращался домой, глубоко задумавшись: весь мир живет под сеткой цифр, и, может быть, надо высчитать цифрами расхождение между Саидовыми, отцом и сыном.

Все так же шумел лес, венчая растрескавшиеся скалы. Все так же, доцветая, торчали из каменных трещин большие цветы с вывешивающимися из них перезрелыми усами — пестиками.

Подходила осень, и дипломант на прощание обнял Али и уехал.

Похолодало. Еще не выпал дождь, но туман густел, а выглянет солнце— с деревьев каплет часто-часто.

Появились медведи в лесу, и мазадинки толпою, а не по одиночке, ходили в лес за хворостом. Иногда ночью по Мазаде прогуливались волки, хотя еще росли цветы. Однажды бессонный, задумчивый Али увидел, как волк подошел к дереву, превращенному в вешало для сушеного мяса, и, став передними лапами на дерево, потянул ноздрями,— но зелен этот виноград для волка. Пощелкал серый на сухую баранину, взвизгнул по-собачьи и ушел.

Сын ложился, вздыхал, а Гассан поддразнивал:

— Что нового, сын? Я слышу ветер, но, может, ты слышишь шум лесоспуска? У тебя, сын, молодые уши! Должно

быть, я по глупости считаю, что лесоспуск построить все-таки невозможно. — Гассан в упор смотрел на Али. — Цифры писать хорошо в лавочке, где продают готовые товары, а в лесу писать цифры...

Отец махал рукой, поворачивался на овчине, разостланной на сене, и закрывал глаза. Наступала долгая мазадинская ночь. Разве, уже засыпая, отец еще скажет: «Душа — если она в теле, а имущество — если оно в руках». Кажется, это тоже была пословица.

...Поздней осенью в лес приехал молодой инженер. В природе наступил перелом, но стояли еще красные дни. Инженер, заведующий республиканскими лесами, побывал в доме Саидовых и в сопровождении затрепетавшего от предвкушений Али направился в лес. Инженер закинул голову, разглядывая сосны, не обычные горные низкорослые сосны, — пред инженером стояли в багряной шелухе деревья второго бонитета, рослые, что мачты. Сняв фуражку, инженер проходил под деревьями и шептал: «Вот красавцы!» Действительно, кудрявые вершины высоко расположены, игол в них так много, что вершины казались синими, и под ними стоял дневной сумрак почти пепельный, кое-где смягченный голубизной неба. Небо скупо светилось в мелких прорывах меж игольчатыми кронами.

Должно быть, благодарный дипломант не забыл сытных галушек и доброго досуга, которые он делил с Али, — инженер с Али говорил, как с равным, почему-то предполагая, что Али знает основы науки. Они вдвоем слушали скрип красных стволов и говорили о лесоспуске — опять о лесоспуске!

Али присел на корточки рядом с инженером, вдыхал запах табака и мха. Во мху еще чернели шарики переспевшей брусники, должно быть, дрозды не успели доесть выращенное для них. Инженер совещался с молодым мазадинцем, — довериться ли расчетным работам дипломанта или еще раз пройтись по горам?

— Знаете ли, Али, — сказал инженер, играя козырьком фуражки, — такая ж черника и сосны такие ж у меня на родине, может, потому и вы кажетесь мне родным.

Али отвечал застенчиво:

— Не знаю.

— А, может, потому, что много говорил о вас дипломант. В самом деле, когда гляжу на этот лес и на вас, — продолжал инженер, — мысли переносят меня в детство, в родную центральную полосу. Вам, Али, знаете, надо учиться.

— Отец не отпустит. Чего я хочу, того отец не хочет.

— Как не хочет! С дикостью, извините, будем бороться. Ну, докурил, пойдем! Поведите меня выше, пожалуйста, к горизонту, командующему этим лесом.

Так и сказал — «к горизонту».

Они пробирались меж соснами. Нагретые солнцем чешуйчатые стволы пахли скипидаром и ванилью. Люди ступали с камня на камень, все чаще сквозь игольчатые вершины деревьев блестела синева и освещала бронзово-сивые, выцветшие иголки под деревьями; блеснет солнце — и пелена иголок мягко переливает медвежьей шкурой.

Из-за деревьев возник шум и запах. Потом он усилился и вырос, словно встав над головой.

Они шли. Али поддерживал инженера под локоть. Камни, покрытые палыми иглами, казались дремлющими дикообразами. Шум теперь охватывал поллеса, и сухое благоухание сосновой коры смягчилось нежной сыростью, повеяло водой. Где ж она?

— Сюда, товарищ, сюда! — Али привел инженера на поляну, затемненную склоном нового подъема и осветленную большим водопадом.

— Отец говорит, только это — воду! — можно спускать с наших гор, а не бревна.

Перепад водяного каскада был не менее двадцати метров.

В светлую гриву, ниспадающую с

влажной черноты скалы, солнце вплело круглые плотные зерна радуги — семицветные капельки. Капли, казалось, не падали, а вздымались, и, словно наперегонки, рядом с ними порхали поздние, должно быть ожившие, бабочки; они питались последним, вялым нектаром цветов, окаймлявших устье водопада.

— Ах, сукиного сына, прелесть какая! — восхитился инженер и снял фуражку. В особенности обрадовала его скромная «брусенка» — так он по-северному именовал бруснику, разросшуюся внизу у самой сверкающей воды. — Куда ж сходит вода?

— Пойдем. — Али тронул за рукав.— Увидишь реку Мазаду.

— А куда идут воды Мазады?

— Мазада уходит в Аварское Койсу, товарищ.

— Пойдем на Мазаду.

Полюбовавшись рекою, они вернулись в аул. На дороге инженер увидел мелкий сдвоенный след. Али пояснил: отпечаток в земле — след косули; должно быть, она убегала от волка — теперь осень, и появились волки. Волей природы в урочище согнаны две недружные разновидности — волки и косули: волки питаются косулями, а косули стараются укрыться от волков, и, бывает, косуля прибегает к мазадинским людям — к их жилью, чтоб переждать. При этом иногда счастливицам удается уйти и от волчьих зубов, и от ножа и котла человека. А зимой сюда спускаются и горные медведи — они жируют последними ягодами, вырывая их из-под снега.

— Ничего! Скоро этот зверинец спугнет громкий лесоспуск, — сказал инженер.

Али повернул к инженеру умоляющие глаза:

— Да, если б ты знал, товарищ, как надо мною смеется отец. Он говорит, что своя низкошерстная собака лучше, чем чужой длинношерстный баран.

— Что это значит?

— Я не знаю, — печально отвечал Али. — Он не верит, что выйдет по-вашему; он смеется над тем, что я хожу с вами; он говорит, что меня никто за это не накормит. «Игла одела весь свет, сама осталась голой», так говорит-смеется отец. И если б вы сделали лесоспуск, я б немножко-немножко поднял голову.

— Ладно, — сказал инженер, — заходи завтра пораньше, поднимемся к самому верху, прогуляемся над лесом.

Утром они поднялись выше водопада; путь нелегок. Быстро навстречу им неслась река, расчесываемая острыми камнями, — это был исток водопада. Дорогу людям перебежала горная индейка; она спешила со всех ног, вытянув маленькую некрасивую голову, глаз ее блеснул перезрелой ягодой черники.

Как высоко ни уходили люди — лес все еще простирался.

Так шли час, другой, и Али вздыхал — он вспоминал об отце, который и сегодня, отпуская его, упрекнул в дармоедстве. Дипломант, доцент, инженер получают жалованье, — они не знают, как горько и стыдно Али. Не выйдет затея, — они уедут, и отец тогда съест своими пословицами.

Деревья стали ниже, кое-где снег, вечные снега белели над урочищем Мочег-ор.

Взбирались еще час. Деревья еще ниже, они разбежались друг от друга и тонули в снегу. В этот первый большой переход Али с удивлением наблюдал смену пояса растительности, инженер увел Али из южного леса в лес тундры.

Молодой мазадинец бледнел: он не знал многого на своей родине.

Интересно, какую пословицу произнес бы отец, увидев все это, неведомое! Сильно пахли глубокой свежестью снега, переливали сухими сине-желтыми искорками. Точно взяли с водопада его блестки, заморозили и раскидали перед Али. «Ах, отец, отец! Я бы тебе тоже сказал пословицей: «Имущество скупого всегда подает щедрый».

Чужие люди, и не видев, знают больше тебя. Они знают загодя. Ты, отец, никогда не водил меня сюда и сам не был здесь!»

Уж не сосны стояли вокруг, а березы, карликовые березки утопали в серебряном снегу, они были немного выше Али. Инженер указал на неполное развитие деревьев, срезал одно и объяснил, что перед Али — «угнетенный лес». Березки жили в страхе перед вечным холодом, как жил Али в вечном страхе перед пословичной мудростью отца.

Молодой инженер сел на камень, смотрел вниз. Зеленым морем стояли перед людьми сосновые вершины леса, который будет вырублен и спущен в Тляротинский район и ниже. Дышать здесь трудно, в воздухе словно нехватало каких-то солей, питательной плотности.

— Пошли обратно!

Инженер опирался на плечо Али, сходил осторожно.

Инженер вернулся в Мазаду и на утро с той же теплотою, как и дипломант, простился с Али. Сел на коня и уехал за двадцать три километра, в Тляроту, откуда ему предстояло сделать двухсотдвадцатипятиверстный переезд в город, чтоб скоро опять вернуться.

Отец подумал и выразил мысль пословицей:

— Пожелай себе своего осла, чем общую с кем-нибудь кобылу. Что,— засмеялся он,— и этот улизнул от тебя!

Но Али теперь легче вынес испытание: он увидел в родном краю неузнаваемое и незнаемое отцом.

Спустя немного дней в Мазаду нахлынуло много людей, они пригласили мазадинцев и приступили к постройке лесоспуска. Вот так-так... Вот тебе и кобыла!

Али не позлорадствовал, не упрекнул отца. Он молча пошел в черневший лес. Отец проводил его растерянным взглядом, двигая бровью. Когда наехали чужие люди, когда строят лесоспуск — какую нужно применить пословицу, адамал? Скажите, люди?

У Гассана на лесоспуск не нашлось пословицы, и он заметно растерялся. Вот когда оробел человек. Дорого дал бы Гассан, чтоб найти свою формулу скорости и узнать, как поживей приблизиться к сыну, но раз Али помалкивает, то, выходит, и Гассану неудобно заговаривать. Всему свое: пожилые годы — пожилые, а молодые — молодые или, как говорили старики: «Гору переваливай поутру, а речку — после полудня».

Строили лесоспуск длиной в полтора километра, и надо было преодолеть ломаный профиль — дать прямую линию. Удивлялись мазадинцы, щелкали языками. Гассан, подумав еще немного, накинул безрукавную овчинную пелерину — такие пелерины, только из бархата, носили кавалеры еще в Версале — и пришел в урочище. Так как сына при том не было, Гассан надменно сказал людям:

— Ча-ча! Не знаю, что вас тут удивляет: ведь все заранее подсчитано цифрами.

— Нас удивляет твоя смелость, Гассан. Ты был против, а за был твой сын, Али. И если говорить, как ты, пословицами, то скажем: чего не удержал своими зубами, того не удержишь чужими губами.

— С каких это пор сын — не родственник отца?

— С тех пор, как ты стал высмеивать каждый его шаг, Гассан.

— Я не высмеивал, но направлял его с осторожностью. Я говорил: «Впереди хорошего смотри, нет ли плохого, а впереди плохого ищи хорошее». А вам, адамал, незачем становиться между отцом и сыном, честное слово! — Гассан выпучил глаза и крикнул:— Я сам за то, чтоб сын стал скальником, пусть рвет скалы: от этого — доход.

Словом, Гассан стал изворачиваться, а изворотливых людей в Мазаде не любят. Время шло, и для устройства

прямой линии спуска устроили эстакаду.

Тут понадобилось много людей, и людям платили деньги. На деньги есть много пословиц. Гассан привел из них самые звучные. Выступы скалы срывали аммонитом, обнажалась гладкая выемка, прямая линия лесоспуска. Скальникам тоже платили хорошие деньги, а деньги — это еще новые пословицы, новые поговорки.

Гассан овладел собой, знал теперь, какие пословицы надо выбирать,— он сам посылал сына к водопаду, на вершину горы, где растут бледные, мелкие березки. Как мог бы сын ослушаться отца! Как может отец не желать лучшего сыну!

Смехом, недоверием все же отвечали мазадинцы Гассану. Нет, он просто жадный человек — никакой твердости характера; перестали верить даже его пословицам — вот как иногда расшатывается авторитет человека!

Али работал уже скальником, крепко овладел ремеслом, приносил деньги в дом. Он купил отцу шкурку на новую шапку, и новая шапка завладела головой отца. Иногда Гассан выходил теперь на порог, ловил людей и, поправив шапку на голове, совещался с людьми относительно расчета скоростей, словом отец вел себя если не как дипломант, то как дипломат, — он обнаружил истинную гибкость ума, и людям его шутки все так же не нравились.

Меж тем приходили новые люди и знакомились с отцом и сыном. Приходили люди не только из одной Мазады. Для этих семья Саидовых — отец и сын — были на одно лицо, оба хорошие.

Укладывать части лесоспуска нелегко. Гассан взялся помогать, надо приспособиться — поддерживать бревно в наклонном положении в пятьдесят, даже шестьдесят градусов. Теперь Гассан не говорил, что градусы бывают только в водке.

Горожанам хотелось применить механизацию, но насчет механизмов они спохватились уже тогда, когда лесоспуск вчерне был построен. Гассан первый осудил этих недогадливых людей, он сказал:

— Пищу, съедаемую сегодня, оставь на завтра, работу, делаемую завтра, сделай сегодня.

Вот как он выразился насчет механизации и растяп! Кто понимает разные пословицы, тот оценил, что ни к чему иному, как к механизации, эти мудрые слова не приложимы.

Но судьба людей бывает удивительна. Именно то, что не применили механизацию, неожиданно выдвинуло Гассана и примирило с ним мнительных мазадинцев: лесоспуск рубили топорами, лучковую пилу (широко повсеместно применяемую уже с десяток лет) не признавали ни мазадинцы, ни работники из других аулов. Да что там лучковая! Жители урочищ и поперечной пилы (известной сотнями лет!) не признавали: «Наши деды рубили топорами, мы тоже будем рубить топорами».

Каждый человек рождается для своего дела. Гассан, раздраженный мазадинцами, крепко ухватился за лучковую пилу; как и другие смертные, он до сих пор дневную норму выполнял топором — три кубометра; с помощью же лучковой пилы Гассан выполнил двенадцать кубометров нормы. Но, что всего удивительней, Гассан Саидов при этом не произнес ни одной пословицы, ни одной поговорки. Его поступок был сама мудрость и в пословичном уме не нуждался...

Пораженный своим успехом, Гассан боялся переживать его на людях и забился в самый лесистый, глухой угол урочища; под кустом он с любознательностью разглядывал свои узловатые гибкие пальцы, словно рожденные для лучковой пилы. «Ча-ча,— шептал он,— что это значит?», он потрясал корявыми маслаками и закрывал глаза, соображая.

Нет, Гасан не знал, совсем не знал,

что рожден для славы. Славу взял себе сын, и больше славы не могло быть в мире; но жизнь — Гассан теперь это видел — изобретательней даже его сына. Али стал передовым парнем. Но и Гассан тоже передовой человек или, как это говорится в пословице... да чорт с ней, с пословицей!

Гассан провел не менее двух часов в душистой чаще, среди кустарников, он хотел уже выйти к людям, но робел. Робел он людского удивления, в котором еще острее почувствовал глубину и ширину своей славы. Двенадцать вместо трех,— нет, это даже неудобно!

Он потоптался еще немного в кустах, спрятал в карманы штанов свои сокровища, свои руки, и вышел к людям с потупленными глазами, на бровях блестела испарина.

Жители урочища, мазадинцы и другие, шумели вокруг Гассана, поднимали тяжелые его руки. Они заставили его вынимать правую руку из кармана, чтоб пожать ее.

Гассан мог бы беспрепятственно говорить о том, как дальновидно, опираясь на сына, он предвосхитил наступление новой жизни в урочище Мочегор, но Гассану совестно врать — честное слово! К тому ж и незачем врать; вообще теперь не надо выбиваться из сил, стремиться обратить на себя внимание, затемнять хитростью свою недавнюю темноту.

За деревьями послышался стеснительный смех, несколько человек подталкивали Али, но он и сам не очень упирался. Али подошел свободно, взглянул на отца с такой нежностью, с такой гордостью, что у Гассана зачесались веки и зачесалось в груди.

Люди смотрели на отца, на сына.

— Подайте руки,— советовали сзади.

И сталкивали их, точно в семье Саидовых была хоть крупинка недомолвки...

Вы сами знаете, что Гассан первый... впрочем, это вранье! Гассан был бревном в ногах сына, гнилым дуплом он был! Но теперь все перевернулось. Жители лесных урочищ, знавшие, что Гассан хвастун, каких мало даже в Тляротинском районе, удивлялись его скромности и растерянности. Некоторые ж подумали, что теперь за старшего Саидова хвастает сама жизнь.

— Подайте руки,— суетился какой-то низенький старик и вытягивал голову.— Я не вижу — они подали руки?

Сын крепко обнял отца. Они так застыли, позелененные сверху иглистыми опахалами сосен.

— Поглядите на отца, главным образом на отца,— сказал старик, жадно разнимая Саидовых.—Гассан вырабатывет в четыре раза больше и нас учит тому же. Вот теперь и говорите, что мы, люди средних лет, никуда не годимся. К весне, говорят, каша жидка, а к осени хинкал крупен.

— Довольно этих пословиц,— с отвращением отозвался Гассан, — они все врут. Разве молодые годы моего сына ничего не принесли людям? Кажется, все вы собрались сюда, кушаете и кашу и хинкал потому, что мой сын пришел сюда первым.

— Это ты его послал,— подсказал старик,— он не смел бы ослушаться отца.

Отец смолчал. Утверждение старика лживое, но довольно приятное, а если все это отбросить, надо сказать, что перейти от топора к лучковой пиле (слышите, адамал,— лучковой!) не может первый попавшийся мазадинец.

Профиль новой специальности Гассана был узковат, но все ж подобен сказке. Вчера зарабатывал пять рублей, а на утро двадцать. Этого не сумеет человек, у которого жирная голова.

...С того дня Гассан поражал людей не разговорами, а работой. Так, например, он открыл лучший способ транспортировки, он же предложил лучший способ подтаски леса канатами, и инженер согласился. Мазадинцы своих быков выкармливают в лесу, под деревьями, но когда Гассан предложил

новый способ трелевки (подтаски) леса на быках, мазадинцы восхитились. На другой день его Али, его мальчик, сделал указание, как лучше обращаться с бревнами в тех случаях, когда их надо не опускать, а поднимать. Мальчик тоже соображает. Жители Мочег-ор щелкали языками, а Гассан тихо улыбался.

Самое удивительное случилось, когда привезли транспортер.

Нашлись смелые, нагловатые люди, которые, не зная ни одной части приспособления, объясняли действие транспортера, но только отец с сыном, переглянувшись, помогли его монтировать. У них была эта жилка! Они —Саидовы!

На другой день Гассан пришел с голым подбородком, он сбрил бороду, которую носил по благочинию, по старосветскому «суннету». Теперь к нему приставали, от него ждали слов о транспортере, ведь он первый вооружился лучковой пилой. Но Гассан молчал, поглядывая на сына,— ждал, что первое слово скажет сын. Они вдвоем поднялись наверх, где на высоте в два километра станет работать над ущельем мотор, к которому прикрепят цепи.

И что ж! За ними пошли жители. «Саидовы, как вам не стыдно — знать и не объяснять людям!»

— Скажи ты,— сказал отец сыну.

— Нет ты. Ты старше. Ты больше меня слышал.

— Хорошо! — Гассан погладил бритый подбородок.— К железной цепи, смотрите, будет прикреплен этот самый транспортер, цепь, как вы видели, железная, с шипами, словно на еже... Говори теперь ты, Али.

— Цепь будет итти вот так, непрерывно, сверху вниз, бревна лежат в транспортере, и он принесет бревна к лесоспуску. Говори ты, отец.

— Так с двухкилометровой высоты будет спущено двадцать пять тысяч кубометров леса; когда лес вывезут, самый лесоспуск... Говори, Али.

— ...лесоспуск тоже разберут, он сам станет строевым лесом, и по бревну спустят рекою Аварским Койсу. Затем такой же лесоспуск построят в урочище Ухада-тар и в урочище Топач-ор, к топачскому лесоспуску пристроят еще лежневую дорогу, по ней лес к реке будет доставляться на лесовозных площадках.

Семья Саидовых смолкла.

Люди разошлись.

...Прошло немного времени. Все мазадинцы поглядывали за отцом и сыном, но ничего выдающегося не замечали.

Однажды распространился слух, что в соседнем, таком же труднодоступном, Иумадинском районе устроят снежный бревноспуск. К инженеру пришел Гассан. Он был сильно взволнован и просил, чтоб его отправили в селение Митрода, близ которого устроят для бревен небывалый в Дагестане снежный путь.

— Зачем это тебе нужно, Гассан?— удивился инженер.— Ты один из первых в урочище Мочег-ор!

Гассан пропустил мимо ушей похвалу и попросил рассказать ему в с е. Но в с е было очень просто: над Митродой стоит громадная скала, очень уж она большая. Скале придадут пологость. А у вершины скалы протекает река, ее каналом подведут к самой вершине, и воду пустят по склону. Непрерывно льется вода, и непрерывно нарастает лед на лесоспуск — вот по льду-то и станут гнать бревно за бревном. Внизу на своем пути бревно встретит взгорок и силой движения перескочит, помчится далее. Работы будут проводить только зимой, и составят календарный план на время обвалов. Когда весной пригревает солнце — льды еще крепко лежат, но начинается пора обвалов, и спускать лес опасно.

Гассан вынул кисет, вынул из кисета мочевой пузырь теленка, вынул из пузыря черный табак, свернул вздрагивающими пальцами папиросу, закурил.

— Можно все-таки просить? Я прошу отправить меня в Митроду.

— Зачем? Там есть свои люди.

— Все-таки я имею опыт больший, чем митродинцы. На Мочег-ор я всходил к самой вершине и знаю, как рыхлеют снега, когда пригреет весеннее солнце. Я отлично знаю пору обвалов, и сам день и ночь буду наблюдать на митродинской ледяной дороге.

— Но разве, дорогой Саидов, у тебя нет ремесла? Славной работы человека, владеющего лучковой пилой? Ты удивляешь меня, товарищ Гассан, серьезно же...

— Нет,— вздохнул Гассан.— Вы не поняли моего сердца. Я буду иметь к вам очень-очень серьезный разговор: прошу отпустить меня туда.

— Но ты не будешь зарабатывать столько, сколько здесь. Подумай, что дает тебе в Мочег-ор рабочий день, к тому же ты дома. В самом деле, зачем ты бросишь дом?! Сына, наконец!

— У-у, сына... Сына я очень люблю

Вскинув задрожавшие брови, Гассан Саидов взглянул на инженера.

— Обещайте не смеяться надо мною, товарищ. Я вам скажу, а вы никому не говорите, хорошо?

— Сыпь!

— Мой сын первый начал урочище Мочег-ор. Я хочу первым начать митродинскую ледянку. А насчет обвалов, вы не бойтесь,— Гассан раскраснелся.— Я объясню: с тех пор, как победил сын, все время... понимаете ли... все время я ходил за ним, за моим Али... Я смотрел, подсматривал. Я не верил и все места осмотрел. Знаю даже такие места, где растут березы величиной с мою руку, где всегда лежат снега, где копятся обвалы.

— Вот какой ты, Гассан. И ты думаешь, что этого не смогут сами митродинцы, хозяева?

— Конечно, нет! Они не имели еще уроков от сыновей и еще не попробовали, с чем это едят.

— Послушай, Гассан. Обдумай еще раз хорошенько. Не заводит ли тебя далеко это чувство к сыну? Митродинцы — что тебе до них! Ваша ж аварская пословица говорит: «Если не заболеет живот хозяина, то не заболеет спина чужого». Предоставь же хозяевам первым позаботиться о своей ледянке, а сам оставайся здесь, на родине, окруженный славой. Но что ж ты молчишь, Гассан!

— Уа, — отвечал Гассан с отчаянием,— конечно, лучковая пила — это хороший заработок. Но все-таки я не первый в Мочег-ор. Мне стыдно перед сыном; он первый, а я не первый. И затем, я разлюбил все пословицы.

— Что ж ты любишь?

Гассан аккуратно вложил пузырь в кисет, кисет обмотал шнурком, спрятал в карман и сверкнул черными крупными глазами.

— Я люблю, когда слово о живом человеке становится пословицей. Позвольте ж мне, товарищ инженер, первым отправиться к началу постройки ледяного спуска в Митроду...

Э. Гард

ВОРЫ

(В советском суде)

Скучно сегодня в народном суде!

На очереди: два дела по «гос-искам», дела об установлении права наследования и о выселении, три штрафных дела. Не дела, а «вермишель», как говорят постоянные посетители камер нарсудов.

Старичок — его здесь все знают — с нескрываемым восхищением вспоминает былое:

— Помните дело извозчика Комарова с Таганки, зарезавшего семь человек? А загадочная история ленинградского инженера Джорогова, судившегося за убийство жены? А «чубаровцы?» А когда-то давно «Джеки-потрошители» в российском стиле или артистка Пуаре с фальшивой беременностью, или инженер Гилевич, убивший своего секретаря и содравший с него кожу, чтобы убитого приняли за него, убийцу? А какие были воры! Какие воровские дела!

Корнет Савин, он же «граф Тулуз-де-Лотрек», украл целый генерал-губернаторский дом в Москве и Марсово поле вместе с часовыми в Петербурге. Назвавшись владельцем этих «угодьев», Савин, по фальшивым документам, в фальшивой нотариальной конторе, запродал некоему заезжему иностранному спекулянту эти «пустяки» и, получив задаток, скрылся, прославив на долгие десятилетия свое имя в истории международного жульничества. Даже спустя пятьдесят лет в тюрьмах юга России крупных воров называли «тулузами». Были и такие прославленные воры, как «Сонька — Золотая ручка» или Яшка Кожин, обокравший в одну ночь три столичных банка и квартиру самого начальника сыскного отделения.

Мировая уголовная статистика утверждает, что преобладающим преступлением является во всех странах кража. Но у нас воры мельчают.

В камере десятого участка Ростокинского района, бывало, за год проходило по тридцать—тридцать пять дел о кражах, а теперь за полгода всего одно дело, да и кража ли это? Так, «мелкие хищения».

В нашей стране вымирает воровская профессия.

Однако кражи еще не исчезли совсем. И хотя воры в большинстве мелкие, случайные, но и они откуда-то берутся.

Что толкает их на воровство?

В судебной камере раскрывается эта тайна. И тогда маленькое и «скучное» дело о покраже штангелей на сумму 160 рублей вырастает в волнующую повесть. «Героем» часто становится не подсудимый, а свидетель, и рядом с неизвестно как запутавшимися в нашей жизни жуликами вдруг вырастает фигура подлинно нового человека, вырисовываются новые отношения, новые понятия о долге, о чести, о товариществе.

Маленькое дело № V — 122 — именно такое дело.

Перед судом — бывший вор Андрей Вештебей, рождения 1915 года, из Хабаровска. Шесть лет назад он поступил на московский завод «Калибр».

С этого и начинается «дело».

Андрею Вештебею в то время едва исполнилось 18 лет. А жизнь у него уже была полна приключений и страшных, неповторимых историй.

Андрей Вештебей, по кличке «Стрела», родился, как было сказано, в 1915 году в Хабаровске, в рабочей семье. Дед его — китаец, женившийся на русской, — отсюда и неожиданная для такого русского парня фамилия, как Веш-Те-бей, и немного косой разрез глаз, темнокоричневых глаз, с лукавинкой, быстрых, как мыши, но, однако, умных и пытливых; отсюда и скуластость маленького, точно детского лица, и какой-то, едва уловимый, акцент в речи.

Впрочем, он считает себя вполне рус-

ским. Да и правильно, — ведь даже преданий о деде-китайце не сохранилось. «Не генералы — предками не интересуемся!»

Отец был железнодорожным машинистом. Мать вечно хворала. Машиниста где-то кто-то в пути застрелил. Вскоре умерла и мать.

Андрей Вештебей остался один, без гроша денег. Как-то случилось так, что никто не заинтересовался восьмилетним сыном убитого машиниста, и однажды, голодный и бездомный, Андрей Вештебей отправился промышлять на базар. Украл с лотка яблоко и съел его жадно. Украсть оказалось до того просто, что ничем другим точно и не стоило заниматься. Мальчишка начал воровать.

Потом он уехал во Владивосток. Здесь познакомился с блатными ребятами, научился карманным кражам и стал «шарманщиком», или «верхушечником», — ворующим, что «сверху лежит», из карманов. Владивосток надоел, и вот в компании он едет в Одессу — к теплому морю.

Так началась бродяжническая жизнь Андрюшки Вештебея. Географию он выучил на практике и знает все наши моря и реки, горы и леса, степи и пляжи, города и городишки, железнодорожные станции и пароходные пристани, все пути-дороги, все милицейские участки, детдома, колонии, нарсуды и базары.

Одесса, Киев, Белое море, Ленинград, Шепетовка, Ташкент, Архангельск, Самара, Москва, Рыбинск. 70 детдомов — изо всех бежал, 130 милицейских участков, 37 нарсудов — в 24 городах СССР...

И обо всем, о каждом городе, детдоме, нарсуде, о каждом «деле» и каждой жертве своей он может рассказать — спокойно, эпически, без рисовки и бахвальства, с чуть заметным смущением, точно ждет рассказчик, что вот встанет слушатель, плюнет и скажет: «Ах ты, сукин сын, сколько мерзостей натворил, змееныш, за свою куцую жизнь».

Киев. Осень. 1928 год. Ему едва исполнилось 13 лет... Судился за грабеж у курсантов. Было «мокрое дело»...

Вспоминать ли? Нет, не стоит, лучше это не вспоминать...

1930 год. Одесса. «Забрался я в одну квартиру. Дома — никого. Только начал собирать вещички, слышу: идут. Пришлось лезть под кровать. Пришла хозяйка, вскоре за ней хозяин. Ели, чай пили. А меня голод разбирает. Легли оба спать. И собачку взяли в комнату, — от воров, надо думать. Маленькая, паршивенькая собачка. И полезла она под кровать, прямо ко мне. Не лает, обнюхивает, ласково лижется, хвостом машет. «А вдруг, — соображаю, — затявкает?» Взял ее пальцами за горло, нащупал яблоко спереди и сдавил. Быстро подохла собачка.

Всю ночь пришлось пролежать, прижавшись к ее трупу, — под кроватью стояли корзины, было тесно. Ночь показалась без конца длинной и страшной. Не забуду собачку эту... Только под утро вылез, взял со стола часы, кошелек, брюки забрал, башмаки, полотенце и в окно по водосточной трубе ушел...»

1930 год. Киев. «Едем на пароходе по Днепру, несколько ребят нас. Денег — ни копейки. Сутки не ели и достать негде — на пароходе ехали «зайцами», на палубу выходить нельзя. Сил не стало терпеть голод, кишки точно переворачивались. Вылезли на какой-то захудалой пристани. Пошли на рынок. Видим: хозяин дает своей хозяйке пачку денег, а она садится на них, — около телеги. Пока не встанет, не взять. И силком не сбросишь: тетенька пудов на восемь, солидная, в шерстяном платке, в сапогах. Мы подошли, говорим ей: «Мы, тетка, твою кобылу сейчас угоним! Можно?» А она за колесо ухватилась, отвечает: «Только попробуйте!» И не встает.

Тогда достаю я спички, выдернул из телеги клок соломы и поджигаю ее. «Я — говорю, — сейчас колесо у твоей повозки запалю. Мне интересно, как оно здорово гореть будет. Хорошее колесо, сухое, осмоленное...»

И подношу горящий пук соломы к самому колесу. Хозяйка, как ни хитра, а не стерпела, испугалась, приподнялась и за солому хватается. Момент всего, а мы уже из-под тетеньки сверточек с деньгами схватили и все втроем бежать...»

1930 год, июль. «Доехали до Киева. На Подоле, на базаре, на деньги «из-под тетеньки» купили у одного человека шапку, прямо с головы. Хорошие деньги я давал ему — сто двадцать рублей, когда шапке красная цена пять червонцев. Человек, конечно, соблазнился, продал шапку. И я деньги заплатил честно, по-хорошему. А на другом конце базара сидела тетенька этого человека — это мы наперед заметили и сообразили. Подхожу я к этой тетеньке и говорю:

— Ваш Петр-де Васильич (имя слышали, запомнили) велел, чтобы вы, тетенька, ему триста рублей через меня послали. Потому они сами там поросят торгуют, отойти ему никак невозможно. Давайте, что ли, дожидаются!

Тетку сомнение взяло, а самой не уйти, у лотка сидит, торгует. Я и показываю ей дяденькину шапку:

— Да вот и шапка его. Видали? Нарочно и дал, чтобы вам показать, заместо удостоверения.

Тетка осмотрела шапку, узнала и поверила. Отдала триста рублей. «Спекуляция» была верная — на Подоле мужняя шапка почитается вернее всякого паспорта. Сто восемьдесят рублей «чистой прибыли» да еще шапка...»

Москва. 1931 год. «Перебрался в Москву. Нашел приятелей. «Тихушниками» ходили. (Это значит воровали в учреждениях, в магазинах.) Магазинов много покалечили. Брали, что попадалось: сардинки и пишущую машинку, меха и лампы, тюлевые занавески и деньги из кассы. Ночевали где-то на чердаке».

1931 год. Октябрь. «В Москве обжился. Однако столичная жизнь началась трудно. Прибыл я под вагоном на Ржевский вокзал. Грязный до того, что даже беспризорники дивились; голодный, вот как сдыхающая бездомная собака, и, как собака, злой — на все готов.

Тут же, на Ржевском вокзале, быстро сдружился с двумя такими же грязными, голодными ребятишками. Стали намечать «жертву».

В вагон трамвая около Крестовских башен входил военный. «Кожу» (бумажник) только что засунул в карман брюк. Через минуту бумажник был у нас. Отошли к башне и под ее гостеприимной сенью стали исследовать «кожу». Оказалось: триста семьдесят пять рублей денег, документы, адреса какие-то. Так занялись, что не заметили, как военный вышел из вагона и подошел к нам. С виду он растерянный, жалобный; сам бледный.

— Ребята, — говорит, — у меня сейчас бумажник вытащили. Верно, вы? Денег не жалко, я сейчас деньги получу. А вот документы, без них я пропал. Берите деньги, отдайте только бумаги!

И так говорит жалостно, просительно, что невозможно было устоять, — переглянулись и, вынув деньги, отдали бумажник. Обрадовался военный, проверил документы — все.

— Ну, спасибо, ребята. Так разодолжили, что не знаю, как и благодарить вас! — И бросился к трамвайному вагону, который уже трогался с места.

И вдруг повернул военный обратно к нам. Мы испугались, конечно. Бывали случаи — сами не видали, но ребята рассказывали, — что военные на месте убивают воров и бандитов. А ну, как и этот, жалостный с виду, как начнет сейчас палить из револьвера?.. Бросились бежать. Слышим, военный вслед кричит:

— Чего вы, ребята? Я вернулся, потому у меня ведь ни гроша не осталось — на трамвай гривенника нет. Будьте добрые, дайте на трамвай!

И опять жалобно, просительно говорит. Поверили. Вернулись и выдали ему трешку.

— Спасибо! — говорит и побежал за трамваем.

Так и началась столичная жизнь. Спасибо военному».

1931. Ноябрь. Москва. «Унесли в тресте, под носом у спавшего дежурного, пишущую машинку. На ней я и начал немного грамоте учиться и писать тоже стал, балуясь по клавишам машинки, и еще приятелей своих обучал...»

В Москве было 20 приводов, три фамилии — Вештебей, Комаров, Голубев, а кличка все та же: «Стрела».

Попал, наконец, в Таганскую тюрьму. Крепко сел, надолго. Отсюда не уйдешь.

И здесь впервые задумался о жизни, о будущем. Не охота было долго сидеть. На воле хорошо, и ходят там какие-то другие, честные, свободные люди...

В конце концов, в тюрьме отобрали 27 таких парней, подававших надежду на исправление — Вештебея и еще 26. Комиссия выделила их и, поставив Вештебея, как бывшего их «атамана», за старшего, велела ему вести их на завод «Калибр», в отдел кадров. Без охраны, с одной препроводительной бумагой, Вештебей всех довел и сдал в отдел кадров. Завод в то время еще строился, набирали рабочую силу.

Вскоре, впрочем, все 26 поуходили, на заводе из всей группы остался один Вештебей.

Шел 1933 год.

Работать было неохота. Пьяный приходил в цех, «гонял» бухгалтера, «панику наводил» на администрацию. Домой к нему ходили ребята с улицы, начинались выпивки, картеж, разговоры о воровстве. В конце концов, бросил завод, ушел и четыре месяца шлялся без дела...

И вот однажды встретил на улице секретаря заводской комсомольской ячейки, знакомого. Он убедил парня вернуться, работать.

И сразу же на заводе начали пропадать вещи — инструменты. Что ни выходной день, то пропажа. Воровали без стеснений, нагло, привычными, видимо, руками. Всем было хорошо известно прошлое Вештебея. Воровать, казалось бы, для него опасно. Сколько надо дерзости, воровского нахальства, чтобы бросать такой вызов всему заводскому коллективу!

Вештебей, немного, правда, смущенно, но твердо отрицал свое участие в кражах. И в это время он точно и в самом деле исправился: прекрасно работал в универсальном цехе, внес несколько рационализаторских предложений и весьма ценных, поступил учиться в заводскую школу и за два

года окончил пятилетку. Был это способный, старательный, успевающий парень. Пьянствовать перестал, бросил карты и былых уличных приятелей. Дружил с комсомольцами, искал у них поддержки во всех случаях своей новой, трудовой жизни.

А инструменты в его цехе все пропадали и пропадали. И многие прямо на Вештебея указывали: «До чего все-таки сильна привычка!»

Закончилось дело катастрофой. После одной крупной покражи Вештебея арестовали. Он запирался. Он просил дать ему возможность поймать вора, — он сумеет это сделать, пусть только оставят его на свободе. Но уловка не помогла.

Расследование установило, что комната, в которой работал Андрей Вештебей, непосредственно сообщается с инструментальным складом, откуда пропадали штангели. Вору стоило только переступить порог. Улики оказывались серьезными. А темное прошлое Вештебея еще отягощало эти улики. Вештебея отправили в тюрьму. Он просидел четыре месяца, продолжая упорно отрицать свою вину.

И вот однажды его вызывают в тюремную контору. Оказывается, комсомольский коллектив завода берет его на поруки, — комсомольцы поверили ему. Его вернули на завод, поставили на работу.

Вештебей не забыл, что обещал «поймать вора». Были в цехе, с его точки зрения, «подозрительные» ребята: Рыбальский, молодой парень, заносчивый, нагловатый, озлобленный из-за своего физического недостатка — он горбат; 18-летний Кузин, слесарь, и 19-летний Виктор Мухин, недисциплинированный, пьяница.

Вештебей начал следить за ними. Но поймать не мог. А между тем штангели стали снова пропадать лишь только Вештебей вернулся из тюрьмы в цех.

И снова побежал шопот по цеху, по заводу: «Вернулся вор, сам себя ловит...»

Вештебей пошел на хитрость.

Однажды, играя в шашки с Рыбальским, как бы вскользь попросил его достать штангели. Рыбальский спросил:

— А «почем они ходят?»

Вештебей не знал цены и назвал наугад:

— Рублей двести — двести пятьдесят.

Рыбальский согласился. Было условлено, что он, совместно с Мухиным и Кузиным, через два дня принесет на квартиру Вештебея четыре штангеля для перепродажи.

Вештебей предупредил администрацию и в назначенный день, приготовив вино и закуску, стал ждать воров. Они явились, украденные штангели откровенно торчали из карманов пальто. Сели выпивать.

Сидел Вештебей с ними за одним столом, потчевал. И думал: какую дьявольскую хитрость употребили против него эти трое парней, как все обдумали, чтобы его погубить, забросать грязью, а самим остаться чистыми. И не было у него в сердце жалости к ним.

Точно случайно зашел начальник цеха П. С. Юрков.

— Выпиваете?.. А штангели-то опять ведь пропали...

— Духи их верно, воруют, — ответил кто-то из воров. — Кража есть, а воров нет.

Тогда Юрков прямо приступил к делу.

— Сознавайтесь, ребята. Дело открыто.

Воры возмутились было. Но пальто Мухина висело на гвозде, из кармана торчали штангели. Юрков протянул к ним руку. Воры вскочили.

Тут вошли заводские, милиционер. Произвели обыск. Воры были изобличены.

— Это все он, — указал на Вештебея Рыбальский. — Уговорил нас на это дело. Он и есть главный вор, его и берите!

И вот началось дело о «краже из цеха четырех штангелей «Маузер» стоимостью 160 рублей».

Происшествие это вызвало на заводе оживленные толки. Вештебей стал «героем дня».

Дело слушалось 3 июня этого года в клубе завода «Калибр» выездной сессией народного суда 10-го участка Ростокинского района под председательством нарсудьи тов. А. С. Кищенко.

В клубном зале, обращенном в зал судебного заседания, собралось свыше тысячи рабочих и работниц.

Рыбальский, Мухин и Кузин заняли скамью подсудимых.

Тысячи глаз устремлены на них, и слово «воры» повторяется в разных концах зала. Страшное это сегодня слово!

Обвинительное заключение точно и последовательно передает суть дела № V — 122. Все ясно. Но на суде продолжается борьба. Подсудимые пытаются выставить себя жертвами «опытного, ловкого вора», втянувшего их в грязное дело и затем из трусости спрятавшегося за их спину.

Рыбальский развязно, вызывающе торопит соседей по скамье подсудимых и свидетелей «кончать дело». Он считает дело пустяковым, не стоящим внимания. Конечно, и они, подсудимые, виноваты, но главный — «китаец». Они притащили ему штангели, чтобы только отвязаться от этого назойливого парня.

— Деньги мне не нужны! — небрежно бросает Рыбальский.

Кузин и Мухин подавлены. Но и они кивают на Вештебея.

— Сделали это (слова «воровство» они

избегают) не ради денег, а для Вештебея, для Рыбальского.

Мухин. Денег мне не нужно было.

Кузин. Материально я обеспечен.

Много такта и настоящей мудрости потребовалось суду, чтобы вскрыть перед тысячной рабочей аудиторией сущность этого, как будто бы мелкого, но в действительности большого, принципиального, запутанного дела, чтобы доискаться правды, реабилитировать Вештебея, изобличить подлинных воров.

Эти молодые парни, организовавшие кражи так хитро и ловко, что преступление невольно связывали с именем Вештебея, — что знал о них завод? Вештебей был некогда, казалось бы, законченным вором. И вот—он стахановец производства. Кто-то заметил эту «песчинку» и бережно занялся ею. А кто прозевал этих троих? Ведь кражи начались давно.

— И раньше в цехе пропадали инструменты? — спрашивает судья.

— Давно пропадали, — уныло подтверждает Мухин.

— А кто воровал?

— Не известно.

— Как же выходило так, что пропажи происходили только тогда, когда появлялся Вештебей? Теперь ведь выяснилось, что вор не он, он — разоблачитель воров.

Ответа нет.

Особенно ясно вырисовывается на суде фигура главного свидетеля — Андрея Вештебея.

Бывший вор и бандит — сегодня он стахановец завода, изобретатель; его предложения дали экономию в 40 тысяч рублей, — он прекрасный работник и честный товарищ. Его заработок на заводе достигает уже 1 000 рублей в месяц.

— Я был раньше беспризорник, — говорит Вештебей, — и вся грязь лежала на мне. А я не хотел. Я должен был открыть кражу. И я открыл.

Председатель спрашивает Вештебея, как он, некогда вор, переделался?

Вештебей отвечает просто, с некоторым смущением:

— Меня завод переделал: работа, товарищи. Каждый ведь хочет быть честным советским человеком...

Итак, дело окончено.

Рыбальский и Кузин, как непосредственные участники кражи, приговорены каждый к лишению свободы на 1 год 6 месяцев, Мухин, как соучастник, — к году исправительно-трудовых работ.

В. Галактионов

ГИГАНТ НА ВОЛГЕ

Чудесным узором голубых водных артерий изрезаны обширные пространства нашей родины. Водная система великой русской равнины еще в давние времена поражала историков и географов. Почти за пять веков до нашей эры, когда еще не существовало на земле Московского государства, а была в этих местах таинственная Скифия, отец истории, грек Геродот, писал: «В Скифии нет ничего удивительного, кроме рек, ее орошающих: они велики и многочисленны». Древние географы знали, что через страну скифов и сарматов протекает великая многоводная река Ра (Волга), но они не имели о ней сколько-нибудь правдоподобных сведений.

Да и в более поздние времена географические очертания русского государства и его внутренние водные богатства долгое время оставались загадкой.

Волга всегда играла огромную роль в развитии многочисленных народов ее бассейна. Когда славянское население восточно-европейской равнины обитало еще в Приднепровье, а деловая жизнь сосредоточивалась в торговых городах Киевской и Новгородской Руси, Волга с ее притоками, берега которых были обжиты финскими и тюркскими племенами, уже открывала славянам путь на богатый тюркский восток и на финский север.

По Волге спускались и поднимались торговые караваны руссов, привозивших в Волжские Болгары меха и невольников. Воды Волги бороздили струги новгородских ушкуйников. После разорения Киевской Руси из Днепровской равнины на северо-восток, к Верхней Волге и Оке, устремились огромные массы славян. Возникли русские города — Тверь, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород и др. В XVI столетии, с момента падения Казанского и Астраханского царств (1552—1556 гг.), Волга на всем своем протяжении до самого Каспийского (Хвалынского) моря становится рекой Московского государства.

В глазах русских торговых людей она приобретает все большее и большее значение, как прекрасный внутренний торговый путь к заманчивому и богатому Востоку. Несметные богатства Поволжья — хлеб, соль, рыба, нефть — привлекали внимание купцов и промышленников. Осевшая на берегах Волги и превращенная в рабов беднота испытывала тяжкий гнет и притеснения, и на протяжении XVII и XVIII веков Поволжье не раз становится ареной крупнейших восстаний и массовых движений, потрясающих до основания Российскую империю. После Октябрьской революции Волга сыграла немалую роль в росте и укреплении Советской республики. На берегах реки появились обновленные индустриальные города, не уступающие по количеству жителей и производимой продукции крупным промышленным центрам Западной Европы.

На берегах Волги, по которым раньше тащились измученные и искалеченные бурлаки, выросли такие гиганты, как Горьковский автозавод, Сталинградский тракторный, Саратовский комбайновый заводы, которым нет равных в Европе.

На берегах Волги родилась новая, кипучая, замечательная жизнь. Грузооборот реки за двадцать лет существования Страны Советов почти в два раза превысил довоенный уровень.

Но Волга мелка. Она не может удовлетворить современным требованиям судоходства. Ее глубины во многих местах не превышают полутора — двух метров. Это тормозит движение мощных пароходов. Волгу надо реконструировать, ее надо преобра-

зить так, чтобы она сделалась доступной для крупных судов на всем своем протяжении. И наше советское правительство позаботилось об этом. По предложению правительства, создана особая проектная организация, занимающаяся разработкой проблемы Большой Волги, то-есть составлением такого проекта, осуществление которого разрешит коренным образом транспортные и энергетические вопросы Волги.

Одним из крупнейших звеньев Большой Волги является так называемый Куйбышевский гидротехнический узел, постройка которого будет осуществлена на Самарской луке.

Недалеко от Ставрополя текущая в южном направлении Волга встречает мощную скалистую преграду Жигулевских гор и резко отклоняется на восток. В Жигулевских Воротах она пробивается снова на юг и течет так до Куйбышева. Затем река поворачивает на запад, образуя гигантскую петлю — Самарскую луку, длиною в 160 километров.

Самарская лука огибает Жигулевские горы — одно из самых красивых мест на Волге. Туристы называют его «Русской Швейцарией.

Много десятков лет назад Жигули со своими непроходимыми гущами лесов, оврагами и утесами считались самым страшным местом на Волге.

Сюда бежали «худородные людишки» — затравленные крепостные крестьяне, холопы, бунтари, раскольники. Здесь концентрировалась классовая ненависть против царя и бояр, против приказных людей, воевод и купцов.

Из скрытых в буераках затонов выбегали навстречу торговым караванам и царским судам легкие струги «вольницы». Они быстро перехватывали неповоротливые купеческие посудины, а купцов и воевод топили в Волге.

Сама природа помогала «вольнице». Высокие, удобные для наблюдения горы, неприступные скалы, дремучие леса, обилие пещер, удобное сообщение на легких стругах по Волге и Усе — все это делало Жигули незаменимой стратегической базой.

Овеянные легендами и событиями далекой старины, Жигулевские горы берегут в своих недрах огромные минеральные сокровища.

Известняки, гипс, битумы, самородная сера, глауберова соль, нефть, минеральные источники залегают здесь в большом количестве и имеют огромное промышленное значение.

Представляется невероятным, что на средней Волге — в этой обширной русской

Волга в Жигулевских горах.

равнине, где кажется необычным самый факт наличия гор, мы находим такое разнообразие минеральных богатств.

Каким же образом возникли на Волге знаменитые Жигули?

Почему Волга у Жигулей делает такую гигантскую петлю?

В сложном геологическом процессе образования гор на Самарской луке нам помогают разобраться сами жигулевские скалы — эти страницы огромной каменной книги.

Мы узнаем, на основании исследования известняков и доломитов Самарской луки, что, например, Молодецкий курган, Белая гора, Бахилова и другие были дном древнего моря.

Изучение морских отложений и окаменелостей показывает, что море несколько раз приходило сюда, уходило и снова приходило, оставляя пласты осадочных пород.

В далекие времена, когда под влиянием мощных горообразовательных процессов возникли на земле Альпы, Кавказские горы и другие горные хребты, по Европе и Азии прокатилась волна грандиозных перемещений земной коры. Такие перемещения произошли на месте нынешних Жигулей. Изгибаясь в складку, твердые известковые пласты разорвались, образовалась трещина. Пласты, лежащие к северу от трещины, опустились в земные глубины. Произошел типичный геологический сброс, поднятым крылом которого и являются современные Жигулевские горы. Опустившееся крыло сброса представляет собою ровную поверхность, по которой сейчас протекает Волга.

Поднятие массива Самарской луки происходило много раз. Значительное поднятие имело место в доюрское время и самое большое — в миоценовое время (на границе верхнетретичного и нижнетретичного периодов).

Древнейшими горными породами Самарской излучины являются известняки каменноугольного периода (карбона). Выходы известняков на дневную поверхность особенно хорошо заметны на таких горах, как Царев курган и Усинский курган, где можно слой за слоем проследить всю толщу карбона, представленную разнообразной морской фауной (фузулины, морские лилии, ежи, остатки кораллов и головоногих).

Кроме пород каменноугольного периода, на Самарской луке известны отложения Перми и Юры с типичной фауной — двустворчатыми раковинами, аммонитами и белемнитами. Из третичных отложений можно указать на мергели и глины, с многочисленными раковинами моллюсков. Четвертичные породы представлены песками, песчано-глинистыми отложениями и галечниками.

Особый геологический интерес на Самарской луке представляют Жигулевские Ворота.

Несколько ниже Крестовой поляны, на левом берегу Волги, высятся Сокольи горы, с вершиной Тип-Тяв; на правом берегу — массив Серной горы. Горы подступают с обеих сторон к мощной реке, сужают ее русло, образуя так называемые Жигулевские Ворота. Волга в этом месте течет очень быстро. В весенний разлив скорость течения достигает 2,5 метра в секунду. Идущим снизу караванам приходится делать расчалку, так как пароходы не в состоянии провести здесь более одной баржи против течения.

В Жигулевских Воротах Волга, протекающая в восточном направлении, отклоняется на юг.

В очень отдаленные времена она здесь не поворачивала на юг, а текла дальше на восток еще километров тридцать и, обойдя Сокольи горы, которые тогда были соединены с Жигулями, шла по долине нынешней реки Падовки в южном и юго-западном направлениях.

Предполагается, что на месте Жигулевских Ворот горные породы были наиболее слабыми, неустойчивыми. По многочисленным порам известняков и трещинам волжская вода просачивалась сквозь горные массивы, размывала их, пока, наконец, не образовался прорыв, в который и бросилась Волга, сокращая свой путь.

Древнее русло реки в настоящее время пока еще точно не выяснено.

Некоторые геологи предполагают, что в третичный период Волга, минуя излучину, проходила от Ставрополя к Сызрани, где она оставила мощные песчаные отложения.

Интересно отметить, что народная фантазия не прошла мимо этого геологического события. В древних легендах и сказаниях Волга олицетворялась с хитрой и настойчивой завоевательницей, а Сокольи и Жигулевские горы передавались в образах двух братьев — Жигуля и Сокола.

...Много лет братья со своей сторожевой собакой сдерживали напор могучей реки. Но однажды Волга перехитрила бдительных братьев и, выждав момент, когда они крепко заснули, «напряглась, вздохнула, расправила плечи — грудь, да и ударила со всего размаху в сердцевину соединения, да так, что затрещали от ее удара братья и раздались в разные стороны... Только и успела тявкнуть собака два раза «тип-тяв», звук замер, пал на вершине Сокола, а сама она полетела от встряски в воды Волги, которая уже неслась, хохоча, между двумя братьями, раз-

Так выглядит сегодня Молодецкий курган и река Уса, впадающая в Волгу. После постройки Куйбышевского гидроузла Волга поднимет горизонт воды на 30 метров, а Уса потечет в обратную сторону.

деляя их все дальше и дальше друг от друга. И стоит теперь Сокол, разделенный с братом Жигулем».

Жигулевские Ворота в наше время сделались ареной невиданного в истории строительства. Недалеко от Жигулевских Ворот, у селения Красная Глинка, запроектирован крупнейший гидротехнический узел нашей страны. В планы третьей пятилетки он входит под названием Куйбышевского узла.

В далеком прошлом уже высказывались предположения об использовании природных условий на Самарской излучине. Так, например, еще в XVIII веке русский ученый, академик Лепехин, предлагал соединить реку Усу с Волгой.

Путешествуя по Жигулевским горам и исследуя в этом районе Волгу, он в своих трудах оставил следующие записи: «К вечеру приехали в село Переволоку... Оное село тем примечания достойно, что стоит при конце самой большой на Волге излучины, Самарской лукою называемой, которая в округе около полтораста верст и немалым служит препятствием подымающимся вверх разным судам... Но у села Переволоки небольшой перешеек только версты на три разделяет Волгу от реки Усы, впадающей в Волгу пониже села Усолья. И так можно бы сделать много облегчения судовому ходу и миновать почти всю луку, если бы Усу соединить с Волгою».

Эти мысли высказывались русским академиком полтораста лет назад. В 1910 году инженер Богоявленский пытался поставить на обсуждение в Обществе русских инженеров интересное предложение Лепехина, но эта попытка не имела успеха.

Вопрос о гидротехническом узле на Самарской луке решили только большевики. Нет надобности говорить о том, что это первоклассное сооружение нашего времени не имеет ничего общего с робкими предположениями старых русских ученых.

В чем же заключается техническая сущность Куйбышевского гидроузла? Каким образом будет использована Волга на Самарской луке?

В северо-восточной части излучины, в том месте, где сейчас на живописном берегу Волги расположилось небольшое селение Красная Глинка, предполагается соорудить большую плотину, которая преградит путь Волге.

Это место выбрано для сооружения гидротехнического узла потому, что оно географически наиболее удачно расположено по отношению к крупнейшим промышленным центрам — главным потребителям электрической энергии — и находится в непо-

средственной близости от Заволжья, где требуется провести орошение.

Кроме того, в районе Жигулей имеются мощные толщи скальных пород, на которых могут удобно расположиться тяжелые части сооружения Куйбышевского гидроузла.

В районе Жигулевских гор Волга собирает почти все воды со своего огромного бассейна, площадью в полтора миллиона квадратных километров. Великая река течет здесь как бы в гигантской изогнутой трубе. Именно здесь, где Волга обладает колоссальной мощностью, и целесообразно возвести плотину, а мощный поток воды сбросить на турбины гидростанций.

По разработанному схематическому проекту плотина у Красной Глинки создаст тридцатиметровый напор, который будет очень выгодно использован приплотинной гидростанцией, а также второй гидростанцией, расположенной по основанию Самарской излучины в районе Переволоки.

Плотина Куйбышевского гидроузла — самое главное и ответственное строение. Ни в одной капиталистической стране еще не приходилось строить таких крупных и сложных сооружений. Эта плотина должна будет по существу остановить Волгу — величайшую реку Европы — и направить ее воды по трубопроводам ГЭС и водосливу.

Плотина будет земляная, глухого типа, а водосливная ее часть — бетонная. Бетонная часть плотины (водослив) будет иметь водоспускные отверстия с подводящим и отводящим каналами. Эти отверстия предназначены для сбрасывания воды, необходимой в нижнем течении Волги.

Таким образом, Куйбышевская плотина будет состоять из двух частей: в правой части расположится земляная плотина, а в левой — бетонная ее часть с водосливом и гидростанцией.

Общая длина плотины превышает два километра. Высота — 45 метров. На постройку этой гигантской плотины потребуется свыше 25 миллионов кубических метров грунта (песка), который будет намываться специальными землесосами — рефулерами.

Плотина должна быть сооружена в короткое время, в промежуток между двумя весенними разливами Волги. Вся работа по постройке плотины должна быть полностью закончена до наступления весеннего паводка, иначе весенние воды Волги могут повредить и даже разрушить сооружение.

После того, как русло реки будет перегорожено плотиной, уровень Волги поднимется на 32 метра против ее обычного летнего уровня.

Выше плотины образуется глубокий водоем — водохранилище, емкостью в 60 миллиардов кубических метров. Водохранилище, подобно «Московскому морю», разольется по волжской долине и по многочисленным волжским притокам. Это будет огромное искусственное озеро, занимающее площадь в 7 тысяч квадратных километров. По своим размерам оно приближается к Онежскому озеру и превышает «Московское море» по площади в двадцать раз и по емкости — в семь раз.

Подпор воды от Куйбышевской плотины распространится почти на 700 километров вверх по течению Волги — до Козьмодемьянска — и создаст благоприятные условия для судоходства. От Куйбышева до Козьмодемьянска создадутся постоянные глубины от 5 до 10 метров.

У Казани Волга затопит болотистую и малярийную пойму и подойдет к стенам города [1]. Казань станет крупным портовым городом, а со стен древнего казанского кремля откроется величественная панорама обновленной реки, ширина которой достигнет 20 километров. Участок Волги от Козьмодемьянска до Куйбышевской плотины сделается глубоководным и доступным для крупных судов.

Влияние Куйбышевской плотины будет распространяться не только на участок реки, расположенный кверху от плотины, но также и на нижнее течение Волги, вплоть до самой Астрахани.

Ниже плотины Волга будет полноводнее потому, что во вторую половину навигации, когда река мелеет, из Куйбышевского водохранилища через турбины гидростанций в нижнее течение будет попадать воды больше, чем в обычных бытовых условиях Волги.

Таким образом, благодаря сооружению одной только Куйбышевской плотины на большом и наиболее оживленном участке Волги (от Астрахани до Козьмодемьянска) создадутся глубины не менее 3,5 метра (а в отдельных участках до 10 метров) вместо современных 1,8—2,3 метра.

Подпор Куйбышевской плотины весьма эффективно используется на Самарской луке также для спрямления Волги и получения добавочной энергии.

После постройки плотины река Уса, текущая с юга на север и впадающая в Волгу у Ставрополя, повернет свое течение в противоположную сторону. Ее долина заполнится по всей ширине водою Куйбышевского водохранилища. От Волги до Переволок создастся, следовательно, водный путь, пригодный для плавания судов. Узкий перешеек, отделяющий Волгу от Усы, прорежется коротким судоходным каналом (дли-

[1] Казань была основана на берегу Волги, но вследствие беспрерывного поперечного перемещения реки, в силу закона Бера, Волга в настоящее время отступила от Казани на 4 километра.

ною в 2,5 километра). Но так как уровень Усы будет выше уровня Волги почти на 30 метров, то в конце судоходного канала потребуется построить большой двухкамерный шлюз, соединяющий Усу с Волгой. Кроме того, разница уровней рек будет использована для получения электрической энергии. Для этого параллельно судоходному каналу будет прорыт второй канал (энергетическая деривация), по которому вода будет сбрасываться на турбины второй мощной гидростанции.

Транзитные грузопотоки уже не будут огибать Самарскую излучину, а пойдут прямой дорогой, по долине затопленной реки Усы, сокращая путь на 130 километров. Если учесть, что с постройкой Куйбышевского водохранилища длина фарватера уменьшится приблизительно на 70 километров, то общая длина судоходного пути будет сокращена, таким образом, на 200 километров. Это значительно удешевит стоимость перевозок по Волге.

Огромные запасы воды, собранные в «Волжском море», явятся мощным источником гидроэлектрической энергии.

Вода Куйбышевского водохранилища будет использована на двух гидростанциях общей мощностью до 3,4 миллиона киловатт, или 4,6 миллиона лошадиных сил. Годовая выработка энергии составит около 15 миллиардов киловатт-часов.

Впервые в мире наши советские энергетики установят на Куйбышевских гидростанциях гигантские турбогенераторы мощностью в 200 тысяч киловатт каждый.

Одна такая турбина равняется трем Волховстроям и превышает по мощности всю Свирскую гидростанцию. А ведь совсем недавно мы склонны были считать Свирьгэс одной из крупнейших гидроустановок!

Гигантские турбины для куйбышевских гидростанций будут построены из отечественных материалов, на наших советских заводах.

Интересно привести некоторые данные о куйбышевских турбогенераторах.

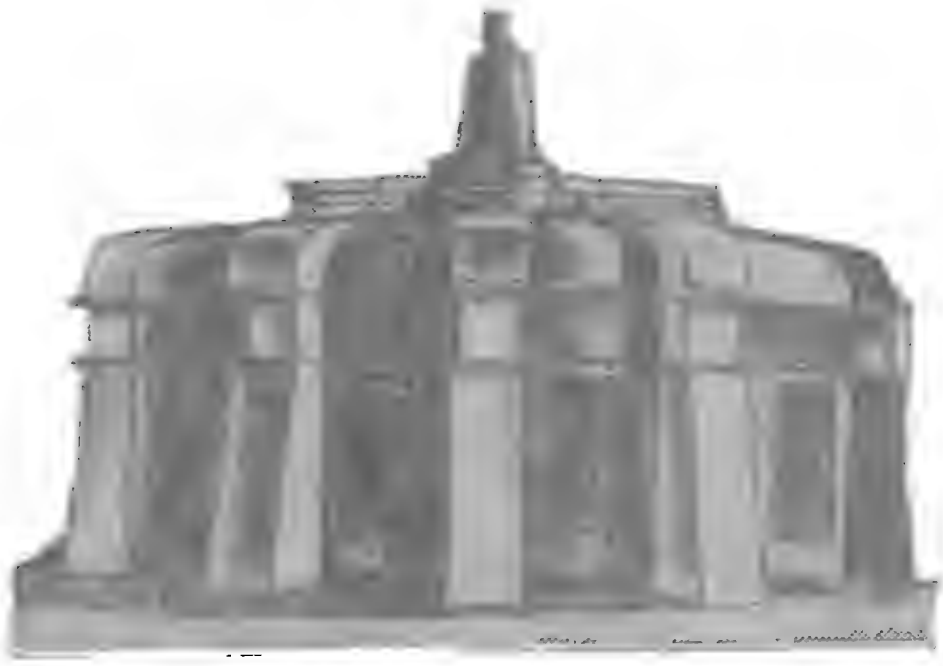
Каждый турбогенератор представляет собою гигантскую машину высотой в 18 метров. Если стать у основания этого турбогенератора, то машина будет казаться огромной башней, высотою с четырехэтажный дом.

Диаметр вала турбины будет иметь толщину в два метра и высоту в сорок метров.

Детали куйбышевских турбогенераторов настолько велики, что их невозможно перевезти по железной дороге. Поэтому детали турбин, изготовляющиеся на ленинградских заводах, будут перевозиться водным путем — по Неве, Ладожскому и Онежскому озерам, по Мариинской системе и, наконец, по Волге.

Для полного использования энергии Вол-

Куйбышевский гидроузел.



Генератор Куйбышевской ГЭС будет возвышаться над полом машинного зала на 6 метров и на 12 метров уйдет в нижние этажи гидростанции.

ги на Самарской луке в машинных залах двух гидростанций потребуется установить не менее семнадцати таких турбогенераторов.

Чтобы яснее представить себе величину куйбышевских гидростанций, укажем, что мощность Куйбышевгэса будет равняться семи Днепрогэсам. А мы знаем, что Днепрогэс — пока что непревзойденная в Европе гидроустановка.

Годовая выработка энергии одного Куйбышевского гидроузла равна выработке энергии всех электростанций Италии.

Куйбышевская гидростанция будет самой мощной гидроцентралью мира. Строящаяся гидростанция «Грэнд-Кули» — величайшая установка США — будет иметь мощность 1,9 миллиона киловатт. Самая большая гидростанция Канады «Бакарнуа» запроектирована на мощность в 1,5 миллиона киловатт. Следовательно, нигде в мире не строится и не проектируется такой мощной энергетической базы, которая равнялась бы советскому Куйбышевскому электрогиганту.

Особенностью Куйбышевгэса является система высоковольтных передач с напряжением в 400 тысяч вольт. Эта система позволит использовать мощность и энергию гидростанций не только на месте, но и в отдаленных промышленных районах страны, где недостает топлива и энергии.

Передача электроэнергии к большим промышленным центрам, до которых расстояние исчисляется сотнями километров (до 1000 километров), представляет крупную техническую проблему, еще нигде практически не разрешенную. За границей имеется небольшой опыт высоковольтных передач на большое расстояние. Так, например, можно указать на линию передачи от мощной гидростанции «Болдер-Дам», построенной на реке Колорадо, в город Лос-Анжелос. Это расстояние равно 450 километрам и, следовательно, в два раза меньше того, которое проектируется у нас. Предварительные расчеты показывают, что высоковольтной линией электропередач огромное количество энергии можно передать в Центрально-промышленный район, по всему Поволжью, на Урал и в Заволжье. Даже в Москву, отстоящую от Куйбышевгэса на расстоянии в тысячу километров, можно передать энергию, и она будет дешевле электроэнергии теплоэлектростанций. Подсчитано, что в Москве стоимость куйбышевской энергии будет равна 2,3—2,5 копейки за один киловатт-час, вместо 5—6 копеек за киловатт-час тепловой энергии.

Дешевая электрическая энергия мощных куйбышевских гидростанций заменит около 7 миллионов тонн лучшего угля, потребляемого в промышленных районах. Это сильно разгрузит наш железнодорожный транспорт, обремененный массовыми перевозками громоздкого топлива.

Для перевозки по железной дороге 7 миллионов тонн угля требуется ежегодно свыше 400 тысяч вагонов, или около 40 тысяч поездов. Эту огромную армию поездов после постройки Куйбышевского гидроузла можно использовать для других, более целесообразных перевозок.

Помимо главнейших потребителей электрической энергии — горьковского, уральского, московского и поволжского промышленных районов, — энергия Куйбышевского гидроузла пойдет на крупные ирригационные мероприятия в обширной Заволжской равнине.

Известно, что Заволжье с давних пор страдает засухой. В прежние времена, когда царским правительством не принималось никаких предупредительных мер против засухи, в Заволжье погибало от голода огромное количество людей.

Горячий азиатский ветер приносил с собою желтую мглу, пыль и гибель всему живому — бахчам, пастбищам, посевам, скоту. Земля высыхала, покрывалась старческими морщинами и трещинами, превращалась в камень. Она не могла ничего родить и требовала воды. Но где взять воду? Ее нет. И человек, созерцая массовую гибель взрощенных им полей и лугов, не мог воспрепятствовать разрушительному действию стихии. Он сам погибал от голода.

Страшное наследие от царского режима досталось нам в 1920 году, когда все Поволжье было охвачено небывалой засухой. Этот набег стихии унес десятки тысяч человеческих жизней.

Мы знаем, что советским правительством были приняты многие меры к предотвращению засух, и катастрофы, подобные за-

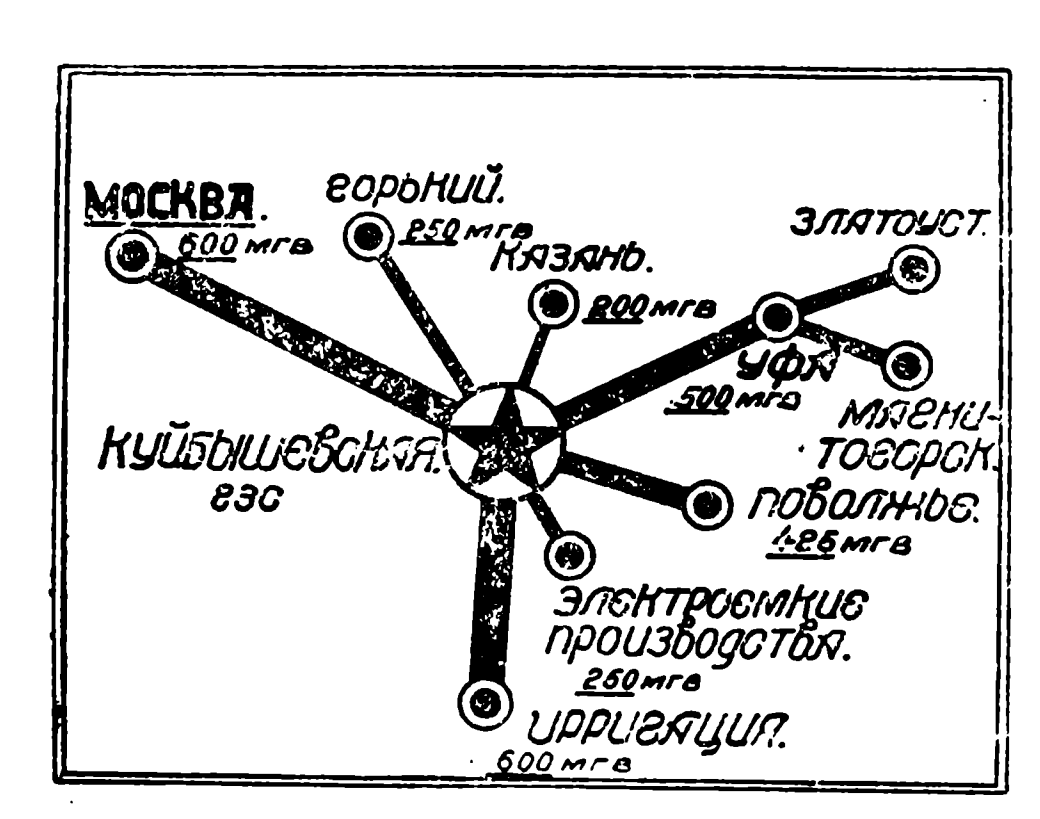
сухе 1920 года, не повторялись. Однако до настоящего времени в Заволжье ощущается острая нехватка воды.

Заволжье нуждается в коренной реконструкции всей сельскохозяйственной системы на базе орошения. Естественно, что один этот вопрос уже представляет собою крупную технико-экономическую проблему.

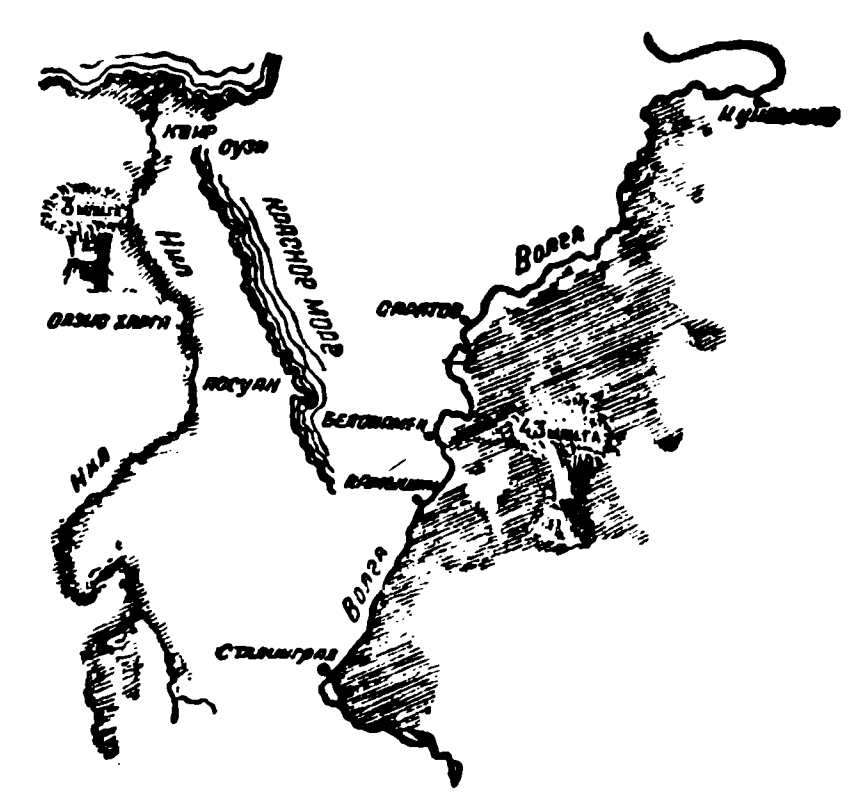
Куйбышевский гидроузел предусматривает в проекте орошение заволжских степей путем переброски в них волжской воды. Для этого потребуется сооружение мощных насосных станций, которые смогут поднять воду на значительную высоту, откуда вода по сети каналов направится в засушливые степи Заволжья.

Подсчитано, что при помощи Куйбышевского гидроузла можно оросить до 4,3 миллиона гектаров земли. Это превышает на 1,3 миллиона гектаров величайшую территорию искусственного орошения в знаменитой долине Нила, принадлежащей Египту. В первую очередь предполагается оросить 2,3 миллиона гектаров, а остальную площадь — ко времени включения Камышинского гидроузла на Волге.

Территория, которая будет орошена в первую очередь, охватывает главнейшие пшеничные районы Заволжья. Предполагается, что сочетание ирригационных и агротехнических мероприятий позволит получить урожай пшеницы до 35 центнеров с гектара вместо 10—12, получаемых сейчас, то-есть урожай после орошения увеличится в три раза. Орошение Заволжья потребует от Куйбышевской гидроцентрали 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Промышленность Урала возьмет 600 миллионов киловатт-часов, Московская область — 600 миллионов киловатт-часов, остальную энергию заберут Горький, Казань, Поволжье и электроемкие производства Куйбышева.



Распределение электрической энергии Куйбышевского гидроузла.



Земли Заволжья, орошенные энергией Куйбышевского гидроузла, превысят крупнейшую площадь искусственно орошаемых земель в долине Нила.

Топливный баланс этих районов уже в настоящее время испытывает большое напряжение. Электроэнергия Куйбышевского гидроузла разрядит это напряжение, значительно сократит объем привозного топлива, сократит строительство теплоэлектростанций, энергия которых обходится дороже гидроэнергии.

Общая потребность в электрической энергии в Поволжском, Уральском и Центрально-промышленном районах к 1947 году составит 2,3—3 миллиона киловатт. Следовательно, куйбышевские гидростанции смогут полностью удовлетворить этот колоссальный спрос промышленности.

Однако роль Куйбышевского гидроузла не ограничивается его энергетическим эффектом. Являясь одним из ведущих звеньев Большой Волги, узел будет иметь огромное транспортное значение.

По проекту Большой Волги, на участке от Углича до Астрахани предстоит построить семь гидроузлов. Два из них — Угличский и Рыбинский — уже строятся и скоро будут закончены. Остальные пять гидроузлов — у Горького, у Чебоксар, у Куйбышева, у Камышина и в Волго-Ахтубинской пойме — будут сооружены в третьей и последующих пятилетках.

Системой гигантских плотин Волга будет превращена в глубоководные озеровидные бьефы, по которым откроется сквозное движение мощных грузовых и пассажирских паротеплоходов. Куйбышевский гидроузел является самым крупным бьефом будущей Большой Волги. Он обеспечивает транспортную работу Волги большими глубинами на значительном протяжении от Козьмодемьянска до Самарской луки и на крупнейшем притоке — реке Каме. Кроме того, пока не сооружены на нижней Волге Камы-

шинский и Волго-Ахтубинский гидроузлы, Куйбышевский гидроузел будет регулировать сток воды в нижнем течении реки и управлять транспортной работой Нижней Волги.

Куйбышевский энергетический гигант включен в план великих работ третьего пятилетия.

В решениях XVIII съезда ВКП(б) записано:

«Развернуть строительство величайшего в мире сооружения — двух куйбышевских гидростанций общей мощностью в 3,4 миллиона киловатт, одновременно разрешающего проблему орошения засушливых земель для достижения устойчивых урожаев в Заволжье и дело судоходства на Волге и Каме».

Строительство Куйбышевского гидроузла уже началось. В районах будущих сооружений Волгостроя, в Жигулевских горах развернулись широкие подготовительные работы.

Строятся шоссейные дороги от строительных площадок к Куйбышеву. К железнодорожной сети прокладываются ветки. В геотехнических лабораториях исследуются инженерные свойства грунтов, тщательно испытываются детали сооружения на большой действующей модели Куйбышевского гидроузла.

Строителям предстоит огромная работа по возведению сооружений, не имеющих прецедента в мировой практике гидротехнического искусства. Гидроэнергетический узел на Самарской луке по масштабам земляных и скальных работ выдвигается в первый ряд величайших мировых сооружений.

Приведем несколько сравнений. На куйбышевском строительстве потребуется произвести бетонных работ общим объемом в шесть миллионов кубических метров. Это вдвое больше, чем на всех бетонных сооружениях канала Москва — Волга, и в шесть раз больше всех бетонных работ Днепростроя. По объему скальных работ Куйбышевский гидроузел стоит рядом с Панамским каналом.

Если бы весь скальный грунт, который предстоит вынуть при сооружении узла, уложить в пирамиду, основание которой равнялось бы площади среднего двора, то вершина пирамиды поднялась бы на 18 километров, достигнув стратосферы.

Общий объем вынутой и насыпанной при сооружении узла земли составляет 180 миллионов кубических метров.

Гигантский поезд, груженный этой землею, мог бы четыре с половиной раза опоясать земной шар по экватору.

Таковы масштабы работ по сооружению Куйбышевского гидроузла.

Интересно отметить, что узел на Самарской луке, являясь крупнейшим сооружением в мире по своему энергетическому эффекту, в то же время не превышает известные мировые сооружения по объему производимых работ.

Электрогигант, проектируемый на Волге, несмотря на исключительную сложность как самих сооружений, так и геологических условий, в которых эти сооружения придется создавать, будет осуществлен в короткий срок — шесть лет. Современное состояние советской гидротехники позволяет осуществить это грандиозное строительство в такое короткое время.

Прекрасное звено Большой Волги — энергетический гигант на Самарской луке — через шесть лет после начала строительства включится в строй действующих производств СССР.

Н. Бурденко

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ

Прежде чем коснуться некоторых вопросов современной хирургии, мне хочется остановиться на сложившихся взаимоотношениях хирургии с литературой.

Хирургия не раз была объектом художественной литературы. Мы знаем описание у Льва Николаевича Толстого бородинских хирургических пунктов, знаем описание Севастопольской кампании, Гаршин дал картину боев 1877 года, когда он сам был ранен. Между прочим, это самое ценное, когда писатель описывает свои собственные ощущения.

Очень сложным является психологическое состояние больного перед операцией. Но и эти переживания нашли свое отражение в литературе: вспомним Апухтина «Ночь перед операцией». Описание переживаний человека перед операцией можно найти у многих писателей, в частности у А. М. Горького.

Очень много внимания уделял хирургии Антон Павлович Чехов. В своих произведениях он часто касался этого рода деятельности.

Следует сказать, что психологическая сторона хирургии может представить большой интерес для литературы. Стоит проанализировать и психологию оперирующего — врача-хирурга. На меня еще в дни моей молодости большое впечатление произвел рассказ Лугового (А. А. Тихонова): «Pollice verso».

Сюжетом для этого рассказа послужила трагическая смерть проф. Военно-медицинской академии хирурга Коломнина. Этот профессор нашел у больной язву прямой кишки туберкулезного характера и употребил для обезболивания операции кокаин, только входивший тогда в практику. Через час после операции больная умерла. При вскрытии Коломнин убедился, что операция была по существу не нужна и что больная умерла от чрезмерно большой дозы кокаина. Обвиняя себя в смерти больной, он покончил жизнь самоубийством.

Так же поступил и один французский хирург, который, удаляя каверну легкого у одного туберкулезного больного, потерял больного тут же на столе.

Какие возможности открываются для вдумчивого психолога-писателя, если он займется анализом состояния хирурга! Смерть больного во время операции — это величайшая наша трагедия, которая тяжелым камнем ложится на наше сердце, потрясает нашу психологию и надолго понижает жизненный тонус.

Я мог бы рассказать много фактов в подтверждение этого, фактов страшных

и потрясающих. Мой учитель, первоклассный техник, после одной такой операции сказал мне: «Пришла пора сказать себе: «кончай»...

Эмоциональность переживаний и оперируемого и оперирующего бывает чрезвычайно богатой, и если бы это проследить, можно было бы получить колоссальный материал. Между прочим, проф. М. М. Дитрих издал несколько лет тому назад брошюру «Душа хирурга». Книжка эта с психологической точки зрения не лишена интереса.

Меня не раз спрашивали:

— А врачи, когда подвергаются операции, занимаются они самонаблюдением или нет?

Я сам подвергался два раза операциям под общим наркозом и прекрасно помню, какие я переживал ощущения. Попытаюсь их изложить.

Сначала, когда вам дают наркоз, вы полны протеста. Это капли эфира, хлороформа вызывают такой рефлекс протеста. Человек переживает наркоз трагически. Потом появляется какой-то звон, звон принимает постепенно окраску, он делается синим, потом красным, потом сизовато-голубым, потом постепенно все сливается, и человек погружается в небытие. Я говорю о своих личных переживаниях.

Обычно же хирурги и врачи настолько бывают подавлены и депрессированы операцией, что они ничего не помнят. Я редко, крайне редко встречал в литературе воспоминания врача или хирурга, подвергавшегося операции. Между тем, перед операцией каждый человек испытывает чрезвычайно большие волнения, и, естественно, врач мог бы их передать наиболее точно. Взять хотя бы такое явление. Я знаю, по опыту, ряд случаев, когда больные, особенно, страдающие базедовой болезнью, умирают иногда от одной капли хлороформа или эфира. Тут дело не в отравлении, а в психическом шоке, который люди переживают перед операцией. Это имеет в своей основе целую пертурбацию в организме, главным образом с точки зрения обмена веществ.

У человека, переживающего опасность перед операцией, и вообще у всякого человека, который переживает опасность, ускоряется темп сердечных сокращений. Он то бледнеет, то краснеет, у него трясутся руки и ноги. Это зависит от того, что надпочечная железа выбрасывает в это время очень много адреналина, который сокращает сосуды.

Для того, чтобы это было понятнее, скажу об опытах, которые мы производили. Мы делали так:

Я вызываю того или иного молодого сотрудника к себе, и его, по заранее условленному плану, предупреждают о том, что ему предстоит неприятный разговор с шефом. Под тем или другим предлогом у этого сотрудника исследуется кровь.

Оказывается: у сотрудника появляется огромное количество адреналина. Эмоциональные переживания выливаются в такую прозаическую форму.

Еще более сильные эмоции вызывает ожидание операции. Наиболее важное место среди них занимает представление о предстоящих болевых ощущениях. Боль — это такое страшилище, перед которым пасуют очень многие храбрые люди. Решиться на операцию с болью или без боли — это имеет очень большое значение. Больные спрашивают:

— А будет мне больно?

— Дадут мне наркоз или не дадут?

Боль с физиологической точки зрения — благодатный акт. Это — сигнализатор опасности.

Если человек принимает те или иные защитные меры, то потому, что он или ясно представляет себе боль или стремится от нее уйти. Здесь действует естественный рефлекс, который сводится к стремлению устранить боль.

Боль в хирургии играет чрезвычайно большую роль. Это одна из больших проблем современной неврологии и хирургии.

С болью мы боремся целым рядом анестезирующих средств, к которым относится хлороформ, эфир, хлорэтил и т. д. Это — средства, которые подавляют сознание, причем подавление сознания происходит совершенно планомерно. Сначала подавляются высшие центры сознания, задерживающие центры.

Человек взрослый тем и отличается от ребенка или пылкого юноши, что у него развиты задерживающие центры.

Вот эти задерживающие центры благодаря анестезии в первую очередь и парализуются.

Однако, прежде чем наступает это парализованное состояние, происходит на некоторое время развязывание задерживающих центров, и в зависимости от культурного облика человека он или начинает «поминать» родителей, или производит протестующие движения, поносит всячески хирургов, отказывается от операции и т. д. Наконец, наступает сон и стадия полной нечувствительности. Бодрствуют центры дыхания и кровяного давления. В этой стадии можно свободно оперировать человека. Он не ругается, не протестует и лежит спокойно в то время, как вы его оперируете.

Но все эти средства не являются идеальными, потому что они дают иногда тяжелые осложнения. Вы даете хлороформ или эфир. Вдруг сердце останавливается, и хотя дыхание некоторое время еще продолжает действовать, человек умирает у вас на глазах. Этот «наркоз сердца» является одной из отрицательных сторон такого рода наркотических средств.

Надо сказать, что наука, в общем, развивается медленно. Наркотические средства, например, появились не больше 100 лет тому назад, а получили распространение и совсем сравнительно недавно. Смерти от этих наркотических средств сделались предметом международного учета. Оказывается, все эти средства дают определенный процент смертности.

Поэтому начали искать других средств, которые бы не вызывали такого трагического конца, стали заботиться о применении так называемой местной анестезии.

Местная анестезия — это такая форма обезболивания, при которой, путем воздействия на нервные стволы или концевые аппараты нервной системы, прерывается деятельность нервной болепроводящей системы в определенной части тела. Таким типичным средством прежде всего является кокаин.

Если смазать кокаином слизистую оболочку носа, глотки, конъюнктивальную оболочку, то теряется чувствительность. Если влить кокаин внутрь нервных оболочек, то теряется чувствительность во всей территории распространения данного нервного ствола и его разветвлений.

Кокаином можно анестезировать нервные корешки, затем может быть применена спинно-мозговая анестезия. При этом вводится кокаин в спинно-мозговую оболочку, и нижняя часть тела теряет чувствительность. Но и это оказывается опасным вследствие отравляющих свойств кокаина.

Тогда начали искать более невинные средства.

Появился ново-кокаин. С ним можно сделать очень много. Укажу, что в моей клинике мы делаем 70 процентов операций без общего наркоза под этой анестезией. Особенно ценно такое средство для нервной хирургии. Там общий наркоз является исключением, и почти все мозговые операции делаются под местной анестезией.

В других видах хирургии местная анестезия получила также большое применение, и в настоящее время она является в высшей степени распространенной. Но и она имеет свои отрицательные стороны.

Какие?

Дело в том, что в ряде случаев местная анестезия не может применяться, в частности если имеются воспалительные процессы.

Неудачи местной анестезии заставили приступить к созданию таких средств, которые вводятся непосредственно в кровь, и таким образом создается общее обезболивание. В защиту этих попыток приводится соображение о необходимости оберегать психику больных, избавить их от страха перед болью и неуверенности в гарантиях обезболивания при местной анестезии.

Одним из таких средств является эвипан, примененный в десятках тысяч случаев.

Я первый раз применил эвипан в Берлине. Мне пришлось как-то в одной из берлинских лечебниц делать операцию апендицита работнику нашего полпредства. Германские хирурги сказали мне:

— Хотите под этим наркозом сделать операцию? Но вы должны ее сделать в очень короткий срок — в пятнадцать минут. Беретесь или нет?

Надо было поддержать репутацию советских хирургов и отказываться было нельзя. Я взялся и сделал операцию в десять минут. Меня поразило при этом, как идеально наступил наркоз.

Больному дается 10%-й раствор эвипана, раствор вводится в вену по одному кубику в течение полминуты или минуты от шести до восьми-десяти, редко до двенадцати-пятнадцати кубиков, и вскоре, после третьего-четвертого кубика раствора, начинается сон.

Сон продолжается от пятнадцати до двадцати — двадцати пяти минут.

Теперь этот эвипановый наркоз получил большое распространение.

Но и здесь бывают случаи неудач: осложнение во время наркоза и после него.

Это «но» сопровождает хирурга во всей его деятельности. Тяжесть хирургической профессии в том и заключается, что постоянно приходится беспокоиться о течении наркоза, о результатах операции, как в первые часы после нее, так и в дальнейшем.

Вот хирург идет домой после операции. Ему хочется спать, но он знает, что спать не будет, потому что его мучает результат той или иной операции, результат действия того или иного наркоза. В частности, если говорить о наркозах, то каждый из них дает известный процент осложнений и смертности. Нетрудно понять, какое это производит впечатление на хирурга.

Но вместе с тем это заставляет все дальше и дальше искать обезболивающие средства, дающие надежную анестезию и лишенные токсических свойств.

Борьба с болью становится все более энергичной. Ведь боль — это ужасное переживание. Академик Орбели занимался изучением вопроса о боли. Он доказал, что при болезненных ощущениях у человека реагирует весь мозг. Пораженная нервная система переживает особое состояние, и дело доходит до образования в ней токсических веществ, которые в свою очередь действуют на общий организм.

Мы делали такой опыт: соединяли двух собак так, что одна собака получала кровь, оттекающую от головы другой. И вот интересно, что если, скажем, мы второе животное раздражим, то первое животное, получающее кровь от головы второго, начинает страдать так, как будто бы оно само было раздражено. Продукты обмена, которые образуются от перераздражения нервной системы (головного мозга в целом), действуют на другое животное, понижают у него кровяное давление, вызывая частое и поверхностное дыхание.

Что же сказать о человеке — его сознании, его представлении, его воображении во время переживания болезненных ощущений?

У нас в клинике есть больные, страдающие болезнью тройничного нерва... Это такая адская боль, которую не может себе представить человек, не испытавший ее. Эта боль охватывает половину лица и головы: лицо искажает-

ся, текут слезы, слизистая оболочка носа набухает, человек совершенно не может жевать.

Я, например, лечил женщину, которая тридцать восемь лет была лишена возможности жевать из-за нестерпимой боли. Это значит, что человек был лишен удовольствия вкусовых ощущений в течение тридцати восьми лет. Ежедневно у нее бывало по пятнадцать-двадцать приступов.

Или иногда приходит в клинику человек и требует сделать ему операцию. Он страдает от страшной боли. По тем или иным мотивам операция откладывается. Больной вынимает из-под подушки револьвер и заявляет:

— Если вы не будете меня оперировать, то я не ручаюсь, что завтра не застрелюсь сам или вас не застрелю.

Лежал у меня студент, который от боли так буйствовал, что мои ассистенты отправили его в психиатрическую клинику.

Я был болен тогда. Когда я вернулся и узнал, что больной в психиатрической клинике, то взял его обратно и оперировал.

Другой больной пытался броситься в пролет лестничной клетки и настолько был возбужден, что четыре человека едва-едва с ним справились.

Естественно, что врачи тратят много усилий, чтобы найти средства от болей в виде медикаментов или операции.

Кроме болей в области тройничного нерва, ужасные боли охватывают и другие нервы. Бывает, например, ишиас — прострел, когда человек не может ни повернуться, ни встать, ни сесть...

У нас был один больной, которому ортопед отрезал сначала полстопы из-за болей в пальцах, потом отрезал выше, потом — по колено и предложил отрезать бедро, а боль не утихала.

Мы знаем такие случаи, когда больные, потеряв руку или ногу, испытывают фантомные боли. У них, например, «болят пальцы» отрезанной ноги или руки. И вот, найти у такого человека действительное место боли является делом очень ответственным. Дело в том, что нервная система очень легко поражается от места непосредственного повреждения, охватывая проводники, доходящие до головного мозга, где расположен так называемый зрительный бугор. Этот бугор является центром болевых ощущений, а между тем сама кора мозга нечувствительна.

Мне вспоминается одно мое наблюдение, которое, когда я был еще совсем молодым человеком, предопределило мою работу в области хирургии.

Я вез во время японской войны транспорт с ранеными. Мы ехали в теплушке. И вот, сидит один больной, ковыряет свой мозг и рассматривает, что у него из раны идет. Это свидетельствует о полной нечувствительности мозговой коры. Можно без наркоза вырезать большое количество коры, и человек не будет это чувствовать.

В борьбе с болью делаются различные операции. Но в основу этих операций должен быть положен очень тщательный анализ характера боли, места ее возникновения и причин как местных, так и общих.

Я уже упомянул о больном, которому безуспешно делали ампутации без надлежащего обоснования. Рациональные операции основываются на тщательном исследовании больного, исследовании всего болепроводящего и болевоспринимающего аппарата нервной системы, начиная с периферии и до коры мозга включительно.

Как это делается? Прервать пути можно различными способами: или умертвить тот или другой нерв, например, посредством впрыскивания алкоголя или перерезкой. Но главная наша цель — это устранение причины заболевания, а здесь могут играть роль разные моменты: и механические и интоксикационные. Примером первых может служить ущемление нерва отломками костей при переломах, давлением на нерв инородного тела, например

пули или осколка гранаты. Такие же моменты могут иметь место и при давлении на спинной и головной мозг. Пример вторых — боли при хронической малярии. Болезни внутренней медицины в последнее время также служили объектом хирургического вмешательства: бронхиальная астма, грудная «жаба», ненормально повышенное артериальное давление — так называемая «эссенциальная гипертония».

Известно, как страдают больные бронхиальной астмой. У больного развивается силнейшее расстройство дыхания. В таком случае больному делают операцию на симпатических нервах на шее. Бронхиальная астма сопровождается обычно очень тяжелым состоянием. Еще тяжелее бывает состояние людей, страдающих грудной «жабой» на почве артериосклероза. Описание такого страдания есть у Чехова. «...Боже мой, как страшно. Выпил бы воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще не изведанная боль?..»

Боли при этих заболеваниях могут быть сняты путем пресечения волокон и образования симпатической нервной системы.

Болевая проблема имеет колоссальное значение на войне.

В боевой обстановке у человека, естественно, бывает возбуждена нервная система, и в случае ранения в таком состоянии боль является особенно усиливающим агентом. В результате возбуждения, эмоционального и болевого, выбрасывается очень много адреналина, который сам по себе в больших количествах является ядом и вызывает шок.

Поэтому хирург в боевой обстановке прежде всего обязан по возможности устранить боль. Начиная от самого ранения и до момента доставки бойца в госпиталь мы обязаны ослабить его боль, не останавливаясь перед применением морфия, пантопона и т. д. Это является одной из величайших проблем военной хирургии.

Вторая проблема, занимающая советскую хирургию, — это борьба с кровопотерей.

Мефистофель, этот ходячий символ всякой неправды, сказал одну справедливую фразу:

«Кровь есть сок особого свойства».

Это совершенно правильно, ибо кровь действительно представляет собой ткань особого свойства. Эта ткань с жидким мелкоклеточным содержанием. Она несет всему организму питательные вещества, она несет гормоны, она выносит шлаки обмена веществ клеток. Если человек потерял много крови при ранении большого сосуда, он погибает в течение одной-двух-трех минут.

Когда я был молодым ассистентом, я жил в клинике, в больничной палате, фактически среди больных, и мне тогда часто доводилось слышать неистовые крики больных с открывшимся кровотечением из большого сосуда.

Так же реагируют и животные. Охотники знают и, наверное, видели и слышали, что когда лиса, заяц, волк и особенно олень получают прострел большого сосуда, то это вызывает у них громкие стонущие предсмертные крики особенного свойства.

Сколько может без опасности для жизни человек потерять крови?

Самое большее — один-два литра, но обычно потеря уже одной четверти общего количества крови является опасной, а общее количество крови в среднем равняется $^1/_{13}$ веса тела, т. е. при весе в 60 кило = 4—5 литрам. На войне, когда при ранении долго не оказывается помощь или оказывается помощь несовершенная, приходится видеть людей, совершенно обескровленных, с посиневшими губами и белой каймой на кантах.

Я много видел таких обескровленных раненых. В японскую войну и в мировую войну очень много было таких

случаев, и они еще и сейчас стоят перед глазами.

К сожалению, во время мировой войны в царской армии очень слабо применялось переливание крови. Сейчас оно распространено широко, и мы уже не боимся гибели раненых от кровопотерь. Теперь, как правило, при операциях и при тех или иных повреждениях переливается кровь.

Наука переливания крови сейчас в основном почти завершила свой цикл. Выработано учение о группах крови, о так называемом универсальном доноре, то-есть человеке с таким составом крови, что ее можно переливать всякому другому человеку. Больше не приходится бояться осложнения в виде склеивания красных кровяных шариков или выделения из них гемоглобина, что ведет к тяжким последствиям, до смертельного исхода включительно.

Вопрос о том, как надо переливать кровь, откуда надо брать кровь, имеет большую историю с обычными сомнениями, борьбой различных течений и т. д. Долгое время господствовали попытки брать кровь от животных, и особое предпочтение отдавалось бараньей крови. Брали кровь от барана, переливали человеку и... все, получавшие эту кровь, погибали.

Такого рода переливание крови продолжалось очень долго, до знаменитого хирурга Лангенбека.

Что иногда делают слова? Они волнуют ум, бичуют сердце.

И вот Лангенбек сказал, что для того, чтобы переливать кровь, нужно иметь трех баранов. Один, которому переливают, другой, который переливает, и третий, у которого берут кровь.

Этим было сказано все.

Так кончилась «баранья» система переливания крови, и больше к ней не возвращались.

Теперь, правда, снова выдвигается этот метод, но уже не с целью возмещения кровопотерь, а с целью раздражения всего организма, и берутся для этого маленькие порции крови животных. Широко применяется переливание иногруппной крови при лечении ряда заболеваний, в частности при язвах желудка.

Один очень хороший ленинградский хирург испытал метод переливания иногруппной крови. Он сказал:

— Мне стыдно как хирургу сказать, что я перестал оперировать язвы желудка и пользуюсь для лечения переливанием крови.

Но вернемся к общему учению переливания крови.

Создана определенная концепция относительно того — почему перелитая кровь оживляет организм. Мы не мистики, а материалисты, и для нас кровь не есть носитель каких-то особых свойств. Кровь просто замещает утраченные ткани. Наша кровь полна целым рядом таких веществ, которые выбрасывают в организм внутренние секреции. Кровь, перелитая от здорового человека, имеет массу ингредиентов — этим она и ценна. И вот замечательно — кровь купленная и кровь родственников по эффективности различны.

Когда приходит к нам в институт профессиональный донор, он спокойно ложится на стол, отбрасывает руку; у него берут кровь, и он уходит к своим делам. А родственники, — например, любящий муж, любящая мать, любящая сестра, — они, давая кровь, все время очень волнуются за своего родственника. Тут очень много переживаний. Во-первых, чувство жертвы во имя близких людей, потом самая любовь, чувство страха за жизнь любимого или родного существа. Все это способствует возбуждению человека, и у него выбрасывается в кровь очень много веществ, которые называются симпатинами. Эти вещества очень хорошо действуют на человека, которому переливается кровь. С этой стороны надо высоко оценивать кровь родственников-доноров.

Такое состояние возбуждения можно вызвать и у профессионального доно-

ра, сделав ему определенное впрыскивание, но профессионалы на это обычно не идут.

В настоящее время у нас создался совершенно определенный взгляд на переливание крови, что кровь, перелитая в другой организм, не только восполняет утраченные ткани, но и возбуждает все участки организма данного человека. Эту теорию развивает академик Богомолец. Он выступил по этому вопросу на конгрессе в Париже и получил полное признание.

У нас, в Советском Союзе, имеется целый ряд опорных пунктов, где культивируется переливание крови, имеются кадры доноров. В этом смысле мы являемся исключительно подготовленными в отношении обороноспособности. У нас донорство развито широко, и организовано это дело хорошо.

Какую же надо брать кровь — свежую или консервированную? В искусстве консервирования наука также добилась больших результатов: кровь может храниться пятнадцать-двадцать суток, и она будет годна. Кровь можно транспортировать на аэроплане, автомобиле, мотоциклете, в экипаже, и она не теряет своих благодетельных свойств. Но при переливании надо соблюдать определенные условия. Нельзя, например, переливать кровь больных сифилисом, туберкулезом, малярией, потому что болезненные начала очень долго остаются в организме. Кроме того, и не всякому больному можно переливать кровь.

Третья проблема современной хирургии — это невротрофическая проблема. Известна теория Сперанского и Вишневского, теория о трофическом свойстве нервной системы — это учение о нейротрофике.

Можно назвать целый ряд заболеваний, когда главную роль играют явления трофических расстройств. Например, приходит человек с язвой на ногах и говорит, что никакие лекарства ему не помогают, что он был у всех врачей, был у гомеопата, но ничего не помогает. И хирург сплошь и рядом делает операцию, руководясь теорией нейротрофики, и получает успех. В последнее время очень широко при ряде заболеваний применяется блокада нервных путей. Этим как бы перестраивается система патологических связей, и рана начинает быстро заживать, воспалительный процесс купируется, и его течение принимает другой характер. Особенно часто такие изъязвления наблюдались в послевоенное время при ранении нервов. Лабораторный эксперимент блестящим образом доказывает это свойство нервной системы.

Наконец, я хочу коснуться хирургии рака. Очень часто мы слышим такой вопрос:

— Излечим рак или нет?

Так ставить вопрос нельзя. Это все равно, что спросить: смертен человек или не смертен. Тут надо разделить проблему. Во-первых, надо ответить на вопрос: можно ли рак предупредить, поддается ли рак лечению — лечению радием или рентгеном или оперативному — и нужно ли перед операцией лечить рентгеном. Мы не можем сегодня пройти мимо этих вопросов.

Я как депутат получаю ежедневно десятки писем, причем многие носят форму запросов медицинского характера.

Один интеллигент пишет:

«Прекратите разговоры о раке, потому что эти разговоры заставляют людей терять спокойное самочувствие, бежать к врачу и спрашивать — не рак ли у них. От укуса языка остатком зуба у человека происходит кровотечение или из десен идет кровь, а человек думает, что у него предраковое состояние. Мы должны оберегать психологию больных».

Раки могут быть излечены с успехом тогда, когда они рано диагносцируются. Чем раньше диагноцирован рак, тем больше шансов его излечить...

А можно поставить раннюю диагностику? Можно. Есть так называемые

митотические лучи Гурвича, которые указывают на наличие рака. Кроме того, необходимо тщательное и повторное обследование больных, у которых имеются явления, подозрительные по заболеванию раком, в виде, например, хронических изъязвлений или появления опухолей в области каких-либо тканей или органов. Наконец, в некоторых случаях, особо трудных для диагноза, производится вырезывание частицы подозрительного образования для микроскопического исследования. И вот, когда принимаются меры в стадии предракового состояния, то можно говорить о том, что этого человека спасли от возможности заболеть раком. Когда рак диагносцирован рано, он еще строго локализирован, — можно с достоверностью излечить больного. Когда рак развился и даже дал метастазы в районные лимфатические железы, все-таки имеются шансы излечить больного путем радикальных операций в комбинации с последующей рентгенизацией. Это наблюдается и практикуется при поражении грудных желез женщин.

Пятый вопрос, который я должен осветить, это вопрос о раньевой инфекции. Она для нас, особенно в связи с военной опасностью, приобретает исключительное значение.

В самом деле, в царской армии возвращалось на фронт 18 процентов, а в немецкую и французскую армии до 80 процентов бойцов, излеченных от ран.

Кто победит в будущей войне? Победит при прочих равных условиях тот, у кого больше бойцов вылечится.

Я всю империалистическую войну провел на фронте. Я видел, как первые хорошие кадры быстро убывали не только потому, что потеря была велика, а еще и потому, что не было возвращения на фронт в тех размерах, как у наших противников и союзников. Мы лечили плохо. У нас не было ни транспорта, ни оборудования, да и врачей было мало. Ведь в царской России врачей было всего 24 тысячи — это и для фронта и для громадного тыла. На фронтах одновременно сражалось 5,5 миллиона. Сколько можно было мобилизовать врачей для армии из 24 тысяч? Ну, 8 тысяч. Это очень небольшое количество. В Америке на 250 тысяч раненых было 8 тысяч врачей. Отсюда можно судить, какая была насыщенность у нас и у них.

Что же — русские врачи глупее или менее искусны, чем немецкие? Ни то, ни другое. Нет, ни глупее, ни менее искусными мы не были. Но тут было много причин: во-первых, неправильно расставляли врачей, во-вторых, проводили безукоснительное исполнение инструкций, тормозивших инициативу, благодаря чему новые веяния и пересмотр старых установок были заторможены. Говорили, что рану трогать не надо и раненого надо только перевязать. А это значит — очень мало сделать! Рану надо было вырезать, какой бы она ни была, и чем раньше, тем лучше, ибо тогда вы удаляете всю попавшую инфекцию или, по крайней мере, ослабляете ее. Врачи царской армии не успели за время мировой войны перестроиться и освободиться от старых традиционных концепций.

Сейчас применяется вырезывание раны и зашивание ее наглухо. В этом отношении мы сделали огромный шаг вперед, и теперь для каждого врача это стало истиной.

Если вы даже сразу не зашили рану, то через несколько дней вы можете ее зашить, при условии, если вы ее хорошо вырезали в первые восемь-двенадцать часов после ранения. Эта проблема в настоящее время приобретает особо актуальное значение как с теоретической, так и с практической точки зрения, а также с точки зрения нашей обороноспособности. У нас в этом отношении имеется совершенно определенная установка. Выработаны инструкции по лечению ран: когда и какой способ нужно применить, какие химические и биологические (предо-

хранительные) лечебные сыворотки нужно добавить к хирургическим мероприятиям.

Эти темы, которые я перечислил, относятся к проблемам общей хирургии. Перейду теперь к частной хирургии.

Какие современные установки есть в частной хирургии?

Начнем с заболевания живота.

Заболевание живота является одним из самых больших отделов современной хирургии. Эти заболевания могут касаться целого ряда органов: язвенного поражения желудка, двенадцатиперстной кишки, язв тонкой кишки, прямой кишки, заболеваний печени, почек, мочеполовой системы. Но особенно опасным является так называемый «катастрофический» или «острый» живот. Он слагается из следующих моментов. Вполне здоровый человек вдруг испытывает ужасные боли в животе. Иногда они сопровождаются рвотой. Человек принимает неестественные положения, хватается руками за живот, страшно страдает, у него делается болезненное, бледное, страдающее лицо, называющееся «маской Гиппократа», который впервые это явление описал. У человека теряется блеск глаз, губы синеют, нос заостряется. Все это бывает при прободении желудка, при прободении или язве двенадцатиперстной кишки, при прободении той или иной кишки вообще, при заболеваниях печени, при острой непроходимости кишек и при остром апендиците. Эти все явления называются «катастрофическим» или «острым» животом.

«Катастрофический» живот представляет большие трудности при диагносцировании. Человек не знает, с чего «это» начинается. Симптомы настолько переплетаются, что даже опытный врач не знает, что и как говорить. Сколько случаев бывает, что человека оперируют под диагнозом апендицита, а он умирает от язвы желудка, и наоборот! Тут возникает вопрос — можно ли вообще поставить диагноз, можно ли предупредить заболевание?

«Диагноз при «остром» животе, особенно при завороте кишек, можно поставить. Для этого есть рентген и для этого есть лаборатории. Сопоставление данных рентгена и данных лаборатории дает возможность установить заболевание. Подвергая больного рентгеновскому исследованию, врач устанавливает многое: изменение формы органов, скопление воздуха или газов, свободно размещающихся в несвойственных им местах. Это дает иногда возможность точно поставить диагноз.

Можно ли предупредить все эти заболевания или нет?

Конечно, целый ряд заболеваний можно предупредить и не дать им развиться, если они распознаны в начальной стадии, например, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменную болезнь, апендицит.

Однако те же язвы протекают иногда очень коварно. Человек, например, подошел к трамваю, хотел подняться на подножку и в этот момент падает без сознания. У него начинается кровавая рвота, и потом он свое состояние объясняет так:

— Вот я садился на трамвай, меня кто-то так толкнул, что я упал без сознания.

Между тем у него оказывается кровоточащая язва желудка, — так называемая, бессимптомная язва — скрытая язва.

То же самое бывает и с апендицитом.

Привозят больного с апендицитом, и он кричит от боли и при этом заявляет, что он утром был совершенно здоров, ел, пошел на работу и вдруг заболел. Его оперируют, и оказывается, что у него в апендикулярном отверстии разыгрался острый воспалительный процесс, угрожающий прорывом.

Рядом мероприятий мы несколько можем предупредить заболевания. Если у больного имеются подозрительные симптомы в отношении язвенного процесса или воспалительного состояния

червеобразного отростка, то путем диэтического и медикаментозного лечения можно предохранить в большинстве случаев от катастрофы. Такой больной не должен пить водку, есть раздражающие кушания, курить и т. д. Кроме того, надо предупредить его от резких движений, прыжков и т. д.

Второй раздел заболеваний полости живота — это опухоли, возникающие в желудке, в двенадцатиперстной кишке, в тонких и толстых кишках. Они тоже бывают коварными.

Вот случай, чрезвычайно печальный, говорящий о несовершенстве нашей диагностики.

Один замечательный ученый, сам биохимик, который все время занимался физиологией желудка и кишечника, заболел. В течение пятнадцати лет он болел какой-то неопределенной болезнью и в конце своей жизни стал страдать малокровием. Собрался большой консилиум. На консилиуме были высказаны разные соображения и решили сделать переливание крови. Сделали переливание крови, нарастание малокровия продолжалось; ученый вскоре умер. При вскрытии оказался огромный рак, хотя человек не имел симптомов заболевания желудка.

Другой профессор — мой друг — страдал раком. Он часто ездил в экспедиции, и вот какой симптом болезни у него был. Он говорил:

— Я должен кушать три блюда с промежутками в сорок минут. Сначала съесть суп, потом ходить или сидеть, а потом, опять с перерывом, компот или кисель.

Боли? Их у него не было.

Потом его оперировали. Громадный неоперабельный рак. А ни болей, ни кровотечений не было.

Эта скрытая форма рака очень опасна.

Одним из наших достижений является то, что сейчас получила широкое развитие хирургия удаления опухолей. Резекции желудка в большом количестве делают врачи, работающие в участковых больницах, на периферии. На последнем съезде хирургов провинциальные врачи докладывали о тысячах вырезанных «животов», и с большим успехом.

Антон Павлович Чехов говорил:

— Трудно быть в наше время хорошим писателем, потому что очень многие хорошо пишут.

Я должен сказать про хирургов:

— Трудно быть сейчас хорошим хирургом, потому что очень многие хорошо оперируют!

Из последних достижений хирургии, и, в частности, советской хирургии, надо указать еще на легочную хирургию.

Хирургия легких очень долгое время находилась в застое как в отношении теоретическом, так и в отношении техники производства операций. Но, начиная с работ Зауэрбруха, на это обращено внимание, и в настоящее время в Англии, Франции, Америке и у нас прекрасно делают операции при абсцессе в легких, при расширении бронхов и при опухолях. Удаляют доли легких, а иногда легкое целиком.

Операции эти требуют определенной обстановки и инструментации. При производстве таких операций приходится особенно считаться с возникновением тяжелых последствий рефлексов для общего состояния организма. Часто развиваются явления шока. Опыт легочной хирургии в нашем Союзе развивается с исключительной настойчивостью. И это нужно приветствовать и поддерживать. Хирургия легких получает особенное значение с точки зрения обороноспособности: ранение легких дает 47 процентов смертности. Это заставляет особо фиксировать внимание на травмах легких.

Интересны проблемы пластической или восстановительной хирургии, органов движения в первую очередь. Лишиться возможности движения — значит превратиться в калеку. Возьмите поражение тазобедренного сустава. Человек при таком поражении не может сидеть на стуле. Он должен сидеть

так, чтобы больная нога была на весу.

Далее, поражение коленного сустава. Оно не позволяет при сидении или при хождении согнуть ногу до прямого угла. Или взять неподвижность локтевого, плечевого суставов — тоже очень тяжелое состояние.

Восстановление подвижности суставов — одна из благодетельных операций, дающих радость больному и удовлетворение хирургу. Существует ряд способов производства таких операций. Обычно формируют сустав путем воспроизведения отношений, подобных нормальным. Но если оставить кости после моделирования суставных линий без прокладки между ними, они могут снова срастись.

Еще Пирогов говорил: если сустав плохой, поставьте от другого человека или от трупа. Но это говорилось как парадокс. Эта мысль была брошена Пироговым по его юношеской дерзости. Но вот в 1870 году германский хирург Лексер действительно сделал инплянтацию сустава от трупа на место больного сустава. Он демонстрировал больного на одном из съездов. Но интересно, что через несколько лет этот сустав исчез, потому что кость была мертвой, и она заменилась рубцовой тканью. Мне лично пришлось сделать около ста таких операций. 73 процента прошли с успехом, 15 процентов дали улучшение, а остальные без успеха. Главное в этих операциях: получить возможность рабочих движений.

Пластика суставов приводит к мысли о восстановительной хирургии вообще. Одним из самых активных отделов пластической хирургии является пластика в области лица. Например, человека ранили около глаза, и ему надо восстановить бровь, или во время войны оторвало нос. Конечно, носы разных размеров являются украшением, они способствуют миловидности лица, его солидности и даже важности... У человека без носа никакого вида нет! Поэтому люди без носа очень интересуются восстановлением носа. Даже если по каким-то причинам только кончик погиб, люди требуют его восстановления. Это целое искусство — пластическая хирургия. Бывает особенно тяжкое уродование при запущенных формах сифилиса, и здесь хирургам пришлось много поработать в отношении пластики.

А повреждение челюстей, лишающее возможности открывать рот, нарушающее важнейший акт пищеварения — жевание, нарушающее правильную артикуляцию зубов, — оно имеет важное значение при военных ранениях, и на это приходится обращать особенное внимание, как в разработке техники, так и в подготовке кадров специалистов по этому делу.

Блестящие успехи имеет восстановительная хирургия при несросшихся переломах, при перерезанных сухожилиях, а особенно при перерезке нервов.

Надо сказать, что сшитые нервы растут очень медленно, не больше как по одному миллиметру за сутки, и надо считать, что пройдет триста-четыреста дней, пока эти нервы вырастут, например, при ранении нерва на бедре, голени, плече, предплечье. Бывают случаи, что концы нервов далеко отстают один от другого и приходится для соединения брать «проводники» или выкраивать их из нервов потерпевшего, или брать искусственные, или из животных материалов — например, нерв теленка, определенным образом обработанный, или особым образом приготовленный спинной мозг кролика или кошки.

Госе в Париже применил впервые для этой операции спинной мозг кролика. Спинной мозг кролика имеет вид шнурка, который вставляют в тот или иной дефект. Я предложил у себя в клиниках попробовать этот метод, и сам оперировал несколько раненых. Теперь будем ждать, какие будут результаты. Эта область также называется пластической хирургией.

В заключение о нервной хирургии.

Я уже писал о раненом, который ко-

вырял свой мозг. Я видел позднее, как один малоопытный врач при ранении ввел больному в голову громадный тампон. Больной сидел совершенно спокойно, и врач продолжал вводить тампон, пока я его не остановил. Я просто остолбенел от такой операции, подхожу к врачу и говорю:

— Коллега, что вы делаете?

— Тампонирую.

— Но разве можно в мозг столько наталкивать?

— Я ему толкаю, а он молчит.

— Да разве можно так много наталкивать в центр мозга! Вы можете повредить важнейшие центры движения, центры речи!

Это свидетельствует о том, как нечувствительны ткани мозга. Заболевания центральной нервной системы очень трудны для диагностики и ведут часто к роковым врачебным ошибкам.

Вспоминается один трагический случай.

У одной певицы Большого театра, как только она должна была выступать на концерте, развивалась ужасная головная боль, такая сильная, что она ложилась в кровать и не могла подняться. Потом она жаловалась, что ей слышатся различного рода стоны и жалобы и обонятельные галлюцинации.

Муж поместил ее в психиатрическую лечебницу, и там она начинает слепнуть. И только слепота заставляет врачей подумать: психическое это или органическое заболевание.

Мы извлекли больную из психолечебницы и нашли при операции огромную опухоль.

Так бывает и с целым рядом других заболеваний.

Например, иногда людей лечат от желудка, а на самом деле оказывается поражение центральной нервной системы.

Иногда, чтобы поставить диагноз, больных держат в клинике по десятку лет, такие бывают запутанные случаи при болезни центральной нервной системы. А между тем, чем раньше поставлен диагноз, тем легче помочь больному путем операции.

В настоящее время есть целый ряд методов, которые позволяют уточнить раннюю диагностику. К таким методам относятся диагностические операции. Есть один прием, когда совершенно сознательно вводится в мозг воздух в довольно значительном количестве, и энцефалография воспроизводит рисунок так называемых мозговых желудочков. Можно ввести сто—сто двадцать кубиков. Больной ставится под рентген, и наблюдаются те или иные сочетания и контуры, отклоняющиеся от нормы.

По портрету мозговых желудочков можно сравнивать и выявлять патологическую картину. Эти желудочки имеют между собою коммуникацию.

Как определить эту коммуникацию? Один из моих сотрудников вводит или воздух или контрастные массы — иодистый натр — и после этого «крутит» больного: то поднимает голову вверх, то опускает вниз и т. д. При таком исследовании иногда удавалось определить, где сидит препятствие, чтобы затем правильно наметить мероприятия.

Иногда надо исследовать разветвляющиеся сосуды. Если растет опухоль в мозгу, то сосуды будут раздвинуты. Тогда вводится в сонную артерию контрастное вещество, задерживающее лучи рентгена. И вот на рентгеновском снимке можно видеть уклонение от нормального рисунка.

Это — манипуляция опасная и неприятная, и иногда она сопровождается тяжелыми осложнениями. Мы же должны всякое диагностическое мероприятие свести до минимума опасности и на рискованные диагностические приемы идем только в случаях исключительной тяжести, оправдывающей известный риск.

Современная нервная хирургия считает необходимым удаление опухолей. Удалять опухоль из мозга и легко и трудно. Легко потому, что доступ к

определенного вида опухолям очень прост. Трудно потому, что приходится иметь дело с такой тканью, которая дается раз на всю жизнь. Она не возобновляется. Если даже удалить опухоль удается, то все равно может остаться дефект, который никогда не зарастет. Ткани не возобновляются.

Вот это обстоятельство и реакция мозга на операцию представляют большую опасность. Получается ряд осложнений, из них самым неприятным и опасным является отек мозга.

И все же эта область, несмотря на трудность диагностики и на тяжесть реакции мозга, является благодарной, потому что от целого ряда опухолей можно людей избавить, и они станут трудоспособными. Смертность с 75 процентов падает до 20—15 процентов, правильность диагностики достигает — 90—92 процентов.

У меня был случай, когда один крупный инженер трижды оперировался в связи с заболеванием мозжечка, и восстановить его работоспособность удалось.

В одной московской кондитерской можно увидеть миловидную женщину, которая продает эскимо. Никто не знает, что у нее была опухоль в задней черепной ямке. Теперь она ходит нормально, только немного пошатываясь.

Тяжелое заболевание — эпилепсические припадки, сопровождающиеся судорогами.

Это заболевание сильно отражается на психике больных. Возьмите карамазовские описания у Достоевского. Там вы найдете очень серьезные в этом отношении указания. Эпилептика —элемент чрезвычайно опасный и в социальном отношении.

Надо сказать, что при эпилепсии мы охотно идем на операции. Правда, эти люди продолжают оставаться опасными. Например, у нас был такой случай.

Пришел один очень обязательный человек, любезно с нами разговаривал и сказал, что у него эпилепсия. У него было большое кровотечение. Мы его оперировали, и мне на другой день говорят, что больной буйствует и плюет на сестер. Мы его вынесли в коридор. Я пришел посмотреть. Он лежал тихо. Я говорю:

— Давайте его в перевязочную, посмотрим.

Вдруг он спрашивает:

— Ах, это вы, Бурденко?

Он меня ударил. Я едва успел снять очки. Другой профессор, теперь уже покойный, был худенький, и он просто отлетел в сторону, а еще один мой сотрудник тоже отстранился, и оставили меня одного. Я схватил больного, обнял, а потом его уже связали.

Это случаи, когда в операции мы отказывать не можем, это было бы безжалостно. Это все равно, что толкнуть человека на самоубийство.

В этом отношении нервная хирургия является одним из благодарных объектов.

Дальше, — опухоль спинного мозга. Этих случаев довольно большое количество, и они являются в большинстве объектом сравнительно легкого вмешательства. Они, во-первых, дают малый процент смертности, и иногда удается добиться блестящего восстановительного эффекта. Людей совершенно не узнать после операции, если они имели опухоль, расположенную не внутри спинного мозга, а около спинного мозга. Можно удалить очень большие опухоли. Я одному больному удалил опухоль примерно в 20 сантиметров.

Конечно, все эти достижения хирургии не завершают дальнейшего прогресса. Они открывают возможность итти в этом отношении дальше и дальше. Но в значительной мере мы зависим здесь от физиологии.

Физиология до сих пор изучалась на лягушках, ящерицах, собаках, кошках, на морских свинках и т. д., а на человеке физиологию начали изучать очень недавно. Мы хотим каждую операцию превратить в физиологическое

наблюдение и с точки зрения физиологии и с точки зрения хирургического осуществления. Здесь мы можем иметь значительные физиологические находки.

Дальнейшие завоевания хирургии в значительной мере зависят от того, что к хирургии перестанут относиться, как к искусству. Хирургия есть наука и очень сложная наука, которая находится в комплексе и в контакте с рядом других наук: физиологией, физикой, химией, биохимией, патологией и т. д.

Нельзя вопрос решать так — режь, где мягко, и пили, где крепко. Это грубо-эмпирический подход.

Нервная хирургия должна быть доведена до вершины человеческого сознания, и тогда только можно будет избежать здесь эмпирических попыток, которые делаются до сих пор.

Развитие хирургии упирается также в развитие инструментальной химической промышленности. Мы должны быть вооружены целым рядом химикалиев и инструментарием, причем речь должна итти не только об инструментах режущих, но и облегчающих и помогающих нашим манипуляциям, в частности об аппаратуре осветительной.

Осветительные приборы, например, в нервной хирургии, имеют колоссальное значение. Освещение той или иной лежащей внутри области очень важно при операции. Для этого употребляются бестеневые лампы или лампы, которые вводятся в глубину и в раны. При их помощи можно разобраться в тех или иных хирургических положениях.

И я должен с радостью констатировать, что усилия в борьбе за инструментарий, в конце концов, увенчались успехом, и мы уже можем овладевать всеми техническими достижениями, которые имеются за границей — в Америке и в Европе.

Я должен сказать, к чести советской хирургии, что мы в настоящее время в состоянии делать операции и делали уже все те операции, которые вообще известны, и нет таких операций, которые в Советском Союзе не были бы воспроизведены.

С точки зрения овладения общей хирургией мы готовим широкие концепции, теоретические и практические, и сделали все возможное для овладения этими знаниями всей семьей советских хирургов — примерно 12—15 тысяч человек. Они являются в настоящее время вполне полноценными хирургами. Мы разрешаем те проблемы, которые ставит современная действительность с точки зрения обороноспособности нашего отечества. Наша будущая задача — с малой кровью вернуть максимум бойцов назад на фронт. И в этом отношении мы выполним те призывы, с которыми обращается к нам правительство.

А так как нас, советских врачей, сейчас очень много, свыше 100 тысяч человек, то мы насытим фронт квалифицированными медицинскими работниками и выполним свой долг. Мы делом ответим на призыв великого Сталина, партии и правительства о защите нашей дорогой родины.

Н. Цицин

ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

Отчетом об исторических победах социализма в деревне, о победах колхозов и совхозов будет Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, первая в истории выставка социалистического земледелия.

Она покажет всему миру, как на земле, очищенной от помещиков и кулаков, на земле, навечно переданной трудовому народу, миллионы свободных людей, которых социалистическая индустрия вооружила мощными машинами, а советская наука передовой агротехникой, преобразовали бесконечно отсталую и нищую когда-то страну, построили самое крупное, самое передовое в мире сельское хозяйство, не зависящее от слепых стихий природы и уверенно идущее по пути подъема.

Товарищ Сталин, наш вождь и учитель, говорил:

«...социализм может победить только на базе высокой производительности труда, более высокой, чем при капи-

Главный павильон СССР.

Павильон Украинской ССР.

тализме, на базе изобилия продуктов и всякого рода предметов потребления, на базе зажиточной и культурной жизни всех членов общества». (Из речи на первом всесоюзном совещании стахановцев).

Вся выставка, обобщающая грандиозный опыт социалистического строительства в деревне, опыт миллионов колхозников, рабочих МТС и колхозов, — будет наглядным подтверждением этого указания.

Социализм может победить только на базе высокой производительности труда, более высокой, чем при капитализме... Выставка покажет, как резко возросла и продолжает расти производительность сельскохозяйственного труда, ставшего в нашей стране разновидностью труда индустриального.

Выставка покажет, как осваивается созданная социалистическим хозяйством система машин, пришедших на поля с конвейеров советских промышленных гигантов.

Выставка покажет, как переделывают народы Советского Союза почву, как переделывают и улучшают природу растений и животных.

На тысячах разнообразных примеров из разных областей СССР, из разных отраслей хозяйства продемонстрирует выставка слагаемые, обеспечившие огромное повышение производительности труда в сельском хозяйстве.

Социализм может победить на базе изобилия продуктов и всякого рода предметов потребления... Выставка покажет, каких грандиозных успехов добилась социалистическая система хозяйства в разрешении зерновой и животноводческой проблем, в завоевании сырьевой независимости Союза.

Рост земледелия, животноводства, повышение урожайности полей, создание новых зерновых баз, продвижение земледелия на север, создание советских субтропиков, освоение новых культур, непрерывная интенсификация земледелия и т. д.—обеспечивают нашей великой родине быстрый рост изобилия продуктов, быстрый рост сырьевой продукции для производства всякого рода предметов потребления.

В тысячах экспонатов, собранных на выставке, в тысячах растений, высаженных и посеянных на территории выставки, в тысячах наиболее продуктивных животных, размещенных в зданиях животноводческого городка выставки, будут в натуре продемонстрированы плоды труда больших коллекти-

вов колхозников, рабочих МТС, совхозов, ученых.

В этих сгустках высокой агрономической и зоотехнической культуры социалистического сельского хозяйства показываются необъятные сельскохозяйственные богатства и ресурсы нашей страны — страны растущего изобилия.

Социализм может победить на базе зажиточной и культурной жизни всех членов общества... Выставка покажет, как миллионы крестьянской бедноты пришли через колхозы к зажиточности и культуре.

В числе ярчайших достижений колхозного строя выставка широко и обстоятельно покажет опыт работы выдающихся колхозных ученых, пришедших в науку от практики, от производства.

На примерах множества лучших колхозов продемонстрирует выставка, как уничтожается в нашей стране вековая противоположность между городом и деревней, как быстро растет зажиточность и культура тружеников земли.

В выставке участвуют только лучшие из передовиков — трактористы и комбайнеры, льнотеребильщики и хлопкоробы, садоводы и огородники, доярки и конюхи, свинари и пасечники, агрономы и изобретатели.

Тысячи наиболее организованных передовых хозяйств, десятки тысяч работников новых специальностей и профессий, рожденных ростом и подъемом социалистического сельского хозяйства, будут рапортовать на выставке об успехах своих колхозов, МТС и совхозов.

Отображенные выставкой достижения передовиков станут достоянием всего народа.

Показ этих достижений во всем их многообразии — отчет об успехах и способах решения крупных проблем социалистического земледелия — вызывает новый подъем революционных творческих исканий передовых людей науки и практики, новый подъем производственного энтузиазма миллионов колхозников и рабочих совхозов.

Павильон Азербайджанской ССР.

Уже во время отбора участников выставки (этот отбор стал по существу крупнейшим, охватившим всю страну производственным смотром хозяйств и передовиков) сказалась могучая сила социалистического соревнования.

Теперь, после открытия выставки 1939 года, во время подготовки к выставке 1940 года, сила соревнования скажется еще полнее и еще ощутимее.

«Всесоюзная Сельско-Хозяйственная Выставка,—говорил в своем докладе на XVIII съезде ВКП(б) глава советского правительства тов. В. М. Молотов, — дает целую программу для подъема сельского хозяйства. Она послужит делу всесоюзной популяризации передовиков сельского хозяйства, популяризации и распространению лучших примеров их работы. Эта выставка должна вызвать соревнование между колхозами, МТС и совхозами, между районами, областями и республиками. Она может и должна сыграть крупную роль в организации дальнейшего подъема сельского хозяйства и в выполнении заданий третьей пятилетки».

Наша выставка — отчет о победах генеральной линии партии, отчет о победах совхозов и колхозов; она — одновременно и предвестник новых побед, предвестник и залог дальнейшего роста могущества и изобилия нашей родины, уверенно идущей к коммунизму под руководством партии Ленина — Сталина.

Павильон Дальнего Востока.

Р. Акульшин

В ОДНОМ КОЛХОЗЕ...

Литератор Р. Акульшин, постоянно наблюдающий жизнь колхоза «Победа», Дмитровского района, Московской области, написал корреспонденцию, в которой критикует колхозную комсомольскую организацию, не сумевшую организовать культурный отдых и воспитательную работу в своем колхозе.

Печатая эту корреспонденцию в порядке обсуждения, редакция просит читателей высказаться на страницах «Молодой гвардии» по вопросам культурно-воспитательной и пропагандистской работы среди колхозной молодежи.

Колхоз «Победа» Дмитровского района, Московской области, — участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В этом небольшом колхозе из 75 дворов — четыре орденоносца. Председатель колхоза тов. Егоров награжден орденом Ленина, бригадир тов. Щенников — орденом Трудового Красного знамени.

Здесь живет депутат Верховного Совета СССР — Василий Семенович Сидоров. Этот человек прославил свою деревню Настасьино на весь Советский Союз. Что он сделал? С тяжелых подмосковных суглинков, которые были очень скупы на урожай, он стал получать по 40 центнеров пшеницы с гектара. Когда-то нищая, обездоленная деревенька стала мощным, зажиточным колхозом.

В день организации — 16 сентября 1929 года — Настасьинский колхоз не имел ничего, кроме огромного желания заново перестроить жизнь, завоевать себе прочное счастье.

Теперь у колхоза в изобилии пшеничный и ржаной хлеб, овощи, мясо, молоко. Настасьинцы хорошо обуты и одеты. Они имеют школу-семилетку, детский сад, ясли, клуб, библиотеку, избу-лабораторию, МТФ, СТФ, пасеку, парниковое хозяйство, два автомобиля, прекрасную конюшню, сад в 11 гектаров, клубничную плантацию в два гектара. Заработки многих колхозных семей в Настасьине переваливают за 20 тысяч рублей в год.

Об успехах «Победы» в полеводстве и огородничестве писалось во многих газетах и журналах. В этот колхоз приезжают передовики сельского хозяйства из других областей и районов, чтобы перенять опыт настасьинцев.

Профессора, академики, писатели, ар-

тисты, иностранные туристы — частые гости колхоза.

Читатели этих записок, вероятно, подумают, что в знаменитой деревне на высоте и культурно-воспитательная работа. Но это не так. Работа эта — прямое дело комсомольской организации колхоза, а настасьинские комсомольцы стоят в стороне от культурных дел колхоза. Они мало чем интересуются, кроме сомнительных развлечений.

— Когда мы были комсомольцами, то старались приобрести влияние во всех организациях деревни, — рассказывает настасьинец, депутат Верховного Совета СССР Василий Семенович Сидоров. — В годы нэпа нами был организован Комитет взаимопомощи. Я был председателем. Мы оказывали помощь беднейшему населению, создавали семенные фонды, закупали инвентарь.

Сельскохозяйственный кружок был создан тоже по инициативе комсомольской организации. Этот кружок работал три года, вплоть до организации колхоза. Тогда старики противодействовали молодежи, но это нас не пугало.

Сейчас другая картина.

Отсутствие воспитательной работы среди молодежи, неумение занять ее досуг разумно и интересно приводят к печальным результатам. Многие ребята разбалтываются вообще, начинают плохо работать в колхозе, не хотят учиться.

Несколько раз в год мы созываем своих комсомольцев и убеждаем их поехать на курсы бригадиров, пчеловодов, садоводов, овощеводов, трактористов. Наши уговоры ни к чему не приводят.

За последние три года только однажды нам удалось сагитировать одного комсомольца — Зиновьева Сергея — поехать на тракторные курсы. Он их закончил, но трактористом не работал ни одного часа.

По трудодням молодые колхозники отстают от своих отцов и матерей. Морозов Сергей за 1938 год заработал 210 трудодней, но 5 трудодней у него отнято как штраф за невыход на работу. У Зуйкова Александра за весь год 195 трудодней.

А вот трудодни настасьинских старичков, в возрасте от 50 до 65 лет: у Куприяновой Марии — 282, у Жоховой Татьяны — 472, у Моксева Григория — 570, у Графова Ильи — 657.

У любого рядового колхозника трудодней гораздо больше, чем у комсомольцев — Морозова и Зуйкова. Как работают эти парни? Скрепя сердце.

В колхозе была создана касса взаимопомощи. В правление кассы были избраны комсомольцы — Иван Широков и Тоня Дроздова. Со дня их избрания прошло несколько месяцев. За это время они не уделили кассе взаимопомощи ни одной минуты.

Когда колхозники начинают ругать комсомольцев за их пассивность, то «обиженные» оправдываются тем, что они по комсомольской линии работают на фабрике. Но это лишь отговорка.

Когда фабричная администрация предлагает комсомольцам какую-либо общественную работу, комсомольцы заявляют:

— Мы заняты по горло в колхозе.

Весной 1938 года с настасьинцами захотел повидаться академик Вильямс.

В делегацию, по совету В. С. Сидорова, был включен и секретарь настасьинской комсомольской организации — Иван Широков. Этот парень окончил семилетку, был на счетоводных курсах и три года работал в колхозе счетоводом.

— Возьмем его с собой, — сказал Сидоров. — Может быть, встреча с мировым ученым расшевелит молодого

человека, он расскажет о ней комсомольцам и заинтересует.

Из Настасьина к Вильямсу выехало десять человек. Каждый из них знал, что академик только что поднялся с постели после тяжелой болезни, что этот человек в преклонном возрасте, что каждая минута его жизни предназначена для большой работы на пользу великой Советской страны.

Отнимать у него время могут только те, которые сами все свои силы отдают родине.

«Что сделали мы, что бы быть гостями знаменитого человека?» думали настасьинцы, входя в кабинет ученого по приглашению его секретаря.

Василий Робертович сидел за письменным столом, погруженный в работу. Увидя вошедших, отодвинул рукопись, улыбнулся и пошел навстречу гостям. Они поспешили к нему.

— Слежу за вашей работой, — сказал академик, — горжусь вашими успехами. Если бы не мешала болезнь, с радостью побывал бы в Настасьине.

Беседа ученого с гостями продолжалась два часа. Колхозники спрашивали, почему гибнет озимая пшеница, когда снег выпадает на талую землю толстым слоем? Какой вводить севооборот, если уклон в колхозе животноводческий, а земли мало? Почему яровая пшеница дает сравнительно низкие урожаи? С какого укоса клевера нужно получать семенной материал?

И много других вопросов было задано академику. На все он отвечал очень интересно. Перед колхозниками открывались многие волновавшие их тайны. Знаменитому ученому захотелось узнать, какая обработка паров проводится в «Победе». Подробно рассказал об этом В. С. Сидоров.

Прощаясь с настасьинцами, Василий Робертович в полушутливой форме сказал, что не стахановцы колхозов должны ездить за советами к ученым, а ученые к стахановцам.

После этого гостей провели в музей почвоведения.

Ночью, на обратном пути, колхозники говорили о том огромном впечатлении, которое произвел на них академик. В беседе не принимал участия только секретарь комсомольской организации: он дремал, прислонившись к стенке вагона.

В ближайший выходной день делегация выступила на общем колхозном собрании и рассказала о встрече с Вильямсом. В клубе не было ни одного комсомольца. Отсутствовал и секретарь.

«Может быть, он соберет молодежь отдельно и поделится с ней своими впечатлениями?» думали председатель колхоза Егоров и депутат Верховного Совета Сидоров.

Но секретарь не сказал комсомольцам ни слова о встрече с академиком. На вопросы товарищей: «Что хорошего в Москве?» он отвечал:

— В Тимирязевской академии нас угостили знаменитым обедом... Вечером в кино «Ударник» смотрели мировую картину... забыл, как называется.

Вот все, что «потрясло» секретаря настасьинской комсомольской организации — Ивана Широкова.

В колхозе долгое время не было хорошего культработника. Ценные книги большой колхозной библиотеки разбазаривались, куда попало. Их выдавали без записи и никогда не требовали обратно.

Беседы и громкие читки в колхозе почти не проводились. Кружки, организованные в первые годы существования колхоза, распались.

И тогда правление колхоза обратилось в комсомольскую организацию.

— Бороться за культуру — ваша святая обязанность. Вы можете выделить из своей среды избача и руководителей кружков. Привлечь культурных работников со стороны невозможно.

Комсомольцы выслушали и не ударили палец о палец. Правлению пришлось пойти на жертву: оно назначило избачом и библиотекарем Георгия Степановича Егорова, который работал в колхозе овощеводом бессменно восемь лет. Под его наблюдением были парники, сад, ягодник и огород — главные статьи колхозного дохода.

Весенние заморозки, градовые тучи, ветры, зной — все эти стихии каждый год угрожали нанести поражение колхозу. Георгий Степанович всегда был готов к встрече с надвигавшейся опасностью. Он был предусмотрителен и заботлив. Во-время закрытые соломенными матами парниковые рамы спасали рассаду от мороза и града, во-время прополотые, прорыхленные и политые гряды не боялись ветров и зноя.

Оторвать такого человека от своей работы и посадить на другое место заставила тревога за культурный фронт.

«Что же делать, если комсомольцы не хотят выручить нас? — думал председатель.—Приходится выходить из затруднительного положения самим. Для огорода скорее можно найти специалиста, чем для клубов».

В марте 1938 года овощевод, огородник Георгий Егоров стал культурником. Большая работа предстояла ему. Он начал ее с внешнего благоустройства помещения: побелил стены, заказал рамы для портретов вождей, купил в Москве стулья и диваны, развесил по стенам красочные плакаты, а на окна— шторы. Когда в помещении стало чисто и уютно, Георгий Степанович стал вести борьбу с курением и щелканьем семечек.

До Егорова шкафы с книгами не открывались месяцами. Он ввел ежедневную выдачу книг взрослым и детям. Чтобы приохотить людей к хорошей книге, Георгий Степанович начинал читать ее вслух.

— Ой, какая интересная, — говорили слушатели и наперебой просили:

— Дайте эту книгу мне!

— Нет, мне!

Пожилые колхозники и колхозницы, приходя в клуб, удивленно качали головами:

— Гляди, как тут стало хорошо.

— Заботливый человек везде наведет красоту.

— В клубе-то любота, а вот что-то соберем с огородов? Новый-то огородник не больно ретив.

И вот, совсем неожиданно, пришла беда.

В жаркий майский полдень неподалеку от Настасьина собралась грозовая туча. Золотые иглы молний прошивали сверху донизу темную завесу. Удары грома с каждой минутой становились все страшнее. Первые корявые градинки казались испуганными и упавшими не на свое место, но те, что спешили за ними, как будто подбодрили их, и вот сплошной белой гудящей стеною ринулся град. Он разбивал вдребезги ничем не прикрытые парниковые рамы, он кромсал в клочья рассаду цветной капусты, лука, помидоров, огурцов.

В это время культурник Георгий Степанович Егоров возвращался пешком со станции. Он первым подбежал к парникам и застыл от ужаса. Перед ним были осколки стекла и черная земля вместо рассады. Вскоре сюда сбежался весь колхоз. Пришел и проснувшийся после обеденного отдыха новый огородник. Женщины плакали и ругались:

— Вот... вот... Мы знали, что будет это самое... Егора Степаныча поса-

дили в клуб... Вот теперь и получайте прибыль с огорода.

Прислушиваясь к спору колхозников, председатель думал:

«Вы не называете главных виновников, вы даже не подозреваете о них, но я-то их знаю...»

Первопричиной несчастья председатель считал свою комсомольскую организацию, не принявшую на себя заботы о культурной работе в колхозе.

Конец июля. Тишина. Зной. На небе кучевые облака, готовые в любую минуту собраться в тучу и прервать спешную работу.

Настасьинцы возят сено с «болота», расположенного в десяти километрах от колхоза. Косцы (мужчины) и подгребальщики (школьники и девушки) уехали на «болото» три недели назад и не заявятся домой, пока не будет скошена и просушена последняя былинка.

Сено возят в колхоз подростки. Здесь его нужно сметать в красивые, высокие, остроконечные стога. Этим заняты колхозницы. Вот у одного стога возятся две женщины: одной на вид под пятьдесят, другая старше лет на десять. Та, что помоложе, кидает сено на стог железными вилами, насаженными на длинный черенок, старшая стоит на стогу и принимает большие душистые охапки. По мере того, как стог увеличивается в росте, его края все больше суживаются. Старухе грозит опасность — свалиться. Обе — и та, что на возу, и та, что на стогу, — промокли до нитки от пота.

Из деревни доносится гармошка. Парни поют песню. Старухи вспоминают, что на фабрике сегодня выходной день. Молодежь гуляет. На парнях белые апашки, разглаженные брюки, модные клетчатые кепки.

— Алена, а ведь с гармонью-то, кажись, ваш Ленька, — говорит подавальщица.

Алена прикладывает ладонь ко лбу, глядит.

— Верно, он.

Она машет рукой парням.

— Подойдите к старушкам!

Парни сворачивают с дороги, подходят к стогу. Их восемь человек. Они, как инспектора, оглядывают со всех сторон работу старух и, снисходительно улыбаясь, выносят одобрение.

— Нам от вашей похвальбы легче не станет. У вас силы побольше нашего... Вот и пособите.

На лицах парней ухмылки.

— Мы в чистых рубашках.

— Да ведь сено-то не грязное.

— Нет, уж не стоит маратьcя... Вам оно по привычке... Пошли, ребята, в овраг.

Снова звенит гармошка.

Много жалоб пришлось выслушать мне от старых настасьинских женщин на своих детей и внуков.

Никто не научил молодых настасьинцев правильному, коммунистическому отношению к своим старшим товарищам по труду и жизни.

Комсомолец Григорий Журин работал письмоносцем. Он получал в год триста трудодней и триста шестьдесят рублей деньгами. На почте ему выдали форменную фуражку. Белокурый письмоносец носил ее с наклоном в левую сторону. За корреспонденцией в Дмитров он ездил на велосипеде. И вот все это: форменная фуражка, велосипед, почтовая сумка, русые кудри и голубые глаза создавали впечатление, что Григорий культурный парень и может быть интересным собеседником

Однажды, показывая на газеты, которые он держал в руках, я спросил:

— Читаешь?

Вместо ответа письмоносец сначала дико захохотал, потом, смахивая слезы с длинных ресниц, сказал, неестественно растягивая звуки:

— Чи-та-ю... Вот написано «Прав-да»... А вот «Из-вес-ти-я»...

— Значит, ты читаешь только названия газет?

— Угу.

— Но ведь в газете самое интересное не название, а то, что под названием... Неужели тебе не хочется знать, что происходит в мире?

— А что там делается? — с той же развязностью продолжал Журин, — каждый день одно и то же... Ничего интересного...

Через минуту, как бы испугавшись своей откровенности, он спросил:

— А когда мне читать-то?.. Мне и читать-то некогда.

Летними вечерами настасьинская молодежь бродит по улице с гармонью и поет песни. Парней и девушек сопровождают дети. Улица в деревне короткая. До часу ночи ее успевают пройти в оба конца раз десять. Под гармонь поют песни, которые слышали по радио, но ни одной песни не допевают до конца. После полуночи на улице остаются только одиночки. У них свой репертуар. Они поют песни, которые называются «стыдными». Самый рьяный исполнитель таких песен—Григорий Журин. Он их не поет, а выкрикивает. И делает это с таким усердием, будто он задался целью — разбудить всех колхозников, уставших от дневных трудов. Он начинает «песню» на высоких нотах, быстро срывается, хрипит, начинает снова, кашляет и тянет дальше, отчетливо произнося нецензурные слова.

В последний мой приезд в Настасьино я узнал, что Журин бросил работу письмоносца и поступил на соседнюю текстильную фабрику чернорабочим.

Председатель колхоза неоднократно заводил со мною беседу о молодежи.

— Я уверен, что все это неплохие ребята, — говорил он, — но у нас нет такого человека, который бы расшевелил их, привил им вкус к культуре и знаниям.

Председателю 45 лет. Он родился в большой, бедной семье и не имел возможности окончить даже сельскую школу. Но, с детства работая в людях, он всегда тянулся к книгам. Пробовал писать стихи. И теперь, загруженный работой, он успевает следить за новинками русской и иностранной литературы. Его заветная мечта — стать народным учителем.

Я посоветовал председателю поставить вопрос о детях и молодежи на общем колхозном собрании.

— А ведь это идея, — обрадовался он. — Мы позовем на это собрание учителей, представителей районо и райкома комсомола.

Через несколько дней, в праздник, колхозникам объявили, что бы они шли на собрание в клуб. Из Дмитрова приехали заврайоно и библиотекарша. Райком комсомола не удосужился прислать хотя бы одного представителя. Мне было дано слово для вступительного доклада. Я рассказал о всех своих наблюдениях за длительное пребывание в Настасьине.

— Как это могло случиться, что один из лучших колхозов Советской страны допустил такой большой прорыв в деле воспитания молодежи? Давайте поговорим, кто в этом виноват и что нужно сделать, чтобы передовики сельского хозяйства были образцом во всех других отношениях, — сказал я, заканчивая доклад.

Первым выступил председатель колхоза. Он говорил о том, что наше правительство не жалеет затрат на школы, детские театры, дворцы пионеров, детские санатории, технические станции, библиотеки, детские сады, ясли.

— А теперь давайте спросим себя: при громадном внимании к детям партии и правительства, что делаем мы сами для наших детей? Говорим ли мы о воспитании детей на общих собраниях, беспокоимся ли мы о нашей молодежи так же, как о яблонях, пчелах, пшенице? Будем откровенны и скажем: нет. Мы участники выставки. О нас написано не меньше десяти книг. В каждой рассказано о наших победах в сельском хозяйстве. Победы, действительно, огромны. Мы не имели ничего. Теперь имеем все. Но мы увлеклись одним фронтом и забыли о другом. У нас рекордные урожаи, прекрасные породистые свиньи, коровы, куры — и в то же время совершенно недостаточная культурно-воспитательная работа среди колхозников, отсутствует пропаганда социалистической культуры среди молодежи. Очень плохо обстоит у нас в колхозе дело с воспитанием детей. Почему так случилось? Да потому, что на детей мы не обращали никакого внимания. Они у нас росли сами по себе.

Нам могут сказать:

«Что вы плачетесь? У вас сильная комсомольская организация — пусть она и ведет работу с детьми». На это придется ответить: «Да, в комсомольской организации у нас тридцать человек, но в том-то иной раз и беда, что наши дети берут пример с комсомольцев. А что это за пример, можете судить сами. В выходной день комсомольцы идут в овраг и приглашают с собой детей. Оттуда они посылают их за водкой: «Сбегайте, ребятишки, в винный ларек, вы маленькие, вам никто ничего не скажет, а нам неудобно: мы комсомольцы... Труды ваши не пропадут: дадим хлебнуть... Пустую посуду тоже возьмете себе...» Кто задает тон таким безобразиям? Секретарь комсомольской организации Иван Широков. Он даже не явился на сегодняшнее собрание. Вероятно, предчувствовал, что о нем будет разговор. Хотя его не прошибешь никакими разговорами. Удивительнее всего, что райком комсомола смотрит на все это сквозь пальцы. В райкоме знали о нашем сегодняшнем, очень важном, собрании, и отнеслись к нему наплевательски.

О разлагающем влиянии Широкова рассказал на этом собрании и учитель Гусев.

— Как-то я проходил по улице. Широков, увидев меня, подзывает к себе детей, вынимает портсигар и насмешливо выкрикивает: «Закуривай, ребята». — «Зачем ты их совращаешь?» — спросил я у Широкова. Он в ответ засмеялся. — «А что же они, святые, что ли?»

В последний приезд в Настасьино я познакомился с новым секретарем комсомольской организации — Василием Графовым. Ему 16 лет. Он учится в восьмом классе вечерней дмитровской школы взрослых, куда каждый день ходит пешком. От его дома до школы пять километров.

— Когда меня выбирали, — говорит он, — я уверял общее собрание, что не смогу работать, потому что только в 12 часов ночи возвращаюсь из школы. А ведь почти вся работа в комсомоле вечерняя. На мои слова не обратили внимания, меня выбрали, а теперь говорят: «При новом секретаре комсомольская организация расшаталась еще больше».

— У нас нет дисциплины, — признается секретарь, — а как её наладить, я не знаю. Ни угрозы, ни уговоры на комсомольцев не действуют. Нам совершенно не помогает райком. Вот сейчас у нас нет политучебы, хотя я почти ежедневно захожу в райком и прошу: «Прикрепите к нам пропагандиста...» Плохо мы работаем еще и потому, что неразвиты... Себя я чувствую очень слабым.

Он развернул тонкую папку, в которой подшиты все комсомольские дела: несколько инструкций райкома, два-три заявления о приеме в организацию и пять-шесть протоколов. Некоторые протоколы еще не переписаны набело.

— Все некогда.

Вот протокол № 2. Он очень короток. На собрании был поставлен вопрос о комсомолке Зинаиде Рыкуновой. Эта девушка любит устраивать «домовники», то-есть вечеринки, как раз в те дни, когда дома нет ни отца, ни матери. Оставаясь хозяйкой по дому, она созывает подруг. Они покупают в складчину конфет, пряников, орехов, вина. В гости приглашают парней из соседних деревень. Это они делают в отместку своим ребятам, которые с ними не гуляют. Неприглашенные вламываются на вечеринку силой, для смелости предварительно выпивают. Они входят в дом как обиженные и сразу начинают громить гостей. На одном из таких «домовников» настасьинскому парню Мокееву разрезали ножом руку.

На комсомольском собрании, созванном по этому случаю, Рыкуновой несколько раз задавали вопрос:

— Зачем ты устраиваешь «домовники»?

Вопрос остался без ответа. Общее собрание постановило: созвать вторичное собрание, на которое пригласить представителя райкома.

И вот через две недели пишется протокол № 3. К чему он сводится?

Слушали: «О Рыкуновой Зинаиде».

Постановили: «Дать Рыкуновой предупреждение».

Прерываю чтение протоколов вопросом секретарю:

— Боретесь ли вы с выпивками?

Он отвечает чистосердечно:

— Нет. С этим очень трудно бороться. И хотя бы кто-нибудь и поставил этот вопрос на общем собрании, остальные все равно промолчали бы. Наши комсомольцы на собраниях только слушают. Говорит кто-нибудь один, самое большее — два человека.

В протоколе № 5 записан план работ на очередной месяц: три беседы о международном положении, три занятия по истории партии, семь репетиций драмкружка, четыре занятия кружка ПВХО, пять читок художественной литературы, три беседы на тему: «Политинформация по СССР», один спектакль и стенгазета.

Из этой программы не сорваны только занятия кружка ПВХО под руководством инструктора-комсомольца, рабочего соседней фабрики, и читка художественной литературы, проводимая библиотекарем Егоровым.

— Остальная программа осталась на бумаге, — со вздохом сказал секретарь, — нужно прямо сказать: из того, что мы намечаем, проводится в жизнь одна двадцатая, не больше...

Одно из общих комсомольских собраний было посвящено «поведению молодежи в клубе». Этот вопрос был подсказан комсомольцам библиотекарем Егоровым.

В протоколе записано: «Воспретить в клубе курение, грызение семечек и неприличную ругань».

— Это постановление было в силе не дольше двух недель, — говорит Вася Графов.

Первыми его нарушителями оказались сами комсомольцы. По этому случаю во втором номере стенгазеты «Колхозник» была помещена такая заметка: «В избе-читальне попрежнему творятся безобразия Было постановление: «В избе-читальне не курить». И даже висит объявление, но молодежь продолжает нарушать внутренний распорядок. А комсомольцы вместо того, чтобы поддерживать порядок, зачастую сами его грубо нарушают. Вот, например, Морозов С. Е. — комсомолец, взрослый парень, но он еще не научился,

как нужно вести себя в общественном месте. На неоднократные замечания товарищей, что в читальне не курят, он отвечает отборной руганью, не стесняясь присутствием детей и женщин, и продолжая курить. Так же и товарищ Зиновьев С. И. — тоже комсомолец, а ведет себя, как отъявленный хулиган, активный участник драк».

Заметка иллюстрирована. Рисунок сделан цветными карандашами и изображает молодого человека с взъерошенными волосами, с трубкою во рту и с поднятой дубинкой в левой руке.

Спрашиваю у секретаря, подействовала ли эта заметка?

— Нет.

Кто же курит в читальне, кроме Морозова и Зиновьева?

— Сам избач Костылев, а за ним все остальные.

Когда Г. С. Егоров попросил освободить его от заведывания избой-читальней, чтобы больше внимания уделять библиотеке, комсомольская организация выдвинула на эту должность Костылева.

Я был в читальне при Георгии Егорове и теперь. Тогда читальня радовала чистотой и уютом. Теперь в ней — сваленные в кучу стулья, разбросанные по полу костяшки домино, обрывки бумаги, окурки — полнейший хаос.

Пожилые колхозники, которые охотно посещали читальню при Егорове, теперь ходят только в библиотеку, которая помещается рядом с читальней.

Местный агроном высказал такую мысль:

— Правильнее будет назвать нашу читальню «игральней», потому что в ней никто ничего не читает, а только играют в биллиард, в домино, шашки, шахматы. Те, которые не заняты игрой ждут своей очереди.

Этот агроном заведует избой-лабораторией, к которой молодежь относится с полнейшим равнодушием.

Старики, жалующиеся на настасьинскую молодежь, с удовлетворением вспоминают о том времени, когда Василий Сидоров и Георгий Егоров были комсомольцами. Они работали в шорной артели, вдали от своей деревни, но каждое воскресенье бежали домой, в Настасьино. Там у них было много друзей-ровесников. Они организовали драмкружок и не менее двух раз в месяц ставили спектакли в школе. Артисты сами выносили на двор парты, устраивали сцену, а после спектакля мыли полы и водворяли порядок в классах. Только в три или четыре часа ночи драмкружковцы могли, наконец, присесть и отдохнуть. Их глаза горели задором. Они знали, что делают большое, полезное дело. На их спектакли народ валил валом, за доставленное удовольствие их благодарили отцы и матери.

Оторванные от родной деревни, они тянулись к ней, интересовались сельским хозяйством, выписывали газеты и агрономические журналы, организовали сельскохозяйственный кружок. Сначала в нем было восемь человек: Иван и Георгий Егоровы, Иван и Петр Черкасовы, Василий Сидоров, Матвей Щенников, Георгий и Евлампий Мокеевы. Это были передовые молодые люди, которые вели за собой всю деревню и были инициаторами организации колхоза, в котором Василий Сидоров согласился вести счетоводство.

На одном из колхозных собраний, уже в 1935 году, Василий Семенович говорил:

«Работая несколько лет колхозным счетоводом, я не переставал изучать наши поля. Цифры, с которыми я имел дело, говорили мне о многом. За ними я видел старание и беспечность людей. Я записывал все: и количество удобрения по бригадам, и качество работы, и результаты от всего этого. Для меня стало ясно: «меньше даешь земле — меньше получаешь от нее, хлеб по хлебу сеять — ни молотить, ни веять.

Люби землю — и она полюбит тебя. Скупую землю-мачеху можно превратить в щедрую, родную мать».

Настасьинцы до революции влачили жалкое существование, колхоз дал нам возможность выйти на широкую дорогу. Мы стали сыты, обуты, одеты, культурны. Кто наделил нас этим счастьем? Обобществленная земля, к которой мы приложили не только старательные руки и науку, но, самое главное, любящую душу».

Любящая душа — вот секрет успеха во всяком деле. Нельзя быть хорошим земледельцем, врачом, учителем, инженером, агрономом, артистом, писателем, когда не любишь своего дела. Всякое дело без любви к труду мертво.

Любовь Сидорова к земле в союзе с наукой сотворила чудо: он стал собирать урожаи в 250 пудов с гектара вместо 30 пудов.

Жизнь — это постоянное горение, постоянная пытливость, непреодолимое желание раздвинуть свой умственный горизонт, быть гражданином великой родины, а не скучным обывателем малюсенькой деревеньки.

Всякое звание, которое дается человеку, должно быть оправдано деятельностью этого человека. Архитектор, который за всю свою жизнь не выстроил ни одного дома, не имеет права называться архитектором, тот, кто не написал ни одной книги, не смеет называться писателем.

Комсомол — не есть механическое, случайное объединение советских юношей и девушек. Это — коммунистический союз молодежи. Коммунистический. А что же коммунистического в «домовниках», выпивках, драках, в бесконечном лущении семечек, в неприличных песнях, в безразличии к общественной и культурной работе?

Бывает, что здоровый организм временно поражается болезнью. Внимательный уход, лечение, благоприятная обстановка возвращают организму здоровье, силы, жизнедеятельность.

Орденоносец Иван Степанович Егоров, один из организаторов колхоза «Победа», считает настасьинскую комсомольскую организацию таким больным организмом.

— Болезнь нашей комсомольской организации запущена, — говорит он, — нельзя сказать, что неизлечима. Излечить ее можно. Таких комсомольцев, как наши, в Советском Союзе в настоящее время уже немного, и с каждым годом их будет все меньше. И у нас здоровье восторжествует над болезнью.

Почему наша настасьинская молодежь в настоящее время так пассивна? Да потому, что она предоставлена самой себе. Ее никто не направляет по нужному пути, никто не организует, никто ничем не может заинтересовать.

В каждом колхозе должен быть организатор, вдохновитель, толкач, собиратель и объединитель всех культурных и молодежных кадров. Тогда комсомольцы не будут вариться в собственной скуке, не будут справлять домовники и в миллионный раз повторять надоевшие всем «страданья».

К высказываниям колхозника-орденоносца хочется добавить несколько слов от себя.

Руководящим организациям необходимо обратить внимание на один участок работы, который был в загоне все время.

Колхозам нужны клубные руководители. Для их подготовки должны быть созданы специальные курсы и техникумы. В штате культурных кадров каждого колхоза, наряду с учителями, врачами, агрономами, непременно должны быть руководители всеми культурно-массовыми мероприятиями. В настоящее время их нет даже в крупных районных центрах.

Я заметил, что настасьинская молодежь охотно слушает, когда ей рассказывают или читают что-нибудь интересное. Больше всего она любит сказки, рассказы о гражданской войне, приключения, все комическое. Однажды целый вечер я читал комсомольцам басни Крылова, и они слушали их с жадно открытыми глазами, как яркую, интересную новинку. В другой раз с неменьшим вниманием они просидели несколько часов на зеленой лужайке, слушая поэму Лермонтова, и были очень растроганы «Песнью про купца Калашникова».

Завидев меня, они начинали просить:

— Расскажите что-нибудь!

Я почти всегда охотно подходил к ребятам. Прежде чем приступить к рассказыванию, я несколько минут уделял ознакомлению с новостями их жизни. Приходилось касаться выпивки, курения, ругани, неприличных надписей на стенах и заборах, азартных денежных игр в «стенку» и в «вышибалку». И я заметил, что мои беседы постепенно стали изменять поведение молодежи к лучшему. «Надписи» на заборах повсюду были стерты. Рассказывая о чем-либо, парни стали следить за тем, чтобы в рассказ не вставлялись без всякой надобности нецензурные словечки. Девушки старались записать побольше песен. Меня стали просить найти интересную пьесу. Когда пьеса была найдена, приступили к репетициям.

Такая податливость молодежи ко всему хорошему заставила меня призадуматься.

Почему же все-таки эти парни и девушки стоят в стороне от культурно-воспитательной работы.

Мне кажется, это происходит оттого, что настасьинской молодежью никто не руководит, молодежь предоставлена самой себе, и в этом, по-моему, — корень зла.

И. Мошляк
Капитан, Герой Советского Союза

СТАЛЬ ОСОБОГО СПЛАВА

Как-то среди моих молодых друзей, которым я рассказывал о штурме Заозерной, меня спросили, проявлял ли кто-нибудь из бойцов страх и растерянность в бою?

— Нет, — сказал я, — по-моему, таких не было. Не могу припомнить...

Пусть это не покажется преувеличением, — я просто очень уверен в силе нашего армейского коллектива. Наверное, были и на Хасане бойцы, которые растерялись ненадолго в первые часы боя. Но они не подали вида и взяли себя в руки, оглянувшись на соседей. А потом вдохновение штурма захватило их, они забыли о страхе, как раненые забывали о боли, и вместе со всеми поднялись на вершину сопки уже героями.

Наш советский героизм — явление массовое.

И в стане врагов есть, конечно, смельчаки, люди дерзкой отваги и большого упорства. Отрицать это — значило бы умалять славу бесчисленных побед Красной армии. Однако природа советского мужества совсем иная. Это, если можно так выразиться, сталь особого сплава.

Подготовка к боевому подвигу совершается исподволь, в самых будничных условиях армейской жизни. Поэтому рассказ о любом бойце, прославившемся у озера Хасан, надо начинать обязательно издалека, с того, как он, приобретая военную выучку, участвовал в каких-нибудь инспекторских стрельбах или добивался первенства по метанию диска.

Я вспоминаю, например, о том, как много трудов положено было в свое время на воспитание снайперов. Нужно было привить им особую точность движений, быстроту реакции. Подолгу отрабатывался, отшлифовывался каждый прием. Один будущий снайпер получал задание раз за разом спускать курок не мигая. Другой приучался к плавности спуска. Третий изучал технику маскировки. Механизм отличной стрельбы был как бы разобран на части, на отдельные винтики, рычажки, и каждая часть зачищалась до блеска.

Потом в назначенный срок наступили инспекторские стрельбы.

Желая поднять настроение своего взвода, я пошел стрелять первым. Получил оценку «отлично». Следом за собой я поставил наилучших стрелков, которые также выполнили задание на «отлично». Это ободрило менее уверенных в себе товарищей и принесло победу всему взводу. Он вышел на первое место.

Вскоре у озера Хасан я имел возможность наблюдать результаты своих уроков.

3 августа нас, лежащих на скате Пулеметной, стала донимать одна

японская пушка. Я приказал сверхсрочникам Корнееву и Русских обнаружить замаскированную пушку и уничтожить артиллеристов. Снайперы тотчас приникли к своим оптическим прицелам. Два выстрела! Еще два! Тишина... Японская пушка перестала нас беспокоить. Спустя минуту мы заметили, что в четырехстах метрах в зарослях идут гуськом шесть японцев. Корнеев и Русских разом вскинули винтовки. Передний и задний японцы упали. Оставшиеся заметались, как мыши в западне. Куда бежать? Вперед? Назад? Двойной выстрел! Упали второй и пятый японцы. Еще двойной выстрел! Группа была уничтожена в течение нескольких секунд. По одному патрону на врага — больше снайперу тратить не положено.

В частях 1-й Приморской армии огромное внимание уделялось физической подготовке бойца. Спорт, регулярные занятия гимнастикой прочно вошли в быт. А в казарме моего подразделения турник был поставлен тут же неподалеку от коек. После беседы или теоретического урока я обязательно подходил к турнику и замечал как бы невзначай: «Что ж, разве поразмяться немного?» Потом делал несколько упражнений. Всегда находились подражатели, и с каждым разом их становилось больше.

Вскоре при мне один из моих снайперов сказал другому бойцу с гордостью: «О, в нашей команде все делают скобку на турнике. А у вас?»

Бои у озера Хасан показали, насколько наши бойцы выносливее, подвижнее, спортивнее японских солдат. Я не говорю даже о штыковом ударе, сама возможность которого панически действовала на японцев. (Штыковой атакой русская армия, как известно, славится издавна). Во всем — в метании гранаты, в преодолении препятствий, в переползании (продвижение ползком с полной выкладкой, да еще скрытно от противника, — вещь очень трудная, требующая огромного запаса сил) — наши бойцы показали высокий спортивный класс.

Некоторым пришлось и побоксировать. Снайпер Медведев, например, прорывавшийся к своим, оказался во вражеском кольце безоружным. Все патроны и гранаты были израсходованы. Заметив это, на него бросился японец с обнаженной саблей. Медведев подпустил его на близкое расстояние и точно направленным ударом кулака свалил с ног. Путь был расчищен.

Замечательное самообладание, а также присущее настоящим спортсменам чувство времени обнаружил младший командир (сейчас лейтенант и Герой Советского Союза) Чернопятко.

Вместе с двумя другими пограничниками он защищал фланг окопа против сотни озверелых атакующих японцев. (Это было в последние дни июля 1938 года, когда один пограничник противостоял взводу японских гвардейцев, один наш пулемет — японской батарее, один наган — пулемету «гочкис».) Расстояние между сражающимися было таким незначительным, что гранаты взрывались не сразу, а через 2—3 секунды после падения.

«Шальная» японская граната упала на бруствер окопа совсем рядом с Чернопятко. Она зловеще шипела и дымилась. Чернопятко не растерялся. Он схватил гранату, обжигая пальцы, и с силой отшвырнул назад. Граната взорвалась среди японцев.

Чернопятко решил, что «лимоны» (японские гранаты имеют форму лимона) должны «дозревать» на обратном пути. Он принялся подбирать падающие вокруг японские гранаты и метать их в японцев. Делая это, он продолжал додумывать свою мысль: ведь и наши гранаты, брошенные на близкое расстояние взрывались не сразу; надо было поторопить их. Чернопятко стал делать так: отпускал рукоятку, взрывал капсюль, потом ждал. Он ждал 2—3 секунды с готовой вот-вот взорваться гранатой и только тогда бро-

сал ее. Действие такой гранаты было мгновенным.

Уловка с гранатами нанесла страшный урон японцам, которые, кстати сказать, так и не решились заимствовать у Чернопятко его опасный метод. Зато наши бойцы с жаром принялись ему подражать. Счет шел на секунды, и просчет грозил смертью.

Под конец Чернопятко получил возможность проверить, хорошо ли запомнили его самураи. К тому времени он остался в окопе один. Все гранаты вышли, и японцы уже обходили его с тыла. Он схватился за наган, но из нагана стрелять было нельзя. Дуло оказалось отбитым.

Тогда, поднявшись во весь рост и картинно размахнувшись, Чернопятко швырнул бесполезный наган в группу наползавших японцев. В предрассветных сумерках они приняли наган за гранату и покатились в разные стороны, пригибаясь к земле. Они знали, что этот человек «выдерживал» в своей руке гранаты до последнего момента и взрыв следовал сразу же за броском.

Вот пример холодного мужества и разносторонней богатой инициативы.

Я хочу развить эту мысль. Наш боец — это не деревянный солдатик, не тупой и забитый исполнитель приказа, лишенный способности самостоятельно рассуждать и действовать. Это — культурный, энергичный, думающий человек. Недаром сказано в Полевом уставе РККА: «Огромное значение имеет проявление частной инициативы подчиненных...» Эта особенность советского воина (резко отличающая его от солдат капиталистических стран) очень ярко проявилась во время боев за обладание Заозерной.

Конечно, при современном развитии военной техники уровень солдатской массы поднялся вообще. Теперешние танкисты, артиллеристы, снайперы, обычные стрелки по сравнению с солдатами относительно недавнего времени представляют из себя то же, что современные квалифицированные рабочие в сравнении со средневековыми ремесленниками. Несмотря на это, классовый принцип фашистских армий требует, чтобы солдат был только слепым орудием в руках офицера. Задача и план операции, задача его собственного подразделения зачастую не ясны солдату-манекену. Он только подставляет грудь под пули, думают за него другие.

В нашей Рабоче-Крестьянской Красной армии бойцу стараются возможно лучше разъяснить как общие, так и частные вопросы, связанные с предстоящим боем. План штурма Заозерной был доведен буквально до каждого бойца, командира, политработника. Поэтому они дрались осмысленно, расширяя, дополняя, развивая свою задачу по ходу боя и твердо зная, что цели надо добиться всеми возможными средствами.

Во время штурма Пулеметной младший командир Захаров, комсорг лучшей в полку комсомольской группы, прорвался вперед. Его отделение пробило брешь в японской обороне, но было тотчас зажато в кольцо. Если бы Захаров растерялся, подался назад, скомандовал отход — кучка бойцов была бы раздавлена. Однако младший командир хорошо знал Устав РККА и сумел прекрасно применить его в создавшейся опасной обстановке.

Статья 198-я Полевого устава гласит: «Если, несмотря на настойчивые и смелые действия, атака отбита, отделение должно закрепиться на достигнутом рубеже, используя окопы, воронки от снарядов и пр.» Именно так и поступил Захаров. Он приказал бойцам залечь в траве спинами друг к другу, используя все укрытия, и открыть самый интенсивный огонь из винтовок и ручного пулемета. Отделение Захарова превратилось как бы в огненного ежа. Бойцы не подпускали к себе японцев, стараясь выиграть время и зная, что помощь придет.

Ведь так и сказано в статье 198-й Полевого устава: «Каждая образовавшаяся брешь в обороне должна быть немедленно использована для развития удара в глубину. Командиры всех степеней обязаны устремиться в любую брешь, хотя бы это выводило их на новое направление, не соответствующее ранее намеченному... Смелость и дерзость дезорганизуют оборону и подрывают силу сопротивления противника. Дело старших командиров принять меры поддержки и развитие успеха прорвавшихся вперед отдельных подразделений».

И, действительно, старшие командиры немедленно приняли меры поддержки отделения Захарова. Было направлено подкрепление, которое углубило и расширило брешь в японской обороне и развило успех Захарова.

Второй пример проявления инициативы, особой военной изобретательности, относится к деятельности танкистов.

Нигде, ни в одном специальном руководстве, насколько мне известно, не было до сих пор упоминания о возможности спешенного боя танкистов. Это — нововведение наших хасановцев.

Штурмуя подступы к Заозерной, наши танки прорвали проволочные заграждения, сбили противотанковое орудие, подавили пулеметные гнезда противника. Далее условия боя изменились. Танки остановились, простреливая пространство впереди себя. Механики-водители оказались временно без работы. Тогда, прихватив с собой запасные пулеметы, они вышли наружу, приняли боевой порядок, залегли за камнями и в воронках от снарядов и открыли огонь, помогая своим артиллеристам и пулеметчикам. Барьер из танков и пехоты сдержал контратаки японцев.

Могучая внутренняя пружина, распрямляясь с каждым часом боя, толкала нас вперед и вперед. Это было очень сложное чувство. В нем были и ненависть против захватчиков и горячая сыновняя любовь к родине и Сталину, и ликующая гордость — нам оказано было высокое доверие.

Понятно, что при штурме самое опасное место впереди, в авангарде. Но какого советского патриота остановит опасность? Место в авангарде — почетно, о нем мечтают, его добиваются.

Когда танки двигались к подступам Заозерной, между танкистами разгорелось социалистическое соревнование на право первым вступить в бой. Объявлено было, что то подразделение, которое лучше других совершит марш (а двигаться пришлось по крайне неудобной, болотистой местности), в награду пойдет в атаку впереди всей части. И победители в соревновании первыми ринулись на врага.

Я вспоминаю, как мне пришлось останавливать своих бойцов, рвавшихся в атаку. Мы накоплялись в ложбине перед скатами сопки. Это было очень выгодной исходной позицией, так как пулеметный огонь японцев шел поверху, над головами. Но бойцов жгло нетерпение. «Вперед! — говорили они, смотря на меня умоляющими глазами. — Ну, вперед же, товарищ старший лейтенант!»

По диспозиции нашему батальону довелось атаковать, идя по самому берегу озера. Многие бойцы брели по грудь в воде, бережно неся над головами винтовки, гранаты, ручные пулеметы. Пулеметчик Попов завяз в болоте. Его сапоги засосала тина. Он не стал мешкать. Не до сапог было тут. Он вытащил ноги из этого неожиданного капкана, выскочил на берег и тотчас открыл ураганный пулеметный огонь по японцам, пытавшимся помешать переправе.

Я видел раненых, которые, забыв о боли, ползли следом за атакующими бойцами, надеясь принести еще пользу в бою. Я слышал, как спорил наш командир с лейтенантом Деревиным. У того были перебиты обе ноги, но он ни за что не хотел уходить от пулемета. «Руки у меня здоровые»,

отвечал он на все уговоры и продолжал поливать врага свинцом.

Со слов лейтенанта Чернопятко я знаю также о простодушной просьбе пограничника Валова.

Валов был ранен в ногу и не мог передвигаться без чужой помощи. Пробегая мимо него вверх по склону к тому месту, где шел ожесточенный бой, Чернопятко, израсходовавший все гранаты, нагнулся, чтобы взять винтовку раненого.

— Не отдам, извините, товарищ командир, — сказал вдруг Валов, глядя снизу вверх на Чернопятко и сжимая крепче винтовку. — Не могу. Мне она самому нужна.

— Вы ж ранены, — удивился Чернопятко. — Вам не подняться наверх.

Валов сказал просительно:

— А вы донесите меня, товарищ командир. Тут недалеко, до гребня только. Там уж я сам. Стрелять-то я еще могу...

Для счастья родины бойцы не щадили своей жизни, но, отдавая ее, отдавали по самой дорогой цене.

Младший командир комсомолец Зырянов двигался через овраг и наткнулся на группу японцев. Он вынужден был принять бой и бросился с шашкой на врага. Мы не знаем подробностей неравного боя, но, видно по всему, он был жестоким.

Спустя некоторое время этот участок был занят нашими частями. Много трупов лежало на дне оврага. Десять японцев, зарубленных Зыряновым, в разных позах валялись вокруг него, а сам он, буквально изрешеченный пулями, лежал ничком на трупе одиннадцатого убитого им врага.

Личное существование патриота как бы растворялось в огромной жизни народа, который бессмертен. Поэтому так просты и величественны были предсмертные слова бойцов, умиравших за счастье и славу своего народа.

Вот отрывок из дневника, обагренного кровью его владельца. Пуля пробила комсомольский билет младшего командира Абраменко и вошла в сердце. Абраменко писал торопливо, волнуясь:

«Сегодня атака. Хоть бы поскорее. Надо окончательно проучить японских мерзавцев. Ой, как свистят пули! Совсем недалеко разорвался вражеский снаряд. Меня засыпало песком. И все же мне не страшно. Не страшно умереть за родину и Сталина — отца и друга молодежи. Вот снова над моим окопом завизжали пули, срывая на бруствере песок и глину. Стреляйте, палите, чорт с вами! Нас не запугаете. Мне почему-то хочется запеть про этот бой, про озеро Хасан. Такой песни еще нет. А что, если ее сочинить самому? Говорят, когда есть настроение, то стихи пишутся легко. Попробую...»

Дневник не окончен. Стихи о Хасане и об одном из героев Хасана, комсомольце Абраменко, напишут другие.

Лейтенант Савкин, тоже комсомолец, был смертельно ранен уже на вершине сопки. Он сказал санитарам, которые несли его на перевязочный пункт:

— Я так доволен, что моя рота вышла на высоту Заозерную. Передайте, чтобы рота крепко стояла на защите Заозерной...

С этими словами он умер.

Презрение к жизни? Отнюдь нет. Никогда жизнь не кажется такой заманчивой, удивительно яркой и прекрасной, как во время боя. Именно это-то и придает силы, вдохновляет, бодрит. Бой за социалистическую родину есть наиболее яркое и прекрасное проявление жизни советского патриота!

Личное и общественное связаны в груди прочным узлом.

В горячие хасановские дни я стал отцом. Через несколько часов после того, как я отправил жену в больницу, меня вызвали в часть и я, как секретарь партбюро полка, с передовым отрядом выступил на позиции. Ребенок родился 1 августа, когда я лежал в окопе. Об этом, конечно, я узнал значительно позже, уже в госпитале, куда приехала ко мне жена с сыном. Но

мысль о ней и ребенке, — я не знал тогда еще сын это или дочь, — не покидала меня. Становилось теплее на сердце, я чувствовал прилив энергии, мне хотелось сражаться и победить, чтобы счастье моей родины, счастье моей семьи было безоблачным.

Прислушиваясь к неумолкающей канонаде, я вспоминал и о своем брате. Он артиллерист, вместе со своей частью участвовал в боях у озера Хасан и как бы расчищал передо мной, перед нами, пехотинцами, путь к сопке.

Приятно было в такой момент ощущать верную братскую поддержку!

Класс против класса, сплоченный народ против военных авантюристов! — вот как в конечном счете выглядела битва у Заозерной.

Два тезиса противостояли друг другу: циничное откровение короля Фридриха Прусского, божка немецких фашистов, и твердое, уверенное заявление Владимира Ильича Ленина. Фридрих сказал: «Если бы наши солдаты понимали из-за чего мы воюем, то нельзя было бы вести ни одной войны». Спустя полтора века Ленин ответил на это: «Мы создали армию, которая впервые в истории знает, за что она борется».

Удивительно ли, что тезис Ленина победил?!

Общеизвестно теперь, что японские офицеры подогревали «патриотизм» своих солдат водкой. Готовясь к нападению на нас, японцы перебросили в район Хасана свои отборные части, а именно — 19-ю императорскую гвардейскую дивизию. И все же они не были уверены до конца в своих гвардейцах, даже напоенных допьяна.

Мы видели атакующих японцев. Солдаты шли цепью, держась за руки. Это напоминало игру в кошки-мышки. Зато при таком «боевом порядке» никто не мог дезертировать. Сзади шагал офицер с обнаженным клинком.

Японские окопы строятся в виде буквы «Т». В широкой части, обращенной к противнику, располагаются солдаты, в узкой, у ствола, сидит офицер. Выход из окопа, таким образом, заперт наглухо.

Взаимное недоверие и неприязнь между командирами и бойцами составляют роковую слабость японской армии, как, впрочем, и всех остальных фашистских армий. Не помогает и цветистое красноречие японских «политработников». Напрасно хвастливые самураи, захватив на несколько дней Заозерную, торопливо переименовали ее в Гору справедливости и храбрости. В том-то и всепобеждающая сила Красной армии, ее командиров и бойцов, что им не надо разъединять эти два понятия — справедливость и храбрость. Они храбры, потому что справедливы, потому что защищают справедливое дело, счастье свое и своего народа, будущее всего человечества.

Мы знали, что победим на Заозерной. Уверенность в конечном триумфе не покидала нас от подступов до вершины сопки, и с каждым шагом вперед эта уверенность росла. Верить в победу — обязательно для того, чтобы победить.

Поэтому мы готовились к решительному штурму, как к празднику. Это и вправду был праздник —юбилей Дальневосточного фронта, день 6 августа.

Лица у всех бойцов и командиров были торжественны, как перед парадом. Между рядами бойцов (мы находились за укрытиями) важно расхаживали с сознанием собственной значительности ротные парикмахеры. Винтовки их висели на ремне (неровен час, горн протрубит тревогу), в руках были бритвы и кисточки. Все побрились, одели чистые воротнички.

Накануне были проведены митинги, партийные собрания. Каждый знал, за что и как будет драться. Заключались договоры на социалистическое соревнование. Кто выйдет первым на вершину сопки и водрузит красный флаг? Бойцы запасались красной материей и старательно выстругивали древки для флагов.

В положенный час в синем небе показались самолеты. Они первыми атаковали японцев, и через минуту вершину Заозерной, которую японцы успели превратить в настоящую крепость, заволокло черной тучей. Грохот разрывов прозвучал для нас музыкой...

— Ура авиации! — кричали нетерпеливые пехотинцы, размахивая касками и следя за все новыми и новыми приближающимися из-за горизонта эскадрильями.

— Ура Чкалову! Ура Громову!

Характерный факт: многие бойцы были уверены, что головные самолеты ведут прославленные герои полярного перелета, — так безукоризненно работала авиация и так велико было восхищение ее действиями.

Потом «к порядку дня 6 августа» взяли «слово» артиллеристы.

Все чаще поглядывали командиры на ручные часы. Приближалось время атаки.

Мы двинулись на штурм Заозерной.

Все предыдущие бои я работал на поле боя главным образом как секретарь партийной организации полка, то есть шел с передовой частью и старался, чтобы коммунисты и комсомольцы были всюду примером для беспартийных. Насколько это нам всем удалось, говорят две цифры: все коммунисты полка и половина всей комсомольской организации награждены сейчас орденами и медалями Союза.

И партийная и комсомольская организации не только закалялись в бою, но и численно росли. В дни решающих испытаний люди хотели быть поближе к партии и комсомолу, люди хотели покрепче связать себя с тем великим партийным делом, каким было возвращение советской сопки Заозерной. Так получилось, что за несколько часов штурма в моей полевой сумке скопилось 30 заявлений о приеме в партию.

У подступов к сопке был тяжело ранен командир нашего батальона, и по старшинству команду принял я. Нам удалось, преодолевая отчаянное сопротивление японцев, ворваться первыми по левому склону сопки на ее гребень. Знаменосец, бежавший рядом со мной, упал. Я подхватил знамя и понес его дальше.

«Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствует советский народ!», гремело вокруг. Я вонзил древко в землю на вершине сопки и тотчас кто-то хозяйственно привалил его камнем, чтобы знамя стояло крепко.

Говорят, на иностранных военных атташе производят большое впечатление могучие перекаты красноармейского «ура» во время парадов на Красной площади. Послушали бы они «ура» на отвоеванной сопке, когда бойцы, приближавшиеся к вершине со всех сторон, увидели там гордо реющее победоносное знамя!

Подбегая, бойцы выкрикивали восторженно: «Да здравствует Молотов! Ворошилов! Каганович!» Несколько минут длился такой импровизированный митинг восторга на вершине. Огромная радость искала выхода. Но, видя, что ликование затягивается, я, как командир батальона, начал беспокоиться. Японцы оправились и с удесятеренной яростью, вопя «банзай», карабкались на вершину. Рано было еще праздновать победу. Я крикнул бойцам: «Слушай мою команду!» и повернул их на контратакующих японцев.

Контратаки продолжались всю ночь, с очень короткими интервалами. Мало было отобрать Заозерную — надо было ее сохранить.

Страшный запах разложения стоял вокруг. Есть, я слышал, пословица: «Труп врага хорошо пахнет». Японцы пахли отвратительно. Вся сопка превратилась в братскую самурайскую могилу, и мы провели на этой развороченной горе трупов много часов, задыхаясь от смрада.

Наши гимнастерки превратились в лохмотья, кровь и копоть делали лица почти неузнаваемыми. Каску сбило у меня с головы осколком шрапнели, я

был ранен и вынужден был командовать боем сидя.

Ничто не располагало к поэзии, и все же, осмотревшись в интервале между боями, в минуту затишья, я был потрясен открывшейся передо мной картиной.

Вблизи меня, всюду, между скалами, в расселинах японских укреплений трепетали на ветре маленькие легкие красные флажки. Все они толпились вокруг большого красного знамени. Их установили бойцы, первыми ворвавшиеся на вершину сопки. Оранжевый круг луны висел очень низко над горизонтом на манчжурской стороне. В бледном лунном свете флажки колебались, меняли очертания.

Это с необычайной силой напомнило родину, первомайские или ноябрьские дни, когда все площади, улицы, крыши домов расцвечены алым, когда идут демонстранты с бантами, грохочет медь оркестров и звенит смех!

Может, потому я так запомнил эту волнующую картину, что она была последним впечатлением Хасана. Вскоре пришли подкрепления, и я получил приказ отправляться немедленно в тыл, в госпиталь.

Я твердо уверен, что побываю еще не в одном бою и с радостным волнением жду дня (число, месяц, год неизвестны), когда придет на мое имя новый приказ в запечатанном конверте.

Мы готовимся к новому триумфу советского оружия. Я, в частности, да и много других хасановцев — Героев Советского Союза — направлены в Академию РККА имени Фрунзе и стараюсь учиться так же добросовестно, как и воевал. Естественно поэтому закончить статью тем же, чем я ее и начал:

— К подвигу надо готовиться исподволь, постепенно и старательно, не щадя труда и усилий!

Ф. Муравина, К. Осипов

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие». Эти слова Пушкина с особенной силой звучат в наши дни, дни напряженного интереса к славному прошлому русского народа.

При этом особенный — и вполне законный — интерес проявляется к истории военных столкновений, к деяниям русской армии. А говоря о прошлом русской армии, нельзя не вспомнить в первую очередь того, кто был ее лучшим военачальником, кто показал всему свету, что, когда, вместо неспособных генералов, во главе русских солдат стоит достойный их командир, то эти солдаты непобедимы, нельзя не вспомнить Суворова.

Кавалер всех русских и множества иностранных орденов, обладатель высоких титулов, генералиссимус всех военных сил России, он приобрел все эти отличия вопреки яростному сопротивлению ненавидевшей его придворной камарильи. Величайшие полководцы эпохи отдавали должное его изумительному таланту. Английский адмирал Нельсон гордился, что его сравнили с Суворовым; маршал Массена заявил, что отдал бы все свои походы за один швейцарский поход русского героя; Моро признавал Суворова не менее великим, чем Наполеон; Байрон воспевал его в «Дон-Жуане».

Сто тридцать восемь лет прошло со времени смерти Суворова, но образ его дорог и близок советскому народу: каждый боец Красной армии, готовящийся к боям с фашизмом, с волнением думает о человеке, поднявшем на небывалую высоту русское военное искусство и показавшем полтора века назад образцы храбрости, стойкости и героизма. Каждый советский патриот сохраняет в памяти образ гениального сына русского народа.

Суворов прожил долгую жизнь: он умер 70 лет отроду. Если принять во внимание, что большую часть этого времени он провел в походах и боях, перенося всевозможные лишения, что он бывал многократно ранен, то нужно поражаться стойкости его организма. А между тем от рождения Суворов обладал очень слабым телосложением, и только спартанская тренировка да несокрушимая сила духа позволяли ему забывать об усталости и болезнях.

Наружность у Суворова была совсем не воинственная: небольшого роста, несколько сутуловатый, с выразительным, но морщинистым лицом, реденькими волосами, заплетенными в небольшую косичку.

Только пронзительный взгляд больших голубых глаз заставлял остановить внимание на этой невзрачной фигуре.

В каждой мелочи чувствовалась оригинальность и необычность этого человека. Он вставал до рассвета, в 9 часов утра уже обедал, спал на охапке свежего сена, не носил шубы, перчаток, сюртука, ел только простую пищу на самой простой посуде; не переносил зеркал. Он был прямолинеен до дерзости с равными и высшими и добродушно груб с низшими. У него был острый ум и острый язык, и он никого не щадил в своих сарказмах. Суворов был всегда быстр и порывист в движениях, очень подвижен и непоседлив. Ходил легкими скорыми шажками, немного вприпрыжку.

Его речь отличалась краткостью и иносказательностью.

— Пусть пушки не боятся лошадей, а лошади пушек, — говорил он адъютанту.

И тот догадывался, что речь идет о совместных маневрах кавалерии и артиллерии.

Суворова отличали честность и благородство. Он никогда не прибегал к обходным путям, не присваивал себе чужих заслуг, был отзывчив к попавшим в беду.

Характерной чертой Суворова была его

простота, подлинная демократичность, что сказывалось в его вкусах и привычках, в пренебрежении к богатству, в умении обращаться с крестьянами и солдатами. С этим связано и столь редкое в ту эпоху отсутствие корыстолюбия. Суворов знал цену деньгам, был очень бережлив, даже скуповат, но никогда не гнался за богатством.

Суворов, например, никогда не прибегал к «позаимствованиям» из имущества завоеванных им городов, хотя в то время это и было общепринятым. Материальная выгода никогда не была движущей силой его поступков. Он сражался, влекомый своим военным призванием и чувством долга и любви к родине. Суворов был пламенным и бескорыстным патриотом.

Для современников и последующих биографов всегда представляло загадку необычное поведение полководца. Разумеется, не могло не вызвать удивления постоянное шутовство, прибаутки, эксцентричность, сморкание на пол в гостиных, хождение в нижнем белье и т. п. Отчасти все это вытекало из личных свойств Суворова, и надо было обладать безграничной уверенностью в себе, чтобы хладнокровно игнорировать насмешки и пересуды «света». Отчасти же здесь был свой умысел: укрыться под личиной балагура и оригинала, дабы ослабить зависть придворных.

В царской России уже так повелось, что свободнее всех мог разговаривать шут: ему прощались эскапады, прозрачно намекавшие на такие вещи, говорить о которых по-серьезному было немыслимо.

Впрочем, когда нужно было, Суворов умел обходиться без «странностей», умел с достоинством держать себя в присутствии и Потемкина, и Павла, и под пулями врагов, и в ледяных теснинах Швейцарии.

Личная жизнь Суворова была нерадостна. Отчизна — официальная отчизна — платила ему черной неблагодарностью: награды перемежались с выговорами, опалами и ссылками. В семейной жизни он тоже не был счастлив: жена разошлась с ним после нескольких лет замужества и до конца дней своих оставалась его врагом; детей он почти никогда не видел, и, когда они подросли, они совсем отдалились от него.

Всю жизнь Суворов провел в духовном одиночестве, и недаром после его смерти кто-то сказал, что у него был только один друг: столетний ногайский мурза Муссабей.

Весь смысл своей жизни, источник неисчерпаемой энергии и бодрости Суворов находил в служении своей родине.

Война была истинной стихией этого человека. Ей отдал он все свои помыслы, обширный ум, талант организатора, железную волю. Наполеон рисковал своей жизнью только тогда, когда это было необходимо, чтобы воодушевить в критическую минуту солдат. Суворов был, за редким исключением, всегда вместе с солдатами. Он появлялся в самых опасных местах, демонстрируя полное презрение к смерти, хотя отнюдь не желал ее.

Личная храбрость Суворова была изумительна. Почти пятьдесят лет водил он войска под турецкими, польскими и прусскими пулями, под стрелами кочевников и ядрами французских артиллеристов и говорил, что безопаснее всего искать победу в середине вражеских батальонов.

В этом бесстрашии и самоотверженности таилась одна из причин того невиданного в крепостнической армии обаяния и ореола, которыми было окружено среди солдат имя Суворова. Своими блистательными победами Суворов обязан был прежде всего любви и преданности русской армии, прекрасным боевым качествам русских солдат-патриотов.

Стойкость суворовских войск являлась образцовой, почти не имеющей прецедентов в мировой военной истории. Она свидетельствует о чрезвычайно высоких боевых качествах русского народа.

Суворов добился этой стойкости и личным примером и умением подойти к солдатам. Для него солдат был человеком, к которому он гуманно относился, и воином, которого он глубоко уважал и ценил. Он знал в лицо множество солдат, помнил их имена, обращался к ним зачастую через головы их командиров. За исключением случаев мародерства и дезертирства, он не наказывал их телесно, в то время, как во всех тогдашних армиях и, в частности, в русской свистели прутья и солдат нещадно пороли за малейшую провинность. Суворов охотно и совершенно запросто беседовал с солдатами, прислушивался к их мнениям и советам. Он заботился об еде, обмундировании и здоровье своих солдат: еще в Суздальском полку им был установлен порядок, по которому, если оказывалось свыше двадцати больных, назначалось специальное расследование.

Все это было вовсе не похоже на отношение других командиров, и это привлекало к Суворову сердца солдат. В этом лежит причина того, что его полки дрались с таким ожесточением и были непоколебимы, как «живые бастионы»: они сражались не за крепостническую Россию, а за справедливую отчизну, прообраз которой они видели в своем вожде.

Александр Васильевич Суворов родился в 1730 году. Отец его был любимцем и

крестником Петра I. Ценя способного юношу, государь отправил его за границу для обучения наукам. По возвращении из-за границы Василий Суворов перевел на русский язык книжку инженера Вобана, выпущенную в 1724 году под заглавием «Истинный способ укрепления городов». Работа над переводом способствовала обогащению его библиотеки множеством книг по различным вопросам, в том числе и военным. Маленький Саша, еще в раннем детстве проявивший горячую склонность к военной карьере, часами просиживал в кабинете отца, с жадностью поглощая книги.

Однако, по иронии судьбы, будущий великий полководец не был записан в полк при рождении, как это практиковалось в то время в дворянских семьях. Отец и слушать не хотел о военной карьере для своего слабого здоровьем сына.

Для маленького Александра было избрано гражданское поприще.

Когда мальчику минул двенадцатый год, к Суворовым приехал старинный приятель отца — генерал Ганнибал, описанный Пушкиным («Арап Петра Великого»). Поговорив с Сашей и убедившись в его призвании к военной карьере, генерал выступил горячим ходатаем за него, и вскоре молодой Суворов был зачислен в гвардию.

В течение пяти лет Суворов, числясь рядовым лейб-гвардии Семеновского полка, оставался в родительском доме. Только в 1748 году началась действительная служба Суворова в русской армии.

В 1754 году Суворов был произведен в поручики и вскоре получил назначение в Ингерманландский пехотный полк. Два с лишком года пробыл он поручиком этого полка; жил он в это время в отцовском доме, чуждаясь всякого общества и деля время попрежнему между учением и службой. В этот период он написал несколько литературных произведений, помещенных в журнале «Ежемесячные сочинения» и подписанных инициалами А. С.

В 1756 году Россия приняла участие в так называемой «Семилетней войне» против Пруссии.

Суворов стал усиленно хлопотать о назначении его в действующую армию и вскоре добился этого. Первое боевое крещение он получил в знаменитой битве под Кунерсдорфом, где русско-австрийские войска нанесли поражение армии Фридриха.

В 1761 году Суворов был назначен начальником штаба кавалерийского отряда генерала Берга, сформированного для противодействия прусской кавалерии.

Ни днем, ни ночью не расставался Суворов со своим отрядом. В походе всегда был впереди, на бивуаках запросто разговаривал с солдатами или шутил, вызывая своими замечаниями взрывы смеха. Он говорил с солдатами, как товарищ, языком простым и доступным, и все невольно проникались его убеждениями и беспрекословно следовали за ним, куда бы он их ни повел.

Однажды у города Гольнау Суворов смелым ударом опрокинул прусскую кавалерию и захватил восемьсот пленных. В бою он получил две раны: контузию в ногу и легкую рану в грудь картечью. Он сам перевязал рану, предварительно смочив ее вином, и быстро унял кровотечение.

— Что вы делаете? — выговаривал ему после этого Берг. — Раненые должны итти в госпиталь...

— Нашему брату, солдату, — ответил Суворов, — госпиталь хуже яду. — Ляжешь — не встанешь. На коне лучше, а умирать не два раза, а один.

Со вступлением на престол пруссофила Петра III война закончилась; не возобновила военных действий и свергнувшая в следующем году своего мужа Екатерина II. Это не помешало ей, однако, обратить свое внимание на Суворова. Она дала ему аудиенцию и произвела в чин полковника. Через полгода он был назначен командиром Суздальского пехотного полка.

Этот полк Суворов воспитал на совершенно новых началах. Вместо парадов он устраивал маневры, обучал солдат стрельбе и штыковой атаке, приучал их к длинным и быстрым переходам, запретил телесные наказания. В результате Суздальский полк стал образцовой военной частью.

В 1768 году Суворов был вызван в Польшу, где в это время шла война с польской шляхтой. Суворов разбил поляков сначала под Ореховом, потом под Люблином. В местечке Сталовичи Суворов, верный своей тактике, стремительной атакой рассеял крупные скопления неприятеля. Результаты Сталовической битвы были огромны: ею был нанесен решительный удар польской конфедерации. Вся Европа заговорила о Суворове. Окончательной победой его было взятие Кракова. После этого последовал ряд незначительных стычек, в одной из которых Суворов чуть не погиб.

В стычке под Тинцем к нему подкрался поклявшийся его убить уланский офицер. Он дважды почти в упор стрелял в Суворова и, промахнувшись, бросился на него с саблей. Однако Суворов успел отпарировать удар, а в это время поляк был застрелен подоспевшим карабинером.

Вскоре после окончания польской войны Суворов был откомандирован в армию Румянцева, сражавшуюся против турок. Румянцев назначил его командиром двухты-

сячного отряда, расположенного на левом берегу Дуная, под Нигоештским монастырем. На правом берегу находилась турецкая крепость Туртукай.

В то время популярность Суворова среди солдат была уже очень велика. Его действия в Польше выделили его из ряда других генералов. Но чем больше становилась его известность, тем враждебнее относились к нему верхи.

Суворов стал подготовлять нападение на Туртукай. Однако турки предупредили его: переправившись на левый берег, они напали на отряд Суворова. Нападение было так внезапно, что сам Суворов едва успел ускакать от налетевших янычар. Впрочем налет был быстро ликвидирован, а уже через несколько часов, в бурную, темную ночь 10 мая, началась переправа суворовского отряда. Выйдя на берег, войска, построившись двумя колоннами, устремились к крепости и после жаркого боя взяли ее.

Через месяц Суворов совершил вторичное нападение на Туртукай и снова с блестящим успехом. Удивительно самообладание Суворова в этом сражении. Весь день его мучила лихорадка. Он был так слаб, что не мог ходить без посторонней помощи. Но, никому не доверяя, он в течение всей ночи руководил боем и наутро, заставив себя сесть на коня, принял участие в преследовании турок. В этом сражении погиб глава турок — Физулла-паша. Суворов приказал похоронить Физуллу с подобающими его сану почестями.

«Это был храбрый воин, — сказал он, — и могила его будет памятником нашей победы».

Другой блестящий пример военного искусства Суворов показал под Гирсово, где с сравнительно небольшими силами разгромил двенадцатитысячный отряд турок.

Этим делом закончилась в остальном вялая и бесцветная кампания 1773 года. Русская армия расположилась на зимние квартиры. Суворов, отпросившись в отпуск, уехал в Москву и там, по настоянию отца, женился на Варваре Ивановне Прозоровской.

Во второй половине февраля 1774 года, через месяц после женитьбы, Суворов уже снова был в армии. На этот раз ему дано было задание не допускать переправы турок через Дунай у Силистрии. Суворову приказано было действовать совместно с отрядом генерала Каменского; однако Каменский замешкался, и Суворов отправился против турок только со своими полками.

Турецкие войска и Суворова разделял лес, и они были в неведении относительно расположения друг друга. Конница Суворова, углубившись в лес, наткнулась на турецкий разъезд и вслед затем подверглась стремительному натиску ударных турецких частей. Неожиданность атаки и численный перевес неприятеля привели к тому, что конница стала отступать. Однако Суворов, введя в бой все свои силы, дал отпор янычарам, а затем рядом искусных маневров наголову разбил всю сорокатысячную турецкую армию, хотя у него в распоряжении имелось лишь восемь тысяч человек.

Турция вынуждена была заключить мир на выгодных для России условиях.

Однако, вместо награды Румянцев, придравшись к самовольному поступку Суворова, не согласовавшего своих действий с Каменским, лишил его командования.

В продолжение пятнадцати лет после этого Суворов находился в опале и исполнял различные мало ему приятные поручения правительства: его посылали на поимку Пугачева, посылали покорять кочевые ногайские племена, держали подолгу без всякого дела в Астрахани и других городах. Только в 1787 году он снова получил, наконец, боевое назначение, бывшее ему по душе. Подстрекаемая Англией и Пруссией Турция вновь объявила войну России.

Хотя русское правительство и стремилось к новым завоеваниям, оно не сумело подготовить армию к войне. Полки были укомплектованы только наполовину, питание было скудное, солдаты зачастую не имели даже рубах. Пушек было много, но к ним нехватало снарядов.

Главнокомандующий русской армией Потемкин двинул против турок построенный в Севастополе флот, но вскоре этот флот погиб во время бури на Черном море. Оставшись полновластными хозяевами на море, турки стали подготовлять высадку десанта на Кинбурнской косе.

Потемкин вызвал Суворова и поручил ему Кинбурнский участок. 1 октября 1887 года началась высадка турецкого десанта. К удивлению всех, Суворов запретил открывать огонь.

— Чего нам беспокоиться и бить их помаленьку, — говорил он, — пусть вылезут все, огулом тогда и расколотим.

Турки, не встречая сопротивления, стали высаживаться на берег. Во главе их войск стояли французские офицеры. Суворов шутил по поводу этого: «Турки хотят драться по-французски, мы их отколотим по-русски».

Вскоре неприятель приблизился на расстояние одной версты и бросился на штурм крепости. Этого момента ждал Суворов.

— Помилуй бог, хорошо! — восклицал он. — Теперь можно нас и с победой поздравить! Чудо-богатыри, русские витязи! Вперед к победе! Ура!

Со стен крепости ударили картечью, из

ворот развернутым строем ринулась пехота, а на фланги турецких цепей полетели казачьи сотни. Турецкий авангард был почти полностью уничтожен. В самом начале боя лошадь Суворова пала, и он сражался пеший в первых рядах. По мере удаления от крепости русские попадали под обстрел турецких кораблей. Ранены были почти все батальонные командиры.

Войска стали отступать к крепости. Несколько раз победа переходила из рук в руки, но к вечеру все резервы, которые Суворов берег нетронутыми, были брошены на турок, и это решило битву. Зажатые в тиски, истомленные сечей, турки не выдержали и отступили. Их загнали в море и до глубокой ночи истребляли картечью.

Оставшихся на берегу взяли в плен.

В течение дня Суворов дважды был ранен: первый раз картечью в бок, немного ниже сердца, второй раз в левую руку навылет. Все же он до конца не оставил поля битвы.

Кинбурнская победа произвела ошеломляющее впечатление, но война была еще далеко не кончена.

Главным турецким опорным пунктом на Черном море являлась крепость Очаков.

Потемкин осадил Очаков в июле 1788 года, но осада шла чрезвычайно медленно. В лагере Потемкина, между тем, шли пиры и банкеты. Суворов командовал левым крылом осадного корпуса. Медлительность Потемкина была ему невыносима. Простояв три с половиной недели в бездействии, Суворов не выдержал. Воспользовавшись турецкой вылазкой, он вступил в упорный бой. Его любимый Фанагорийский полк опрокинул турок. Получи Суворов подкрепление, Очаков был бы взят. Но Потемкин, взбешенный самовольным поступком Суворова, в подкреплении отказал. Тем временем турки начали теснить оставленный без поддержки отряд. Суворов, как всегда, был в гуще битвы, отдавая распоряжения и поспевая всюду. Один турок, перебежавший из русского лагеря, знавший Суворова в лицо, указал на него турецкому стрелку; тот выстрелил, и пуля сразила Суворова; она застряла близ затылка.

Сдав командование, Суворов поехал на перевязочный пункт. Здесь пулю немедленно извлекли и сделали перевязку. Во время операции появился посланный Потемкина с грозным вопросом: как осмелился Суворов без повеления главнокомандующего завязать такое дело? Корчась от боли, Суворов дерзко ответил: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу».

Суворову предложено было покинуть армию. Всю зиму и часть весны он оставался не у дел. Очаков был взят 6 декабря, без него, с огромными потерями со стороны русских.

Весной 1789 года Суворов добился, наконец, назначения в Молдавскую армию, действовавшую в контакте с союзной австрийской армией под командой принца Кобургского. Суворову дали корпус, и он занял позицию при Бырладе. Сильная турецкая армия расположилась лагерем у местечка Фокшаны, готовя удар против австрийцев. Австрийский главнокомандующий обратился за помощью к Суворову, находившемуся в 50 верстах. Письмо оканчивалось фразой: «Спасите нас». Суворов лаконично ответил: «Иду». Через двадцать восемь часов Суворов со своим корпусом был уже на месте. Кобургский решил устроить совещание, чтобы обсудить способы обороны, но Суворов демонстративно не явился на него.

Вместо этого он послал Кобургскому записку такого содержания: «Войска выступают в 2 часа ночи тремя колоннами; среднюю составляют русские; неприятеля атаковать всеми силами, не занимаясь мелкими поисками».

Мысль о наступлении на более многочисленного врага не укладывалась в представлении Кобургского, но он подчинился сильной воле русского полководца.

Сражение при Фокшанах продолжалось десять часов. Победа была полная. Сорокатысячный корпус турок был разгромлен.

Через месяц турки оправились от поражения и решили отомстить за Фокшаны. Из-за Дуная двинулся на австрийцев сам великий визирь со стотысячной армией.

Принц Кобургский тотчас обратился к своему испытанному союзнику — Суворову.

Суворов имел под ружьем всего семь тысяч человек. Во главе их он тронулся в путь и под проливным дождем, по скверным дорогам в двое суток прошел около ста верст. Кобургский немедленно явился к нему для обсуждения плана действий.

— Если турки еще не наступают, — заявил Суворов, — значит, они ждут подкрепления. Нужно немедленно атаковать их.

Кобургский колебался.

— По всем правилам тактики мы должны быть разбиты, — возражал он, — турок в четыре раза больше.

— Что тактика? — возмущался Суворов, — тактика хороша в кабинетах и салонах, а на поле битвы — глазомер, быстрота, натиск.

В конце концов он настоял на своем.

Позиции турок были очень удобны для обороны, они прикрывались с фронта и флангов рекою, оврагами и лесами. Не доверяя стойкости австрийцев, Суворов решил возложить всю тяжесть сражения на русские полки. С барабанным боем, с раз-

вернутыми знаменами шли русские под огнем противника.

Передовые отряды турок были сбиты с позиций.

Между тем, положение австрийцев было тяжелое. Кобургский просил помощи, посылая к Суворову одного курьера за другим.

— Пусть держится, — отвечал русский полководец, — я все вижу.

Суворов, заметив, что подступы к лесу обстреливаются сильной турецкой артиллерией, расположенной в деревне Боксе, принял решение овладеть Боксой и двинул туда свой отряд. Заняв стремительным ударом деревню, Суворов вышел во фланг главным турецким силам, почти успевшим уже опрокинуть австрийцев. Попав под перекрестный огонь, турки отхлынули. Прорвавшись в тыл неприятеля, казаки и австрийские уланы увеличили смятение врага.

Турки бежали. Стотысячная армия великого визиря перестала существовать как боевая сила.

Победителям досталась огромная добыча.

Рымникское сражение представляет одну из замечательных страниц военной истории и является выдающимся проявлением суворовского гения. Суворова на этот раз щедро наградили. Он получил титул графа Рымникского, орден Георгия 1-й степени и драгоценную шпагу с надписью: «Победителю визиря». Австрия выразила ему свою признательность, возведя его в титул графа Священной Римской Империи.

Однако война еще не кончилась. Для успешного завершения войны необходимо было нанести Турции решительный удар. Потемкин осадил сильнейшую в Европе турецкую крепость Измаил, расположенную в устье Дуная.

Осада велась вяло. Слабая бомбардировка крепости не давала результатов, армия несла лишения от холода и болезней. Штурм крепости казался безрассудным, и на него не отваживались. Тогда под Измаил был вызван Суворов. Его прибытие всех воодушевило. Уныние уступило место уверенности в победе. Суворов тотчас стал готовиться к штурму. После восьмидневных приготовлений, 10 декабря 1791 года, состоялся штурм. План его представляет собою шедевр военного искусства. Поведение русских войск, их самоотверженность и упорство были необычайны. Несмотря на яростное сопротивление, неприступная крепость пала.

Для самого же Суворова финал был тот же, что и в первую кампанию. Завидуя ему, Потемкин отстранил его от управления войсками. По настоянию всесильного фаворита Суворов получил незначительное поручение в Финляндию.

Снова два года прошли в томительном бездействии.

В 1794 году в Польше вспыхнуло восстание. Оно разразилось неожиданно. Размещенный в Варшаве русский отряд был захвачен врасплох и вырезан, причем погибло до четырех тысяч русских. Тотчас же шестьдесят тысяч русских солдат, под начальством Репнина и Румянцева, были двинуты в Польшу. Русские, однако, оказались бессильны справиться с восстанием, которым руководил талантливый Костюшко. И опять, как всегда в трудные минуты, вызвали Суворова.

3 сентября суворовские войска уничтожили польский отряд у местечка Дивин, через несколько дней у монастыря Крупчицы был разбит шестнадцатитысячный авангард польского корпуса, 8 сентября был занят Брест. Тем временем поляков постигла новая неудача под Майценовицами, где Костюшко, кинувшийся на отряд Ферзена с целью помешать его соединению с Суворовым, был разбит наголову и попался в плен.

Доступ к Варшаве был открыт.

В продолжение года после этого Суворов исполнял обязанности правителя Польши. На этом трудном посту он проявил себя, как гуманный, дальновидный политик. Вопреки предписаниям шовинистически настроенного правительства, он избегал оскорблять национальное достоинство поляков и вел умеренную политику. Это навлекло на него сильное недовольство в Петербурге. Повторилась старая история: царскому правительству нужен был только меч Суворова.

Суворова вызвали в Петербург и дали почетное назначение командующего южной армией. Полководец охотно покинул полную интриг придворную обстановку и выехал в город Тульчин, избранный им своей штаб-квартирой.

Пребывание в Тульчине можно назвать самым спокойным и счастливым периодом в жизни Суворова. Однако это спокойное житье длилось недолго — всего около полугода провел Суворов в Тульчине, как вдруг было получено известие; что Екатерина II скончалась и на престол вступил ее сын Павел I.

Слепой поклонник всего прусского, боготворивший Фридриха II, Павел стал вводить в русской армии прусские порядки. Пудреные парики, выправка, шагистика, механическое повиновение, свирепые наказания за всякое отступление от устава — вот чем намерен был новый император укрепить армию. Только один голос протеста раздался в гробовом молчании терроризированной страны — голос Суворова.

— Боже, даруй, чтобы зло для России

не открылось ранее ста лет, но и тогда еще вредно будет, — с грустью сказал он.

Он зло высмеивал новые порядки. В подчиненной ему армии почти ничто не изменилось: приказы императора здесь оставались невыполненными.

Царь не простил Суворову неповиновения.

В начале 1797 года Павел издал приказ об отставке старого фельдмаршала, а через несколько недель Суворов был сослан в свое дальнее поместье Кончанское. Здесь, в глуши Новгородской губернии, он провел два года, стойко перенося невзгоды и отвергая всякую мысль о компромиссе с императором. Вероятно, Павел никогда не вернул бы его, если бы не изменилась политическая обстановка. Павел примкнул к антифранцузской коалиции и обязался послать несколько русских корпусов в помощь австрийцам и англичанам. По настойчивым требованиям своих союзников, Павел вызвал из ссылки престарелого полководца и назначил его главнокомандующим русско-австрийскими силами, действующими в Италии.

Весной 1799 года Суворов выехал в Вену.

Под его начальством оказалась почти стотысячная армия, на две трети состоявшая из австрийцев. Ему противостояла несколько меньшая по численности армия французов. Но положение Суворова крайне осложнялось поведением австрийцев. Те хотели, чтобы фактически вершителем дел был придворный военный совет (гофкригсрат), заседавший в Вене и посылавший оттуда распоряжения в армию.

Всю жизнь боровшийся против опеки над собою, фельдмаршал отнюдь не был склонен терпеть ее со стороны австрийцев. Хотя Павел I и русский посол в Вене Разумовский подпали под влияние австрийского премьер-министра Тугута, Суворов непреклонно отстаивал свою независимость в ведении военных операций. Но все-таки ему приходилось во многом изменять свои планы в угоду гофкригсрату; он принужден был выделить значительную часть армии для осады крепостей (особенно Мантуи), он не мог развивать с обычной стремительностью наступательных действий и т. д.

Тем не менее, победа, как всегда, сопутствовала русскому герою. В какой-нибудь месяц Суворов очистил от французов Северную Италию, завладев Миланом, а вслед за тем и столицей Пьемонта — Турином. Французы почти не оказывали сопротивления. Только при переходе через реку Адду разыгралось сражение, но численное превосходство русско-австрийской армии, а также искусные маневры Суворова быстро решили дело.

Занятие Милана и Турина представлялось австрийцам грандиозным успехом; глава гофкригсрата, Тугут, приказывал прекратить дальнейшее продвижение и стараться лишь отразить предстоящие атаки французов. Эта ультра-осторожная тактика страшно раздражала Суворова.

Ближайшие события разрешили его спор с австрийцами: сильная армия французского генерала Макдональда пошла в наступление; на соединение с ней двигалась армия Моро. Суворов устремился навстречу первой из этих армий, и на берегах речки Треббии разразилась трехдневная кровопролитная битва.

Вследствие того, что австрийцы отказались снять часть войск из осадных корпусов, Суворов располагал в этой битве почти вдвое меньшими силами, чем французы. Однако в течение трех дней русские войска отбивали ожесточенные атаки противника, беспрестанно предпринимая контрудары и тесня французов. Обе стороны проявили в этом бою исключительное мужество. Положение русской армии приняло угрожающий характер, когда на третий день битвы в близком тылу у нее появилась вторая французская армия под командой Моро. Однако Суворов, даже под угрозой окружения, не помыслил об отступлении, твердо намереваясь сокрушить Макдональда, а затем немедленно повернуть свою армию против Моро.

Его железное упорство и героическая стойкость русских солдат достигли цели: накануне четвертого дня сражения армия Макдональда, потрясенная потерями и до крайности истомленная, поспешно отступила. Отступление это под ударами суворовской кавалерии перешло в бегство. Моро, узнав о происшедшем, повернул вспять.

Суворов намечал теперь поход в Геную — последний оплот французов в Италии. Но австрийцы и в этот раз сорвали его планы. Целый месяц прошел в вынужденном бездействии; французы использовали эту передышку и прислали сильные подкрепления. Главнокомандующим французской армией был назначен талантливый полководец Жубер; заместителем его — Моро.

Встреча войск Суворова с реорганизованной французской армией произошла в августе месяце близ города Нови. В самом начале сражения Жубер был убит, и командование принял Моро. По своему ожесточению эта битва превзошла даже сражение на Треббии. Героические атаки русских колонн, предводительствуемых Багратионом, Милорадовичем и Дерфельденом, разбивались о несокрушимую стой-

кость французов. Наконец, в 6 часов вечера был прорван правый фланг французов, а вслед затем и центр. Французская армия потерпела страшное поражение.

Но и теперь Суворов вследствие противодействия австрийцев не смог воспользоваться результатами победы. Он получил предписание выступить со всеми войсками из Италии в Швейцарию. Австрийцы осуществили этот коварный замысел для того, чтобы без всякого стеснения самим хозяйничать в завоеванной Суворовым Италии.

Находившаяся в Швейцарии австрийская армия немедленно эвакуировалась оттуда, оставив лишь незначительные гарнизоны и бросив на произвол судьбы тридцатитысячный русский корпус Римского-Корсакова.

Понимая, какая опасность грозит этому корпусу, Суворов, вне себя от возмущения, выступил в Швейцарию, хотя его двадцатитысячная армия совершенно не была готова к горной войне и к тому же наступала осень: самое неудобное время для перехода через горные хребты.

В сентябре начался знаменитый швейцарский поход. Армия Суворова пробилась сквозь Сен-Готардский туннель, форсировала неприступные позиции французов у Чортова моста и спустилась к городу Альторфу. Отсюда, по сообщению австрийцев, была проложена дорога в Швиц (подле которого расположился корпус Римского-Корсакова). Однако это сообщение оказалось неверным: из Альторфа в Швиц переправлялись только по озеру, на котором в данное время господствовала французская флотилия. Возвращаться обратно и двинуться другой дорогой Суворов не мог, потому что каждый день был дорог: французский главнокомандующий Массена с часу на час мог раздавить отряд Римского-Корсакова.

Престарелый военачальник принял исключительное решение: перебраться со своей армией через снеговые кручи горного хребта Росток, по которым в осеннюю пору не решались ходить даже альпийские охотники.

Переход был совершен. Цепляясь за кустарники, подтаскивая на канатах оружия, ведя в поводу лошадей, армия перебралась через Росток. Но тут русских ждала страшная весть: пока Суворов пробивался через Сен-Готард и Чортов мост, французы напали на корпус Римского-Корсакова и разгромили его. Все усилия, все жертвы, принесенные суворовской армией, оказались напрасны. Больше того, эта армия оказалась в критическом, даже безвыходном положении: у нее иссякли запасы боевых и продовольственных припасов, люди выбились из сил, многие были ранены или больны. Сам Суворов еле держался на ногах; непомерные лишения подкосили его семидесятилетний организм.

Массена был убежден, что в этих условиях пятнадцатитысячная армия русских не станет сопротивляться в пять раз более сильной, свежей и сытой армии французов. Но он жестоко ошибся.

Оставив арьергард в Муттене, Суворов с остальными силами двинулся к городу Гларису, разбил преградившие ему путь французские войска и, непрерывно ведя арьергардные бои (за отсутствием патронов солдаты дрались только штыками), начал спускаться в долину Рейна.

Последний переход был самым тяжелым. Итти пришлось через непроходимый хребет Риненкопф. Все альпийские проводники скрылись, будучи уверены в гибели армии. И все-таки, побросав артиллерию, потеряв много людей, армия перевалила через Риненкопф.

Из двадцати тысяч человек, выступивших из Италии, Суворов привел с собой пятнадцать тысяч; кроме того, русские ухитрились привести полторы тысячи пленных французов.

Альпийский поход показал, что русская армия в состоянии преодолеть самые страшные лишения и трудности и что нет такой силы, которая могла бы ее сломить.

Это был апофеоз военной деятельности Суворова. Имя его гремело во всем мире, как имя величайшего полководца своего времени. Но возобновить военные операции ему не пришлось: Павел I расторг союз с австрийцами и отдал распоряжение о возвращении русской армии на родину.

Весной 1800 года совершенно больной полководец, получивший после Швейцарского похода звание генералиссимуса всех военных сил России, сдал командование и выехал в Петербург.

Вся страна ждала приезда героя. Павел предписал воздать Суворову императорские почести. Но это был лицемерный жест. Через несколько дней, по пути в столицу, полководец получил строгое письмо Павла I. Тот спрашивал его, на каком основании он имел при себе в Италии, вопреки уставу, дежурного генерала. Придравшись к этому ничтожному проступку, Павел подверг знаменитого полководца новой опале: никем не встреченный, въехал он в столицу, никто не осмеливался даже посетить его. Тяжелы были последние дни полководца, отдавшего всю жизнь своей родине и неизменно встречавшего черную неблагодарность со стороны ее бездарных правителей.

6 мая 1800 года Суворова не стало. Правительственная печать не обмолвилась ни словом о его смерти. Зато широкие слои общества и вся армия горько оплакивали кончину величайшего русского полководца.

В заключение следует коротко остановиться на характеристике основных методов и приемов, применявшихся знаменитым полководцем, являющихся типичными для него и отражающих его воззрения на военное дело.

Суворов был прежде всего неподражаемым тактиком. Его часто упрекали в чрезмерной примитивности тактики, в том, что он «ломит напролом», не щадя при этом своих войск. Эти обвинения совершенно несостоятельны. Суворов, действительно, прибегал обычно к сосредоточенному удару по наиболее уязвимому участку неприятельской позиции, не предпринимая сложных обходных маневров. Но это объяснялось тем, что у него почти всегда имелось в распоряжении гораздо меньше сил, чем у противника, и распылять их еще больше было бы абсурдом. Строя план сражения всякий раз на штыковой атаке, что было сопряжено, конечно, с уроном для армии, Суворов исходил из малой действенности тогдашних огневых средств. Стрельба с дальнего расстояния не могла обеспечить решительной победы; кратчайшим путем для этого был только штыковой удар. Прекрасно обученные технике штыкового боя, воодушевленные и направляемые искусной рукой, суворовские «чудо-богатыри» с такой стремительностью шли в атаку, что несли обычно гораздо меньше потерь, чем атакуемые; этого никак не удалось бы достичь при методической перестрелке.

Суворов был ярким выразителем стратегии сокрушения. Не только рассеять врага, но разбить его наголову и преследовать, сколько возможно, потому что «недорубленный лес снова вырастет»! В битве под Кинбурном он умышленно позволил превосходным силам турок высадиться на берег, чтобы всех их уничтожить. Взятие крепостей, овладение территорией — все это отступало в его глазах на задний план, в сравнении с уничтожением живой силы противника.

Во времена Суворова господствовала кордонная система: обе армии развертывались друг против друга тонкой цепочкой, стремясь охватить неприятельские фланги и упорно сражаясь за каждый отрезок территории. Русский полководец нанес сокрушительный удар этим рутинным способам ведения войны, и только завистью да непониманием можно объяснить, что ему отказывали в роли новатора.

В частности, ему принадлежит заслуга выделения и умелого использования резервов, которых современная ему военная наука («линейная тактика») не признавала.

Очень характерно для Суворова многообразие военных замыслов и военных приемов. Он тонко подмечал особенности позиции противника и с поразительной гибкостью реагировал на них. Больше того, состав неприятельской армии и даже характер ее начальника — все учитывалось им, все принималось в расчет. С французами он сражался иначе, чем с турками; с турками иначе, чем с поляками.

Везде и всегда Суворов был сторонником активных операций. Они были сопряжены со значительным риском. Но военный гений Суворова позволял ему во-время останавливаться на грани дозволенного; тут не было ничего общего с опрометчивым риском.

Суворов очень тщательно разрабатывал диспозиции сражений; многие из них, как, например, диспозиции штурмов Измаила и Праги или Рымникского сражения, являются образцами и сейчас. Столь же тщательно осуществлял он подготовку к бою: заботился о материальной части, о подвозе провианта, снарядов, штурмовых лестниц, обучал вновь прибывшие части, подымал с присущим ему умением моральный дух войск.

Основные черты своего военного мировоззрения Суворов обычно выражал в знаменитой формуле: глазомер, быстрота и натиск. Гораздо менее известен, однако, другой афоризм полководца, в котором, с присущей ему образностью, он поясняет смысл этой формулы: «Глазомер — оттеснен враг — неудача; отрезан, окружен, рассеян — удача. Быстрота: атаковать неприятеля, где бы он ни встретился. Где тревога — туда и дорога, где ура — туда и пора, голова хвоста не ждет. Натиск: сам погибай, а товарища выручай... Свой пай съедай, а солдатский солдату отдавай».

Военное дарование Суворова было самобытно, свежо и глубоко и намного опередило его век.

Имя Суворова будет всегда памятно русскому народу, как имя гениального военного полководца, как имя человека, который в мрачную эпоху крепостничества показал пример уважения человеческого и военного достоинства русского бойца-патриота.

И. Рахтанов

ПРИВХОДЯЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

(О новом романе Л. Кассиля)

Если открыть хранящиеся в библиотеке им. Ленина комплекты наших дореволюционных спортивных журналов, а такие начали выходить примерно с 1910 года, то даже самый дотошный и кропотливый исследователь не обнаружит в них ни оригинальных повестей, ни романов, ни рассказов. Их просто не существовало. О жизни борцов писал недоброй памяти Брешко-Брешковский, но это была макулатура. И Александру Блоку, интересовавшемуся спортом, приходилось читать Брешко-Брешковского.

Мы вспомнили об этом, чтобы иметь возможность сказать, что книга Льва Кассиля «Вратарь республики» — книга принципиально новая, написанная на материале, только начинающем теперь входить в нашу литературу.

В этом смысле Кассиль — зачинатель у нас нового жанра, жанра спортивного романа, имеющего на Западе — в Англии и в Америке — давнюю и прочную традицию. Ежегодно там выходит очень много книг, герои которых спортсмены. Если бы мы вздумали перечислить здесь названия этих книг, то исчерпали бы ими все количество отпущенных нам на статью печатных знаков.

Вот в каком положении оказался Кассиль, решившись начать футбольный роман. На Западе — много, у нас — ничего и никогда. А в том, что роман действительно футбольный, убедиться нетрудно. Описания матчей, где звонкий мяч становится живым, одушевленным существом, почти героем, убедят самого мрачного ипохондрика в прелести зеленого поля, игры, болельщицкого азарта, заставят полюбить футбол той же крепкой любовью, что и автор. Эти описания, может быть, лучшее, что есть в романе.

Процитируем:

«В руке судьи покоился невинный решитель судеб игры — круглый кожаный мяч. Севастьяныч нес его, как державу. Потом он бросил его на середину поля. Мяч звенел от напряжения. Его распирал нагнетенный, туго-спрессованный воздух. Но нежная резиновая пуповина, через которую насос напитал мяч упругостью, была перевязана, скручена и упрятана вовнутрь. Жестоко зашнурована наружная кожаная сфера, сшитая из шестнадцати долек, похожих на бисквиты. Брошенный Севастьянычем, мяч прыгал. Прыжки затухали. В агонии последнего взлета мяч покатился по траве. Его положили в самый центр поля, и он лежал здесь, очерченный магическим кругом, как Хома Брут в гоголевском «Вие».

Описания очень точны, написаны с безусловным знанием дела и с той свободой, которую может позволить себе только большой знаток предмета. Часто говорят, будто невероятен поступок вратаря «сухого Тошки Кандидова», когда он сам вбил противникам гол. Такое действительно случается не часто.. Больше того, может быть, это случилось однажды, только в романе Кассиля. Но это случилось, и читатель, не совсем искушенный в тонкостях футбольной теории, поверил этому, вы на мгновение стали болельщиком, дядей Кешей из романа, с сердечными перебоями следили вы за движениями мяча, а раз так, значит, все в порядке, и Антон Кандидов имел право противникам вбить гол, и Лев Кассиль имел право об этом написать.

Люди Кассиля — живые. Мы видим их на наших стадионах, на рингах, они представляют нас в зарубежных поездках, и им рукоплещут и Париж, и Антверпен, и Стамбул. Это наша новая советская молодежь — молодежь, духовный облик которой изменился наравне с физическим.

Прежде никогда не было так много загорелых людей. Посмотрите на них, когда они маршируют в четких колоннах на Красной площади или когда они выбегают в цветастых майках на зеленое поле борьбы. И вы всегда рядом с ними встретите Евгения Кара, Карасика, журналиста или писателя, за каким бы псевдонимом он ни прятался. Это он описывает их подвиги, знакомит вас с ними. Часто этим человеком движет зависть. Очень уж приятно, когда ты, как Антон, — сильный, спокойный, уверенный в себе. Без очерков Карасика, Евгения Кара, победы Антона умерли бы через час или два после того, как совершились. Однако сам он человек без биографии, внешне богатой событиями жизни, о которой писать легко и приятно. Очень медленно в процессе романа происходит его, Карасика, свидание с биографией, и только в последней строчке после многих переживаний у него, наконец, просят автобиографию. Есть здесь что-то от «Зависти» Олеши, от отношений, сложившихся между Бабичевым и Кавалеровым.

В схему западного спортивного романа введены новые для нее элементы. Отсюда детство героев, рассказанное нарочито замедленно, спокойно, не без влияния Марка Твэна.

Роман Кассиля строится не по западной схеме, а вопреки ее существованию, в споре с мощным ее воздействием. И это особенно привлекает в нем. Тема коллективной игры не может стать темой спортивного романа Англии, хотя английские футбольные команды, может быть, играют согласованнее, чем наши. На мгновение допустим, что все происходящее в романе случилось вне советской действительности. Скажем так, чемпион Англии, сухой кипер мистер Антони Кандейд, ушел из одного профессионального клуба и перешел в другой профессиональный клуб. Подобные переходы происходят часто и отмечаются в лучшем случае заметкой петитом в спортивном отделе какого-нибудь «Таймса» или «Дейли Мейл». Но когда перед нами не мистер Кандейд, а Тошка Кандидов, советский спортсмен, когда это не буржуазный профессиональный клуб, где высокую сыгранность обеспечивают деньги, а футбольная команда советского завода «Гидраэр», — тогда... да, именно тогда появляется привходящее обстоятельство: уход из футбольной команды не то же, что переход из одного клуба в другой. Тут — разрыв с родным коллективом, и то, что было бы в Англии отмечено заметкой петитом, вырастает у нас в роман на тему о борьбе за человека.

Антон Кандидов остается один. Ему очень нехорошо, этому здоровому, крепкому парню, он понимает, что совершил что-то ненужное. И его бывшие товарищи объединяются в союз «за Антона и против него, за наше дело, за нашу дружбу». Развязка конфликта происходит на футбольном поле. Карасик выступает против Антона. Эти две главы, называющиеся в романе подчеркнуто-профессионально «Первый тайм» и «Второй тайм», показывают высокое умение автора. Мы уже цитировали начало игры. Вся работа Кассиля, блестящего спортивного очеркиста, вложена в эти две главы соревнований. Мяч летает по ним, как по полю. Он почти физически ощутим. Толпа, заполнившая трибуны стадиона, дядя Кеша, болельщик, профессор Токарцев, переполненные трамваи, идущие на стадион, — все это взято непосредственно из повседневности, увидено зорким и ясным глазом.

Роман Кассиля не бытовой. И поэтому он может вызвать нарекания за излишнюю условность. Люди, привыкшие к лихой серости плохого фельетона, будут, пожалуй, раздражены. Если бы это было возможно, они превратили бы траву на настоящем стадионе из зеленой в серую: так им не режет глаза.

Евг. Бермонт

ЕВГЕНИЙ КАР И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

(О новом романе Л. Кассиля)

Новый роман Льва Кассиля «Вратарь республики» — это жизнеописание двух друзей: интеллигентного мальчика Жени Карасика, ставшего известным журналистом Евгением Каром, и сына волжского грузчика Антона (Тошки) Кандидова.

Детские годы их описаны скороговоркой и очень напоминают замечательный катаевский «Белеет парус одинокий». Здесь, как и там, показана дружба ребенка из «хорошей семьи» с «уличным» мальчуганом. Целый ряд эпизодов весьма сходен. Впрочем, художественный уровень этих вещей, конечно, несравним.

Когда читаешь «Вратарь республики», не можешь отделаться от досадного ощущения, что перед тобой просто раздутый до размера романа газетный очерк с очень уж точным заданием и с заранее известным решением. Если сказать, что Кассиль приукрашивает действительность — это совсем не те слова! Он ее не приукрашивает, а раскрашивает, как дешевую, неправдоподобную олеографию.

Это ощущение художественного неправдоподобия не оставляет вас все 277 страниц книги. И прежде всего оно вызывается фигурой журналиста Евгения Кара, одного из любимых героев Кассиля.

В лице Жени Карасика автор хотел показать сомнения и страдания интеллигентного юноши, желающего стать активным строителем социализма. Увы, именно этот юноша — наиболее фальшивый образ романа, сплошь надуманный и неверный.

Собственно говоря, никаких таких психологических и практических препятствий к советскому бытию Карасика никогда не было. Он не дитя бежавшего фабриканта, не отпрыск графского рода, а сын провинциального волжского врача, человека, даже причастного к революционному движению.

Отец Карасика умирает в тяжелые годы военного коммунизма. Женя живет в большой нужде, читает лекции об искусстве комсомольцам затона, потом поступает в Московский университет, наконец становится фельетонистом центральной газеты, т. е. определяет свое место (и весьма общественно-активное!) в рядах строителей социализма.

Казалось бы, теперь все в порядке? Но Евгений Кар почему-то не чувствует себя полноценным советским гражданином. Во-первых, дескать, он худ и слаб телом.

А, во-вторых, отсталая докторская кровь, бурлящая в жилах Жени, не дает бедняге покоя.

В известной пьесе Э. Ростана «Орленок» сын Наполеона, герцог Рейхштадтский, мучится от сознания того, что кровь Бонапарта замутнена в его жилах кровью габсбургских императоров. Одно напоминание об этом повергает его в смущение.

Но ведь лекарская кровь папы Карасика совсем не габсбургского происхождения! Откуда же у советского молодого журналиста эти переживания а-ля-герцог Рейхштадтский?

В романе есть такая сценка: Евгений Кар справедливо упрекает своего друга Тошку в недостойном поступке. Обозленный Кандидов резко обрывает Женю и говорит, что, мол, не ему, воспитанному «на всем готовеньком», делать замечания сыну грузчика...

Как же реагирует на это умный (по словам Кассиля) журналист?

«— Да, да, конечно, — забормотал упавшим голосом Карасик, — данных, конечно, нет. Я, так сказать, вне игры, с биографией у меня не вышло. Ну извини, Тоша. Я без прав, просто хотел так... Извини...

И, натянув одеяло на голову, он повернулся к стене».

Но Карасик все же находит путь к спасению. Он переезжает в бытовую коммуну футболистов Гидраэра. Здесь Женя должен перековаться, научиться владеть мячом и бегать голым вприсядку, чего до сих пор Евгений Кар не решился делать в силу, как это полагает автор, своего интеллигентского происхождения.

Бытовая коммуна изображена Кассилем, как некая монастырская твердыня в этом грешном миру. Праведники лишь здесь. Недаром благородный профессор Токарцев (а все персонажи «Вратаря республики» резко делятся на «чистых» и «нечистых») воспринял переезд Карасика, как смелый, решительный шаг.

Вот его реплика по сему случаю:

«— Евгений Григорьевич! Молодец вы. Круто сломали линию хода и пошли к этим чудесным ребятам. Вы заметили — у них какая-то врожденная воспитанность. Институт благородных парней».

Токарцев не очень ошибся. Действительно, те буколические картинки гидраэровского жития с сентиментально-тошнотворной «мамой Фрумой», готовящей всем «яичницу-глазунью», чем-то перекликаются с дортуарами пресловутой Чарской и ее институтами «благородных девиц».

Но даже в «монастыре» Женя не сразу успокоился. Юрист Ласмин, «козлобородый иезуит», играющий при герцоге Карасике-Рейхштадтском роль Меттерниха, поминутно напоминающего о его крови, говорит:

«— Глядитесь чаще в зеркало, вы тогда многое поймете. Но глядитесь мужественно. Вот склеротическая жилка на виске, вот ваша милая, умная сутулость... Они вам не простят, вы им чужой...»

Это уж совсем по Ростану:

«Меттерних (хватает со стола канделябр и поднимает его к зеркалу).

Взгляните же сюда,
На вашу бледность и на ваши кудри,
Такие белокурые... Взгляните...

Герцог. Я не хочу!

Меттерних. Смотрите же сюда: ведь здесь Германия с Испанией слились...»

Обоим Меттернихам удавалось смутить покой своих герцогов.

Читаем у Кассиля:

«Женя немножко успокоился, но ему было не по себе. Этот козлобородый иезуит наступил на больную мозоль. Не то, чтобы он считал себя чужим, но иногда в нем просыпалась прежняя мнительность, и ему казалось, что он не совсем свой, не совсем равный в Гидраэре. Сейчас ему было досадно, что юрист сумел снова испортить ему настроение своими вздорными тирадами».

У Кассиля получается, что интеллигенты — это, в общем, граждане второго сорта. Глубоко преданный, по его словам, большевистской партии, талантливый советский журналист Евгений Кар должен, так сказать, идейно равняться по Фоме Руселкину, ибо оный Фома — лучший бек команды Гидраэра.

Кончается у Кассиля, как в американском фильме, полным благополучием. Карасик становится своим «в доску» и даже участвует в важном футбольном матче. Правда, при этом его жестоко подбивают, и читателю, по старинным еще рецептам той же Чарской, предлагается выжать из глаз сочувственную слезу, прежде чем узнать о благополучном конце.

Образ второго друга — Антона Кандидова — много проще, хотя «вратарь республики» именно он. Его судьба — это нравоучительная популяризация вполне правильного положения, что советский спортсмен должен быть хорошим производственником и общественником. Положение это азбучное, и одного его еще недостаточно для написания романа.

Волжский грузчик Кандидов взят в столичную футбольную команду гидраэровцев. В короткий срок и при самых неправдоподобных обстоятельствах он делается мировым голкипером. Но вместо того, чтобы вести добродетельную жизнь в стенах бытовой коммуны, Тошка увлекается соблазнами окружающего «грешного» мира.

Дурные друзья («козлобородый иезуит» Ласмин, дочь Токарцева, журналист Димочка Шнейс, объясняющийся на ужасном жаргоне) тянут Кандидова к пьянству и развлечениям. Тщетно взывает Карасик, стараясь увести его из квартиры профессора: «Антон, у нас в восемь часов кружок».

Антон не идет на кружок, и здесь начало его гибели. В короткий срок Кандидов разлагается, его дисквалифицируют, как спортсмена, но бывшие товарищи из гидраэровского монастыря великодушно протягивают ему руку помощи.

Добродетель торжествует, порок наказан. Автор так обеспокоен наказанием порока, что не забывает в последнюю минуту по срочно придуманному поводу уволить из редакции Димочку Шнейса, хотя это, как говорят юристы, не продиктовано обстоятельствами дела.

В заключение надо сказать и о чисто литературных недостатках нового романа

Льва Кассиля. На страницах «Вратаря республики» мелькают копии, оригиналы которых мы уже встречали в книгах других писателей. Все, конечно, помнят знаменитую Эллочку-людоедку из «12 стульев». Так вот эту самую Эллочку, написанную, как и весь роман Ильфа и Петрова, в условно-сатирическом плане, Кассиль переносит в свое произведение и выдает за вполне реальную девушку, дочь профессора Токарцева.

А эта реальная девушка разговаривает со своим отцом на таком людоедском жаргоне:

«— Слушай, папец, я заберу сегодня твою машину. Не сердись, крошка. Алле, гоп... Состоялось».

Или:

«— Он немножко шпанистый, он босяк-джентльмен, я это обожаю. Он типичный эпикуриал».

Вообще все отрицательные персонажи романа говорят на каком-то выдуманном жаргоне. А появившийся по ходу действия милиционер разражается тирадой в стиле испорченного Зощенко:

«— Известный вам гражданин Кандидов, — сказал милиционер, — нанес оскорбление физическим воздействием проезжающему шоферу и проходящему гражданину и впоследствии грубо пререкал постового во время служебного исполнения...»

Столь же неправдоподобны и многие жанровые эпизоды. Например, автор хочет подчеркнуть общеизвестную истину, что в нашей стране все учатся. Для этого он ведет Кандидова именно в такой «салон стрижки и бритья», где мастера говорят только на физико-математические темы.

И, брея клиентов, парикмахеры причудливо перемежают темы:

«— А Еремин-то из шестого номера, опять... потеха! Сегодня на занятиях вызывают... (Вас не раздражает? Прошу!)... а он вместо возведения в степень...

— В дамском уже с одним неизвестным решают».

. Выбор наименее жизненных ситуаций и назойливость при пропаганде весьма популярных истин характерны для автора «Вратаря республики».

В одной из глав, описывая литературную деятельность Карасика, Кассиль сообщает: «Раз от разу он писал все проще и проще. Охота за диковинными образами, ошеломляющими сравнениями прискучила ему. Он понял, что, в конце концов, все на свете да похоже на что-нибудь. Находить сравнения не представляло большого труда».

К сожалению, это понял Карасик, но не понял Кассиль. Чтение романа отяжелено этой погоней «за диковинными образами» и за сравнениями, находить которые «не представляет большого труда».

Возьмем, например, один абзац в самом начале книги.

«Зобастые, напыженные голуби, похожие на Чичикова. Ступали мохноногие, как битюги, чернопегие. А около них топтались, гукая, похлопывая крыльями, переминаясь с ноги на ногу, словно извозчики на морозе, ручные сизари тошкиной охоты».

Такие «ошеломляющие сравнения» можно найти на любой странице «Вратаря республики».

Если бы Лев Кассиль выступил просто с неудачным произведением, это не вызвало бы серьезных опасений. Неудачи постигали и очень хороших, и очень опытных писателей. Хуже другое — этой книгой Кассиль возрождает традиции «чарской» литературы для юношества, литературы лживой, поверхностной и глубоко чуждой вкусам и требованиям нашей молодежи, воспитанной совсем на других образцах.

М. Цейтлин

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САРАТОВ

Саратов — большой советский город. По количеству жителей он, по данным всесоюзной переписи 1939 года, занимает восемнадцатое место в СССР. Только за последние тринадцать лет население города почти удвоилось и составляет внушительную цифру — 375 860 человек.

Старый русский город Саратов, еще совсем недавно олицетворявший собой провинциальную глушь и общественную рутину, хозяйственную отсталость, бескультурье и заскорузлый, мещанский быт, превратился в крупный центр новой социалистической техники и культуры. Как и десятки других советских городов, Саратов живет интересной и увлекательной жизнью. Изменился внешний облик города. Расцвело его хозяйство, возглавляемое известным всей стране гигантом социалистической индустрии — Саратовским заводом комбайнов. Выросла культура жителей города, к услугам которых предоставлена широкая сеть учебных заведений, клубы, отличные театры. Народилась новая социалистическая интеллигенция, активно проявляющая себя во всех областях знания, хозяйства, культуры, исскусства.

Передо мной лежит толстая, опрятно изданная книга, в отличном переплете, со вкусом оформленная. Словом, ничто не говорит о том, что эта книга вышла «в провинции», нет, с тем же успехом на ней могла стоять марка Москвы или Ленинграда. Это впечатление не рассеивается и после того, как познакомишься с содержанием сборника «Литературный Саратов» [1].

Этот факт имеет значение принципиальное. Всего несколько лет назад литературная периферия сильно отставала от общего уровня общественно-творческой работы. Ученые, инженеры, педагоги, актеры — советские люди всех профессий, живущие «в провинции», прославляли себя замечательными делами, а вот голос писателей звучал слабо, приглушенно. Новые люди входили в литературу, за немногими исключениями, всегда через Москву, Тбилиси, Ереван и другие столицы союзных республик. На местах же, как правило, много и усердно занимались литературно-огранизационными делами и очень мало самой литературой. Если же и выпускались книжки «провинциальных» писателей, то на них лежала печать спешки и недоработанности. И критика, чаще всего оценивая продукцию литературной периферии, делала скидку на незрелость «провинциальных» авторов и великодушно прощала им многие такие грехи, которые вызвали бы резкую отповедь, будь книга издана в Москве или Ленинграде.

Сейчас картина изменилась. На периферии, в частности в городах и областях РСФСР, создались пусть немногочисленные, но крепкие коллективы молодых литераторов. Эти коллективы являются органической частью новой социалистической интеллигенции, и их литературная продукция не нуждается в скидках «на провинциальность».

Правда, повести, рассказы и очерки, напечатанные в «Литературном Саратове», не поднимаются выше среднего литературного уровня, но они в большинстве и неопускаются ниже его.

В прозаическом отделе хорошее впечатление остается от рассказа Юрьева «Яша». Написанный в распространенной манере стилизованного повествования от третьего лица, «Яша» привлекает неожиданным поворотом темы. В рассказе Юрьева актив-

[1] «Литературный Саратов». Сборник Саратовского областного отделения Союза советских писателей. Саратов, 1939 г., Саратовское областное государственное издательство. Цена 6 р. 40 к. Тираж 3000 экз.

ным элементом революционной борьбы выступает музыка, чудесная скрипка еврейского мальчика Яши. Белые погромщики растерзали его потому, что во вдохновенной симфонии Яши они услышали страшную для себя правду, увидели свою неизбежную гибель.

«Яша играл свою симфонию. И если бы вы слышали, как он играл... Это поднимался и кричал возмущенный народ... Это была правда!»

Жаль, что хорошее впечатление, остающееся от рассказа, несколько портит фальшивый, лубочный конец.

Кстати, если уж речь зашла о фальши, то нужно сказать несколько слов о другом рассказе — «Цирк» Ю. Чепурина. Это — единственное из помещенных в «Литературном Саратове» произведений, вызывающее решительные возражения. Технически «Цирк» сделан вполне грамотно, он, возможно, даже написан сильнее остальных рассказов и очерков. Но тема его настолько мелка, а сюжет шаблонен и примитивен (цирк, акробаты, иностранные спортсмены, конечно, шпионы, обязательная диверсия под куполом и т. д.), что просто становится жаль затраченного автором труда на всю эту ерунду.

Прозу сборника, кроме этих двух рассказов, составляют: «Вторая рота» Д. Гребенщикова и «Суровые годы» С. Федуленко. И то и другое следует отнести к жанру очерков, и они-то и составляют наиболее сильную часть «Литературного Саратова».

Особенно интересны очерки Гребенщикова, имеющие подзаголовком: «Записки политрука». Эти очерки далеки от формального совершенства. В них можно встретить неряшливость, плохого толка публицистичность. Хорошего редактора у тов. Гребенщикова, очевидно, не было. Он пишет, например, что, когда грянет война, самолеты полетят над полями, «к а п а я бомбами, б р ы з г а я пулями».

Было бы лучше, если бы этих стилистических недостатков в очерках «Вторая рота» не было. Но, и несмотря на них, эти очерки увлекательны и волнующи. Материал «Записок политрука» — жизнь современной Красной армии. Описывается летняя лагерная учеба дивизии и особенно подробно одной ее роты. Автором сделаны зарисовки отдельных эпизодов лагерной жизни, походов, стрельб, соревнования между частями. Через все очерки проходят одни и те же действующие лица: политрук и командир роты, красноармейцы Кныш, Пашков, Парамонов, отсекр и военком полка. Гребенщиков отлично знает материал, и это помогло ему показать Красную армию, как большую жизненную школу. Он преодолел ограниченность очеркового жанра и создал ряд довольно убедительных характеров в их движении (комроты Армен, красноармеец Кныш). И самое приятное в очерках Гребенщикова то, что они не элементарно описательны, а остро ставят многие вопросы, будят мысль, показывают процесс социалистического воспитания.

Знание жизни и материала отличает и очерки С. Федуленко «Суровые годы». Это — эпизоды из жизни старой деревни, написанные просто, тепло и непосредственно.

Публицистический отдел «Литературного Саратова» составляют записи М. Акимовой «Из истории нашего города» и статьи А. Абрамовича «Конец буржуазного героя» и В. Смирнова-Ульяновского «Крупнейший русский драматург А. Н. Островский».

М. Акимова работает над книгой об истории Саратова. Отрывки из этой книги помещены в сборнике, и они служат подлинным его украшением. Акимова рассказывает увлекательную историю установления точной даты основания Саратова — 1590 год, смысл его названия — татарское Сары-Тау, — Красивая гора. С прекрасным знанием предмета описывает первые века существования города. История его богата и интересна. Сначала, как и другие волжские города, Саратов был крепостью. Он сыграл большую роль в дни движения Степана Разина. Город дважды посетил Петр I. М. Акимова рассказывает историю постепенного расширения территории города, его улиц и, что особенно ценно, всегда указывает, как все эти исторические места выглядят сегодня.

Очень хорошая, нужная работа! А. М. Горький не раз говорил о необходимости создания истории городов, он отмечал какой большой интерес вызвала бы такая живо написанная история у советских людей. Книга М. Акимовой будет, по всем данным, именно такой увлекательной историей Саратова, по ней будут изучать славный путь этого города, одного из старейших русских городов.

В большой критической статье А. Абрамовича «Конец буржуазного героя» о «Климе Самгине» М. Горького сделан подробный разбор последнего произведения великого писателя.

В сборнике «Литературный Саратов» довольно много стихов. Но сказать о них почти нечего. В подавляющем большинстве — это довольно серые и ученические упражнения, к тому же сочиненные по чужим образцам (Сельвинского, Багрицкого и др.) -

С. Иванов

МАСТЕР СЛОВА

Письма Флобера, собранные в VIII томе издаваемого Гослитиздатом собрания сочинений, дают огромный документальный и правдивый материал для освещения жизни и деятельности Флобера, его литературных и политических интересов, его отношения к искусству, дружеских и литературных связей. Достаточно сказать, что корреспондентами Флобера были такие выдающиеся представители национальной и мировой литературы, как братья Гонкур, Жорж-Санд, Теофиль Готье, Эмиль Золя, Гюи де-Мопассан, И. С. Тургенев, Бодлер, Додэ, Сент-Бев.

Но особый интерес представляет работа Флобера над своими произведениями, характер Флобера как писателя, что и составляет основную задачу настоящей статьи. Ибо, пожалуй, во всей мировой литературе нет другого такого художника слова, как Флобер, у которого можно было бы поучиться дисциплинированности в работе, исключительной добросовестности и тщательности в подготовке и обработке материала, досконалому изучению эпохи, обстановки, деталей и, наконец, особой, действительно флоберовской, системе работы над словом.

Флобер исключительно долго работал над каждым своим произведением. «Саламбо» он писал пять лет, «Воспитание чувств» также пять, над романом «Бувар и Пекюше» работал восемь лет, причем роман остался неоконченным (Флобер умер, закончив лишь первый том), а «Искушение святого Антония» отняло у писателя (правда с перерывами) целых двадцать пять лет.

Такое медленное «рождение» произведений Флобером вошло в поговорку. Объясняется ли оно медленными темпами работы Флобера? Отнюдь нет. Ибо и работоспособность Флобера также вошла в поговорку. Он работал, как вол («как несколько волов», по утверждению самого Флобера), упорно, планомерно, он на целые годы забирался в глушь своего имения, подолгу не встречался с друзьями, отрекался от всех жизненных сует и писал, читал, изучал тысячи книг целыми не только часами, но и днями, сидел над отдельными фразами, над отдельными словами, стремясь найти слова и фразы, адэкватные своим мыслям, отшлифовывал по нескольку раз каждую фразу, каждый абзац.

Письма Флобера изо дня в день иллюстрируют эту титаническую работу.

В 1857 году Флобер начал работать над «Саламбо». Для этого романа из жизни древнего Карфагена требуется изучить колоссальное количество источников. Флобер прекрасно понимал, какой огромный труд он замыслил, он говорил об этом в письмах к друзьям, плакался, но не отступил перед трудностями. «Я предпринял проклятый труд, в котором, кроме вдохновения, ничего не вижу,—писал он в 1857 году Леруайе де-Шантпи, — он меня удручает». «Только безумец может взяться за сочинение такой книжицы!», — писал он через два года Эрнесто Фейдо, и продолжал: «Иногда я чувствую себя истощенным и усталым до мозга костей и с жадностью призываю смерть — избавительницу от всех терзаний. Но потихоньку все проходит, я опять прихожу в восторженное состояние, потом снова впадаю в уныние, и так без конца!» «Я околею от бешенства из-за этого Карфагена», — писал он позже тому же корреспонденту.

Но эти слезливые письма не мешали ему изо дня в день упорно работать над «Саламбо». Флобер начал с изучения источников исторического и литературного характера. Он доставал эти источники всеми возможными путями — в библиотеках, в архивах, музеях, советовался с друзьями,

поручал друзьям доставать материал. «Постарайтесь найти мне в «Археологическом обозрении» статью Мори об Эшмуне и другую — Деламарра об Аннуне», просит он Эрнесто Фейдо. «Благоволите передать одержимому Крепе, чтобы он немедленно прислал мне разъяснения, касающиеся Карфагена», поручает он Жюлю Дюплану. «На улице Ришер есть, кажется, фотография, где продаются виды Алжира. Если можешь, найди мне фотографию Медрагена (могила нумидийских царей) близ Алжира и привези, доставишь мне удовольствие», пишет Флобер Фейдо через год после начала работы над романом. Флобер использует всех, кто только может быть хоть чем-нибудь полезен ему. К нему стекаются со всех сторон книги, рукописи, справки, документы, советы.

С какой-то действительно бешеной страстью изучает Флобер источники. Нет ни одной отрасли знания, связанной с сюжетом романа, которой бы Флобер не изучил. Письма Флобера периода работы над «Саламбо» рисуют эту гигантскую работу. «Я только что проглотил «Политику» Аристотеля, затем Прокопа; затем латинскую поэму синьора Кориппа в шесть песней о нумидийской войне; поэма эта очень мне надоела! Но что поделаешь — необходимо!» (письмо Эрнесто Фейдо — апрель 1857). «Мой стол так завален книгами, что я в них теряюсь» (Жюлю Дюплану — май 1857). «А у меня желудок не варит от книг и от in-folio—отрыжка. С марта месяца я делал заметки из пятидесяти трех различных трудов; теперь изучаю военное искусство, упиваюсь крепостными валами и всадниками, углубленно занимаюсь метательными машинами и катапультами. Надеюсь найти что-нибудь новенькое в истории древних солдатиков». (Жюлю Дюплану—конец мая 1857). «Знаете, сколько я проглотил томов о Карфагене? Около сотни! А сейчас за две недели перечел 18 томов библии Кагена! Притом с примечаниями, и сам делал заметки!» (Жюлю Дюплану — июль 1857).

Через полгода упорной работы над источниками Флоберу кажется, что работа подходит к концу и можно приняться за писание романа. «Мне осталось еще недели на две поработать над изысканиями, — сообщает Флобер в июле 1857 года Жюлю Дюплану,— а затем, через недельку, когда основательно все продумаю, плыви моя гондола (вернее — трирема!). Примусь за дело...» Но это лишь кажущаяся видимость окончания работы над источниками. На самом деле за полгода упорной работы Флобер проработал лишь незначительную часть требующихся ему материалов. В процессе всей работы над романом, в продолжение пяти лет, Флобер не переставал работать над материалами. Через месяц после цитированного выше письма он пишет Эрнесто Фейдо: «В данный момент я с головой ушел в Плиния, которого перечитываю второй раз в моей жизни от начала до конца. Мне еще необходимо разыскать кое-что у Атенея и Ксенофонта; кроме того, пять-шесть сборников Академии надписей, и тогда, пожалуй, будет все! Затем я обдумаю свой план, который уж готов, и примусь за дело!»

Но и это было далеко не все. Проходит еще полгода упорной работы, и Флобер убеждается, что одних источников недостаточно, нужно самому побывать на месте действия романа, на месте изучить обстановку. Это нужно и, следовательно, для Флобера обязательно. В январе 1858 года он пишет Леруайе де-Шантпи: «Мне совершеннно необходимо поехать в Африку. Я и собираюсь в конце марта вновь посетить страну фиников. Как я счастлив! Снова буду жить не сходя с лошади и спать в палатке. Как я вздохну полной грудью, садясь в Марселе на пароход! Впрочем, мое путешествие будет коротким. Мне нужно поехать в Кефф (в тридцати лье от Туниса) и погулять в окрестностях Карфагена, по меньшей мере на двадцать лье в окружности, чтобы основательно изучить пейзажи, которые я собираюсь описывать».

Флобер предпринимает путешествие в Африку и изучает на месте обстановку, возвращается обратно и... переделывает все, что было уже написано. Об этом путешествии он кратко сообщает в июле 1858 года Леруайе де-Шантпи: «Я основательно изучил окрестности Туниса и развалины Карфагена, объехал всю область с запада на восток и вернулся в Алжир через границу у Кефф, проехал восточную часть провинции Константины до Филиппвилля, где снова сел на пароход. Я все время путешествовал один, верхом, чувствовал себя здоровым и веселым. А теперь приходится переделывать все, что написано; я положительно во всем ошибся» (подчеркнуто мною.— *С. И.*).

Но и путешествия в Африку, на развалины Карфагена, оказалось недостаточно. Флобер приступил уже к писанию романа, но в процессе работы постоянно возвращается к изучению и обработке все новых и новых материалов и источников. В августе 1858 года Флобер отвечает Эрнесто Фейдо: «Ты спрашиваешь, что я делаю: за две недели прочел для своей книги, прерывая работы над нею, шесть «Записок» Академии надписей, два тома Риттера, «Ханаан» Самуэля Бошара и не-

сколько отрывков из Диодора. Но я никак не могу окончить свой роман ранее, чем через два года...» Через полгода он сообщает тому же Фейдо: «И мне неплохо работается. За восемнадцать дней я написал десять страниц, прочел целиком «Отступление десяти тысяч»[1] и проанализировал шесть трактатов Плутарха (sic!), гимн Церере (в «Гомерических стихотворениях» по-гречески), затем «Encomium moriae» Эразма и, наконец, вечером — Табарена, вернее, утром, лежа в постели, чтобы рассеяться» (подчеркнуто мною. — *С. И.*).

К подчеркнутой фразе я вернусь в дальнейшем. Продолжу о работе Флобера над материалами.

За два года работы над «Саламбо» Флобер основательно изучил и эпоху, и обстановку, и нравы общества, которое он описывал. Труд был проделан колоссальный. Этого было бы больше чем достаточно для другого писателя, относящегося к своему творчеству более легковесно, чем Флобер. Но этого было мало Флоберу. Он должен был изучить все соприкасающиеся с сюжетом и положениями романа отрасли знаний.

В романе фигурируют люди, больные истерией, умственными расстройствами. Флобер начинает изучать медицину. В письме к Леруайе де-Шантпи (февраль 1859) он сообщает: «Я за последнее время случайно вернулся к психико-медицинским работам, так увлекавшим меня десять лет тому назад, когда я писал «Святого Антония». В связи с «Саламбо» я занялся изучением истерии и умственных расстройств. В этой области открываются настоящие сокровища. Но жизнь коротка, а Искусство длительно, и даже почти невозможно, когда пишешь языком заношенным, изъеденным червями, ослабевшим, который трещит при малейшем усилии».

Каждое новое явление, возникающее в романе, Флобер должен предварительно тщательно и серьезно изучить. Без этого он не станет писать. Это—особое свойство Флобера, свойство чрезвычайно важное и обязательное для каждого писателя, сознающего свою огромную ответственность перед читателем.

Для Флобера это свойство является естественной потребностью. Не только отдельная мысль, но даже и отдельное слово заставляют его производить изыскания и исследования, иногда сложнейшего порядка. В декабре 1859 года он пишет Леруайе де-Шантпи: «Надеюсь окончить к началу 1861 года. Так медленно я подвигаюсь потому, что книга для меня — особый способ жить. Какое-нибудь слово или мысль заставляют меня делать изыскания, углубляться в чтение и бесконечные мечты. Так, этим летом я читал книги по медицине et caetera».

То же самое он подчеркивает и в письме к Морису Шлезингеру: «И в этом году я еще не окончу своей книжки про Карфаген. Пишу медленно, ибо для меня книга — это особый способ жить. Какое-нибудь слово или мысль заставляют меня заниматься исследованиями, я отклоняюсь от главной темы, отдаюсь бесконечным мечтам; наш век к тому же так жалок, что я с наслаждением погружаюсь в древний мир».

И этот «особый способ жить» заставляет Флобера беспрестанно читать, исследовать, изыскивать, изучать. Целые горы фолиантов прочел он по военному искусству древности. «Лично я отдаюсь целиком Каббале, Мишне, военному искусству древности и пр. (куча книг, которые мне ни на что не нужны; но я читаю их из избытка добросовестности, а также отчасти для развлечения)», пишет Флобер в июле 1860 года братьям Гонкур. «Сейчас начну осаду Карфагена. Заблудился среди военных орудий, баллист и скорпионов, ничего не понимаю, так же как и другие. Об этом толковали, но ничего путного никто не сказал. Чтобы дать тебе представление о небольшой подготовительной работе, какой требуют некоторые места, достаточно сказать, что со вчерашнего дня я прочел 60 страниц in-folio, (в две колонки) «Полиорсетики» Жюста Липсия. Так-то» (письмо к Эрнесто Фейдо—июль 1861).

Конец 1861 года. Уже роман приближается к завершению. Но Флобер не перестает изучать, исследовать, собирать и обрабатывать материалы. В октябре 1861 года он сообщает Эрнесто Фейдо: «Я сейчас читаю физиологию, медицинские заметки по поводу людей, умирающих с голоду, и стараюсь найти связь между мифом о Прозерпине и мифом о Танит. Вот чем я занят последние два дня; в то же время я подготовляю для финала тринадцатой главы ужасы, которые будут еще страшнее в четырнадцатой. Кончил бесконечную книжку Ливингстона и перечитал многое из Рабле. Пусть меня повесят, если у меня есть что рассказать».

И, чтобы окончательно понять и оценить исключительно добросовестное отношение Флобера к писательскому труду, приведу один абзац из письма его к Жюлю Дюплану, относящегося к периоду начала работы над романом. Флобер пишет: «Хотелось начать через месяц или два. Но прежде я должен проделать индуктивным путем значительную работу по археo-

[1] Ксенофонта.

логии. Собираюсь прочесть 400 страниц записок in-4° о пирамидальном кипарисе, так как во дворе храма Астарты были кипарисы; из этого вы можете вывести заключение об остальном» (подчеркнуто мною. — *С. И.*)

Прочесть четыреста страниц для того, чтобы написать две строки о кипарисах! Действительно адский труд!

У читателя может возникнуть естественный вопрос. «Саламбо» — исторический роман, время действия которого отделено от эпохи Флобера двумя тысячами лет. Может быть, именно характером романа определяется и длительная и кропотливая работа Флобера над отысканием и обработкой материала?

Нет. Это постоянный стиль работы, метод Флобера. Стоит только проанализировать работу Флобера над другими произведениями, чтобы убедиться в сказанном.

Остановимся на романах Флобера «Воспитание чувств» и «Бувар и Пекюше», романах из современной Флоберу жизни, и мы увидим, что к романам из современной ему жизни Флобер подходил с еще более тщательной и серьезной добросовестностью.

Первое упоминание о романе «Воспитание чувств» мы находим в письме Флобера к Леруайе де-Шантпи, написанном в октябре 1864 года. Флобер сообщает: «Уже с месяц как я связался с романом о современных нравах, действие которого будет происходить в Париже. Я хочу написать моральную историю людей моего поколения; пожалуй, вернее, историю чувств... Это книга о любви, о страсти; но о такой страсти, какая может существовать теперь, то-есть бездеятельной. Сюжет, как я его задумал, кажется мне глубоко правдивым; но именно в силу этого он, вероятно, мало занимателен. Нехватает фактов, драмы; к тому же действие растянуто на большой промежуток времени. Так что у меня много тревог и опасений. Я останусь здесь, в деревне, часть зимы, чтобы немного продвинуться вперед в этой долгой работе».

Сюжет продуман, намечены герои, обрисованы в общих чертах характеры. И начинается столь характерная для Флобера многолетняя неустанная работа над материалом. В феврале 1866 года Флобер сообщает своей племяннице Каролине Комманвиль: «Подобно тебе я веду беспокойный образ жизни, но только не в большом свете; я погрузился в изучение фабрик фарфора. Вчера провел весь день с рабочими Сент-Антуанского предместья и Тронной заставы. Утром у меня был кондуктор дилижанса. Нынче отправляюсь на вокзал Иври. Вернувшись домой, читаю книги о фаянсе. Я не был ни на балу в Тюильри, ни в Ратуше, слишком занят посудой».

Флобер обращается с просьбой к Сент-Беву: «Не могли бы вы посоветовать, что мне прочесть, чтобы познакомиться с неокатолическим движением 1840 года? Моя история простирается от 1840 до государственного переворота. Само собою разумеется, что мне необходимо все знать и проникнуться духом времени, прежде чем взяться за работу».

Для Флобера само собою разумеется, что, прежде чем писать, нужно все знать и проникнуться духом времени. И это «все знать» характеризует всего Флобера и является причиной неустанной работы над материалами. Кажется курьезным, когда Флобер изучает горы материалов для того, чтобы написать буквально несколько строк. Но какая это чудесная курьезность! Вот отрывок из письма к Эрнесто Фейдо (конец 1867):

«У моего героя Фредерика законное желание иметь в кармане побольше денег; он играет на Бирже, немного выигрывает, затем все проигрывает, пятьдесят или шестьдесят тысяч франков. Мой молодой буржуа совершенно не сведущ в такого рода делах и не знает, что значит трехпроцентная государственная рента.

Дело происходит летом 1847 года.

Итак, какие ценности были в наибольшем спросе с мая месяца до конца августа?

В моей истории имеется три факта:

1. Фредерик отправляется, захватив с собой деньги, к биржевому маклеру, советуется с ним и поступает согласно его советам. Так ли это обычно происходит?

2. Он выигрывает. Но сколько и каким образом?

3. Он все проигрывает. Как и отчего?

Будь любезен, пришли мне все эти указания, которые должны занять в моей книге не более шести, семи строк. Но объясни мне ясно и правдоподобно» (подчеркнуто мною. — *С. И.*).

Бесконечно продолжается работа над материалом. «Роман совершенно не двигается с места. Я погружен в чтение газет 48 года. Пришлось съездить в Севр, Крейль и т. д. (и поездки эти еще не окончились)», сообщает он Жорж-Санд (февраль 1867). «Ты спрашиваешь, доволен ли я тем, что сделано? Сказать откровенно — не знаю. В настоящее время читаю кучу вещей о 48 годе. Хожу в библиотеку депутатов и собираю сведения направо и налево» (Жюлю Дюплану — март 1867). «Мой роман идет piano. По мере того, как я подвигаюсь вперед, возникают все новые трудности. Как тяжело

везти такую тачку с камнями! А вы еще жалуетесь на работу, которая длится всего полгода! Мне же осталось по меньшей мере на два года. Чорт возьми, как вы добиваетесь связности мыслей? Меня это именно и задерживает. К тому же моя книга требует скучнейших изысканий. Так, в понедельник, я был последовательно в Жокей-клубе, в Английском кафе и у одного поверенного» (Жорж-Санд — июнь 1867).

Как при работе над «Саламбо» Флобер изучал медицину, чтобы описать больного истерией, так и для «Воспитания чувств», чтобы показать больного крупом ребенка, Флобер не только изучает круп по врачебным книгам, но и идет в больницу и там, на месте, выявляет поведение больных детей и течение самой болезни. На это у него уходит не меньше полугода работы. В декабре 1877 года он сообщает Жюлю Дюплану: «По части чтения я за последнее время занялся изучением крупа. Нет стиля длиннее и бессодержательнее, чем у врачей! Что за болтуны! А они еще презирают адвокатов!» А в марте 1868 года пишет племяннице Каролине: «Я был очень занят посещением больницы св. Евгении для наблюдения над детьми, страдающими крупом (это ужасно, и я уходил оттуда потрясенный, но Искусство — прежде всего!). Вчера я был там всего два раза за пять часов; к счастью, это кончилось, и я могу теперь сделать нужное мне описание. Немало приходится мне бегать, чтобы раздобыть сведения о 48 годе, и немало трудов стоит втянуть моих персонажей в политические события; второстепенное заслоняет главное».

Флобер жалуется в письмах к друзьям на грандиозную, требующую неимоверных усилий работу, ссылается на усталость, на недостаток времени, но упорно и последовательно работает над материалом. «Собирание необходимых сведений требует огромного количества времени. Я хожу, пишу письма, гоняю своего мамелюка по домам и т. д., целую неделю таскался в больницу св. Евгении и изучал малышей, больных крупом. Словом, устал, и мне достаточно противно, а между тем осталось написать еще 250 страниц! Не говоря уже о буржуа, которые пристают с фразами вроде: «Ну как, новенькую страничку написали? Вы лентяй», и т. д.» (Жюлю Дюплану — март 1868).

О тщательности и добросовестности Флобера ярко свидетельствуют факты, изложенные им в письме к Жюлю Дюплану (сентябрь — октябрь 1868). В романе ему нужно описать лес Фонтенбло. Естественно, конечно, для Флобера, проделать путешествие в Фонтенбло, чтобы дать описание леса с натуры. В дороге произошел курьез, из-за которого Флоберу пришлось уничтожить и заново написать два эпизода. Но для этих эпизодов ему нужны новые данные, которыми он не располагает. Он обращается за помощью к другу. Флобер пишет:

«Вот что случилось со мной: я проделал путешествие в Фонтенбло, имея в виду возвратиться по железной дороге, как вдруг меня взяло сомнение, и я убедился, увы, что в 1848 году еще не существовало железной дороги между Парижем и Фонтенбло. Из-за этого приходится уничтожить и вновь написать два эпизода! В «Путеводителе по Парижу» (т. I, стр. 1660) я прочел, что Лионская железнодорожная линия начата была в 1849 году. Ты не можешь себе представить, как мне досадно. Итак, мне необходимо знать: 1) каким способом передвигались в июне 1848 года из Парижа в Фонтенбло? 2) Не был ли готов какой-нибудь отрезок пути, которым уже пользовались? 3) Какие были перевозочные средства? 4) Где останавливались в Париже? Ситуация у меня следующая: Фредерик с Розанеттой в Фонтенбло; он узнает про рану (дело происходит 25 июня) и едет в Париж с Розанеттой, которая не хочет его отпускать. Но по дороге ей снова становится страшно, и она остается. Он приезжает в Париж один, и тут, из-за сент-антуанских баррикад, ему приходится сделать большой крюк, чтобы добраться до квартиры Дюссардье, который живет в верху предместья Пуассоньер.

Помнишь смешные рожи в походных лазаретных фурах? Если припомнишь какие-нибудь детали из парижских ночей той недели, сообщи мне.

Мой герой бродит по улицам в последнюю ночь, с 25-го на 26-е (26-го все кончилось). Теперь тебе все так же ясно, как и мне самому. Постарайся найти точные данные, будь добр».

И снова, и снова происходят поиски материала. Флобер запрашивает у Эрнесто Фейдо, каковы были в июне 1848 года сторожевые посты национальной гвардии в определенных районах Парижа, кто занимал в Париже левый берег в ночь с 25 на 26 июня — линейные войска или национальная гвардия, сам таскается по похоронным бюро, по кладбищу Пер-Лашез, по долине Монморанси, обходит все лавки торговли предметами культа, проводит в Париже «утомительную» неделю в поисках сведений, «семь-девять часов в день не сходя с фиакра — хороший способ приобрести состояние литературным трудом», иронизирует он в письме к Жорж-Санд (февраль 1869).

И только через пять лет, только «теперь, когда роман окончен, я вижу, как устал», сознается Флобер в письме к племяннице Каролине.

Не будем приводить подобных выписок из писем Флобера о работе над романом «Бувар и Пекюше». Эти выписки во многом воссоздают описанную выше картину. Для этой книги Флоберу нужно было изучить химию, медицину, агрономию. «Надо, однако, быть сумасшедшим и трижды неистовым, чтобы взяться за подобную книжицу!», пишет он Роже де-Женетт. «Надо совсем взбеситься, быть трижды помешанным, чтобы взяться за подобную книгу», повторяет Флобер в письме к племяннице Каролине.

И все же берется, и все же пишет, и целых восемь лет, до самой своей смерти, работает над этой книгой. Советуется со специалистами по поводу различных научных пунктов, покупает горы книг, изучает медицину, химию, агрономию, разъезжает, собирая нужные ему сведения, переписывается с друзьями, заставляет их собирать различные данные, изучает такие дисциплины, как «История лечебных теорий», «Трактаты по воспитанию», книги по метафизике, политике, «Современное огородничество» Грессена и «Агрономию» Гаспарена, «Стрижка плодовых деревьев» и «Свойства души» Гарнье. И все это для того, чтобы написать одну главу в 30 страниц. Флобер пишет об этом Роже де-Женетт: «Сегодня — вернее, утром, с большим облегчением вздохнул. Уф! Наконец-то окончил противную главу о науках. Анатомия, физиология, практическая медицина (в том числе метод Распайля), гигиена и геология — все вместе взятое занимает тридцать страниц, куда входят диалоги, маленькие сценки и второстепенные персонажи! С трудным делом покончено».

И так всегда и во всем. «Мне пришлось перечесть «Всеобщую историю французской революции», не говоря об остальном. Считайте в среднем два тома в день. Все это для отрывка, который я буду писать; он зависит от раздела одной из глав — ее можно было бы назвать: «Историческая критика»; раздел составит не больше десяти страниц» (письмо Роже де-Женетт — март 1878).

Вот примеры работоспособности Флобера. Он начал работать над «Бувар и Пекюше» в 1872 году. Через год он сообщает Роже де-Женетт: «Знаете, сколько томов я проглотил с 20 сентября прошлого года? 194! И из каждого делал выписки...» А в 1880 году, через 8 лет после начала работы над книгой и уже незадолго до смерти, он жалуется ей же: «Знаете ли вы, какое количество томов мне пришлось поглотить ради моих двух старичков! Больше 1500! Моя папка с заметками достигла восьми пальцев толщины. И все это — почти что ничего. Но такое изобилие материала позволило мне не быть педантичным, это наверное».

Чтобы закончить анализ работы Флобера над собиранием и обработкой материала, остановимся несколько еще над одной стороной работы над «Бувар и Пекюше»— на отношении Флобера к натуре. В апреле 1873 года он сообщает Жорж-Санд, что через неделю начнет экскурсии по окрестностям, «чтобы найти подходящую деревушку — кадр для моих двух старичков». В августе того же года пишет Роже де-Женетт: «Завтра уезжаю на несколько дней в Дьепп, откуда в Париж за книгами, затем в Сен-Грасьен и, наконец, в окрестности Рамбуйле — поискать пейзаж, среди которого я мог бы поместить моих двух старичков. Я уже обшарил (безуспешно) другие окрестности Парижа». Через месяц сообщает Жорж-Санд: «Август месяц я провел в скитаниях, был в Дьеппе, Париже, Сен-Грасьене, Бри и Босе — в поисках за неким пейзажем, который представляю себе мысленно и который, кажется, наконец, нашел в окрестностях Удана. Однако, прежде чем засесть за свою ужасную книжицу, я попытаюсь поискать еще что-нибудь по пути из Лупа в Легль».

Эта поездка Флобера не совсем удовлетворила. Он снова отправляется в экскурсию. «Завтра снова отправляюсь путешествовать в поисках за местожительством для моих старичков. Мне нужно какое-нибудь нелепое местечко в красивой местности, где была бы возможность делать геологические или археологические раскопки. Итак, завтра переночую в Алансоне, затем объеду все окрестности, вплоть до Кана. Ах, что за книжица! Она уже заранее истощает все мои силы, я чувствую себя подавленным трудностями этого произведения, ради которого я прочел двести девяносто четыре тома, использовав в них все существенное! А между тем ничего еще не сделано» (письмо Роже де-Женетт — июнь 1874). Через три года предпринимает новую экскурсию: «Завтра отправляюсь в путь для «Бувара и Пекюше» на Сеез, это — первый этап», сообщает он Роже де-Женетт (подчеркнуто мною.— *С. И.*).

Мы рассмотрели одну сторону работы Флобера над книгой — собирание и обработка материала. Мы видели, какую огромную трудоспособность и упорство проявлял Флобер, какая исключительная добросовестность отличала его работу над книгой.

И другая сторона работы — работа над словом — характеризуется у Флобера те-

ми же самыми чертами. Тщательная, кропотливая работа над словом была естественна для Флобера, так же как она должна быть естественна для каждого писателя. Флобер прекрасно высказался по этому поводу в письме к Леруайе де-Шантпи (декабрь 1857): «Вы говорите, что я обращаю слишком много внимания на форму. Увы! Это все равно, что тело и душа; для меня форма и идея — одно целое, и я не мыслю одно без другого. Чем прекраснее мысль, тем звучнее фраза, уверяю вас. Точность мысли создает (и есть сама) точность слова».

Едва ли следует добавлять что-либо к этим замечательным словам.

Флобер очень бережно и очень щепетильно относился к художественному слову. Бесконечное количество раз продумывал и переделывал каждую фразу, каждый абзац, неоднократно выбрасывал уже написанное и писал вновь. Для Флобера являлось обычным делом два-три дня просидеть над одной фразой или одним абзацем. Каждая фраза рождалась у него в действительных творческих муках. Эти творческие муки вызывали у него зачастую неподдельный страх, но он пересиливал себя и продолжал работать над словом так, как работал всегда. Для работы Флобера характерно следующее его высказывание:

«Что касается меня, то книга, которую я готовлю, не только не написана, но даже еще и не начата. Я полон сомнений и страхов. Чем дальше, тем более я робею, в противоположность великим полководцам и Тюренну в частности. Для многих чернильница содержит в себе лишь несколько капель черной жидкости. Но для иных она — океан, я же тону в нем. У меня от белой бумаги кружится голова, а груда очиненных перьев на моем столе представляется мне иногда кустом терновника с огромными шипами, и немало крови пролил я на эти кустики» (письмо Луи де-Корменен — май 1857).

Другая характерная черта Флобера — постоянная неудовлетворенность своим писанием. Эта черта красной нитью проходит во всей его переписке. Наиболее полное и точное выражение она получила в одном письме Флобера к Эрнесто Фейдо: «Я (если хочешь знать мое глубокое и сокровенное мнение) не написал еще ничего такого, чтобы меня вполне удовлетворило. Я таю в себе и, как кажется, очень определенно, некий идеал (извиняюсь за выражение), идеал стиля, и вечно задыхаюсь в погоне за ним».

Эта черта недовольства своим творчеством повторяется в письмах Флобера бесчисленное количество раз. Проиллюстрируем сказанное несколькими примерами, показывающими, сколь тщательно относился Флобер к слову, с какими творческими муками было это связано и как медленно, с бесконечной терпеливостью вынашивал Флобер каждое слово, прежде чем занести его на бумагу.

Флобер начал работать над «Саламбо». В ноябре 1857 года он пишет Леруайе де-Шантпи: «Легче сделаться миллионером и жить в венецианских дворцах, наполненных шедеврами, чем написать одну страницу и остаться довольным собой. Два месяца тому назад я начал писать роман из античной жизни и только что окончил первую главу; и вот я ничего хорошего в ней не нахожу и день и ночь отчаиваюсь, не приходя ни к какому решению. Чем больше опыта я приобретаю в своем искусстве, тем большей пыткой оно становится для меня: воображение не двигается с места, а вкус растет. Вот в чем горе. Я думаю, литература не многих мучает так, как меня» (подчеркнуто мною. — *С. И.*).

Через год после начала работы над «Саламбо» Флобер уничтожает все написанное и начинает работу снова, с первого листа. «Всю неделю, что он здесь, мы предаемся кипучей деятельности. Уведомляю тебя, что «Карфаген» надо целиком переделать или, вернее, написать сызнова. Я все уничтожил. Это было идиотство! Немыслимо! Фальшиво!

Думаю, что найду верный тон. Начинаю понимать своих персонажей и увлекаться ими. Это уже много. Не знаю, когда окончу свой колоссальный труд. Быть может, не ранее двух-трех лет. А до тех пор умоляю всех, имеющих ко мне какое-либо отношение, не говорить со мною о нем ни слова. Я даже склонен разослать извещения о своей смерти.

Решение мое свято. Для меня не существует ни публики, ни печатания, ни времени; итак, вперед!» (письмо Эрнесто Фейдо — июнь 1858).

Продолжается работа над «Саламбо», продолжаются и увеличиваются творческие муки писателя. В декабре 1858 года он сообщает Эрнесто Фейдо: «Так вот. А через два дня начинаю третью главу. Она была бы четвертой, если бы я сохранил предисловие; нет, никаких предисловий, никаких пояснений. Первая глава заняла у меня нынче летом два месяца. Тем не менее я без колебания швырнул ее в печку, хотя сама по себе она мне очень нравится.

Я в ужасной тревоге, потому что должен повторить в третьей главе те же эффекты, что были уже во второй. Иные ловкачи

с помощью ухищрений сумели бы обойти затруднение. Я же, точно вол, тяжело увязну в самой гуще, таков мой метод. Придется попотеть! И не раз я приду в отчаяние, отделывая этот абзац! Серьезно, мне кажется, что никогда еще не брались за такой трудный по стилю сюжет. В каждой строчке, в каждом слове я чувствую, как несовершенен наш язык, бедность словаря такова, что нередко я вынужден изменять те или иные детали... Эта книга угробит меня, старина. Ничего, она здорово меня забавляет».

Через четыре года после начала работы над книгой Флобер не перестает жаловаться друзьям. В письме к братьям Гонкур он пишет: «Мне кажется, что «Саламбо» смертельно скучна. Явное злоупотребление древним солдатиком, все время сражения, все время разъяренные люди. Жаждешь зеленых лужаек и молока. Беркен покажется после этого восхитительным. Короче говоря, невесело мне. Мне кажется, что мой план нехорош, а переделывать поздно, так как в целом все уже готово.

Начинаю тринадцатую главу. После нее останутся еще две, а все будет окончено в январе, если не помешают слишком продолжительные приступы упадочного состояния».

В том же году в письме к Эрнесто Фейдо сквозят те же нотки: «По мере того, как я подвигаюсь вперед, мои сомнения насчет произведения в целом увеличиваются, — я замечаю недостатки, непоправимые недостатки, которые я не стану исправлять, ибо лучше уж бородавка, чем шрам».

Исключительная требовательность к самому себе, естественно, отражалась на темпах работы. Флобер писал очень медленно. Для него было праздником, когда в течение нескольких дней он смог написать несколько страниц. Он пишет о таких днях, как о триумфе. «За восемнадцать дней я написал десять страниц»; «Со времени его отъезда (11 декабря) я написал четырнадцать страниц; как видишь, я в ударе» (а цитированное письмо написано 2 января), — таковы достижения Флобера, которыми он гордится. И он прав, ибо это лучшие дни. А бывало — и очень часто — иначе. «Вчера десять часов просидел над тремя строчками и не сделал их» (письмо к Амели Боске — сентябрь 1866); «Я уже целых два дня бьюсь над одним абзацем, и ничего у меня не выходит. Иногда мне хочется плакать!» (письмо к Жорж-Санд— декабрь 1866); «Вы, наверное, не знаете, что значит просидеть целый день, подперев обеими руками голову, чтобы выжать из своего несчастного мозга одно какое-нибудь слово» (письмо к Жорж-Санд — ноябрь 1866).

Может создаться впечатление, что Флобер был ремесленником, а не художником. Конечно, это неверно. Если бы Флобер не был величайшим художником слова, если бы он не обладал величайшим талантом, он не смог бы создать такие шедевры мировой литературы, как «Мадам Бовари», «Саламбо», «Воспитание чувств», «Искушение святого Антония».

И лучше всего об этом говорит сам Флобер в письме к Тэну (1868):

«...Меня увлекают, преследуют мои воображаемые персонажи, вернее, я сам перевоплощаюсь в них. Когда я описывал отравление Эммы Бовари, у меня во рту был настоящий вкус мышьяка, я сам был так отравлен, что у меня два раза подряд сделалось расстройство желудка, самое реальное, потому что вырвало весь обед...

Не сравнивайте внутреннее видение художника с настоящей галлюцинацией. Мне отлично знакомы оба эти состояния, между ними — целая бездна. К галлюцинациям в собственном смысле слова всегда примешивается ужас; теряешь ощущение своей личности, кажется, будто сейчас умрешь. Поэтическое видение, наоборот, рождает радость, точно в тебе что-то растет. Правда, и тут утрачивается сознание действительности. Иногда видение нарастает медленно, по кусочкам, как различные части расставляемой декорации; но также часто оно бывает внезапным, мимолетным и подобно галлюцинациям в гипнотическом сне.

Что-то проходит перед глазами, и на это надо жадно наброситься».

Каковы же основные методы работы Флобера, «страстотерпца слова», как называл его Максим Горький? Это, во-первых, доскональное изучение материала; во-вторых, тщательная работа над словом, постоянное стремление отыскать слова и фразы, адэкватные мысли, и, в-третьих, перевоплощение в своих персонажей. Флобер начинал писать только тогда, когда он чувствовал, ощущал своего героя, когда он жил его жизнью, его чувствами, его переживаниями.

И если наши писатели, и большие, и малые, хотя в какой-то степени будут следовать примеру Флобера, — это будет хорошо и для них самих, и для литературы в целом.

БИБЛИОГРАФИЯ

ОЛЕГ ЭРБЕРГ. Повесть о Хамре из племени ачак-заев. «Год XXII», альманах четырнадцатый.

Олега Эрберга следует читать медленно — от слова к слову, от строки к строке. Да его и нельзя читать быстро, следя за одной лишь сюжетной линией. Это, скажем, равносильно тому, как если бы кто довольствовался в живописи рисунком, совершенно пренебрегая красками. Но Эрберг и сам держит читателя в напряжении — его повествование медлительно, а слово самодовлеюще и самоценно.

Эрберг долгие годы жил в Афганистане и появился в нашей литературе совсем недавно: зрелым мастером, интимно знающим свой материал, сумевшим подняться над «экзотикой» на те высоты искусства, где, к примеру, печальная история афганского пастуха и его собаки обретает общечеловеческое звучание. Быть может, это слишком сильные слова, но они свидетельствуют о той радости, какую доставляет читателю проза Эрберга.

Эрберг не боится быть ни наивным, ни тривиальным. Все мы читали о том, как верный пес тоскует на могиле своего хозяина, все мы читали — где-то, когда-то, — как ощенившаяся сука вскармливала своим молоком человеческого младенца, потерявшего мать. И все же у Эрберга вы узнаете об этом впервые. Но не надо думать, что проза Эрберга идиллична, что он живописует прекрасное младенчество человечества, — нет, предметом его повествования является страшный мир, в котором элементы первобытности и поверхностной цивилизации рождают в своем сочетании быт уродливый и предельно жестокий; богатеи-ханы, разновидность феодалов, гнут, ломают и уродуют прекрасный народ; образы этих простых людей, созданные Эрбергом, их возвышенный ум и доброе сердце трогают читателя глубоко и навсегда западают в его сознание. Тот, кто внимательно прочитает рассказ Эрберга о пастухе Хамре и его собаке Бахмаль, никогда не забудет ни этого чудесного юношу, задавленного висельной петлей, ни его верного пса. Мне кажется, что рассказ Эрберга мог бы стать подлинным украшением нашей отроческой и юношеской литературы, — об этом стоит подумать Детиздату.

Рассказ богат прекрасным жанровым материалом, дающим непосредственное ощущение далекого афганского быта. Отлично, с глубокой и сдержанной иронией, написан образ булюк-мишера — военного начальника; отчетливы образы центрального правителя и хана Хайдара, кстати сказать, остающихся за пределами рассказа,—это тонкое и зрелое мастерство; бесплодно было бы перечислять удачи рассказа, — их много, и они образуют в совокупности тот комплекс, который позволяет с радостью и гордостью сказать: в советской литературе появился новый зрелый автор.

Я. Рыкачев

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ. Лирика. «Советский писатель», 1939 г., 56 стр. Цена 2 р. 50 к.

Должно быть, все-таки важнее всего для поэта определить себя, найти свою основную тему, свое самое главное слово. Одним это дается сразу, с первой книги стихов, другие так и не находят этого, мечутся из стороны в сторону, сборники их стихов совершенно не похожи один на другой, разнообразны, разнохарактерны, но источник этого разнообразия не в богатстве, а в бедности, в неумении найти себя и свои привязанности. Бывает и так, что поэт находит свою поэтическую тему только в третьей, в четвертой книге, и тогда этот сборник становится первой книгой поэта.

Такая история произошла со Щипачевым. Почти все, что он писал до этого, было рыхлым, бесцветным и неудобочитаемым.

В новой книге Щипачев предстает пред нами новым и интересным молодым поэтом в самом хорошем смысле этого слова. У поэта неожиданно открылись глаза, появился вкус и чуткий слух художника.

Все это произошло не так легко и неожиданно. До «Лирики» была книга «Бермамыт», многое уже предугадывающая, послужившая важной вехой в творческих поисках.

И в книжке «Лирика» есть слабые, неинтересные, средние стихи, которые бы не следовало включать в книгу («...легко, любимая, с тобой...», «Взглянув на карточку...», «Тост», «Эльбрус и самолет», «Чу», «Возможный случай в поезде метро»). Но не эти стихи определяют лицо сборника, к тому же почти все они старые, датированные 1933—1935 годами.

В пределах короткой рецензии нельзя процитировать лучшие стихи из сборника. Все-таки мы приведем здесь полностью стихотворение «О снежинке».

Начало пятого, но мне не спится.
Мутнеет вьюга. Ночь летит в рассвет.
Земля, как заведенная, вертится...
Пройдет и сто и десять тысяч лет,
И дальний век (мы и о нем мечтали)
Все так же станет вьюгами трубить.
В той, даже мыслям недоступной, дали
Хотел бы я хотя б снежинкой быть,
Чтоб над землею с ветром пролетая,
На жизнь тогдашнюю хоть раз взглянуть,
Пушинкою над тополем вспорхнуть
И у ребенка на щеке растаять.

В этих стихах много душевности, тонкости, художественного такта. Как это не похоже на крикливые, громыхающие, слепящие набором дешевых пиротехнических средств стихи некоторых наших поэтов!

Вот перед вами проходят очертания огромной и открытой земли, похожей на большой макет. Где это было с вами, может быть, во сне вы переживали это ощущение полета и ясности? В стихотворении «Земля с высоты» нет внешних эффектов, в нем все просто, подтянуто, строго, но тем выразительнее каждая деталь, тем сильнее, тем правдивее говорит в нем чувство любви к родной земле, открывающейся под летящим крылом.

Остается только порекомендовать читателю прочесть лучшие стихи в сборнике: «О снежинке», «Календарь», «Свет звезды», «Подсолнух», «Земля с высоты», «Солнце», «О товарищах» и др.

Мих. Матусовский

БОРИС ГОРБАТОВ. Рассказы. «Год XXII», альманах пятнадцатый.

У нас есть писатели, избравшие предметом своего творчества ту или иную часть нашей бескрайней родины. Так, есть «специалисты» по Арктике, по Средней Азии, по Кавказу, по Дальнему Востоку. На смену верхоглядству и всезнайству, некогда процветавшим в нашей очерковой литературе, пришло углубленное познание этих обширных географических пространств, каждое из которых представляет собой целый мир: национальный, хозяйственный, культурный. Естественно, что подобное углубленное изучение и многолетнее «вживание» позволили писателю перейти постепенно от информационного и художественного очерка к художественному произведению в собственном смысле слова.

Борис Горбатов — едва ли не лучший знаток Арктики в советской литературе. До недавнего времени он был известен отдельными очерками, а также рассказами, представлявшими собой, в сущности, беллетризованные очерки. Последние рассказы Горбатова — плод глубокого опыта и размышления — должны быть по праву отнесены к художественной литературе в полном значении этого слова.

В Альманахе «Год XXII» напечатаны четыре рассказа Горбатова: «Мы и радист Вовнич», «Суд над Степаном Грохотом», «Таян — начальник» и «Разговор». Стиль этих рассказов — их фразеологическая интонация — еще не вполне самостоятелен и носит на себе явственный след европейско-американской «экзотической» традиции, но своеобразие материала рассказов и самостоятельность художественного мышления автора то и дело разрывают этот стилевой покров, от которого Горбатов, без сомнения, в скором времени освободится. Порукой тому — превосходный по лаконизму и силе рассказ «Разговор», лучший из четырех рассказов.

Тема первого рассказа — конфликт, возникший на зимовке в связи с прибытием в дружную семью зимовщиков-мужчин единственной женщины, посланной в качестве помощника радиста. В рассказе много превосходных деталей, но в общем рассказ сделан не на высоте отдельных удач, в нем есть немало серьезных срывов; к тому же он наиболее традиционен: сказывается косность сюжета, уже неоднократно использованного в мировой литературе.

В рассказах «Суд над Степаном Грохотом» и «Таян — начальник» советский материал уже рвет ткань стилевой традиции, и знакомые по литературе фразеологические интонации редко вызывают чувство досады. Первый из этих рассказов — о заражающей силе социалистического труда, о мощи советского коллектива. Тема, в сущности, для советской литературы традиционная. Но, как известно, не существует ни плохих, ни банальных тем — существуют плохие и банальные авторы. Плохие

рассказы, написанные на различные темы, имеют между собой больше общего, чем хорошие рассказы, написанные на одну и ту же тему. В этом смысле рассказ Горбатова глубоко оригинален: тема в нем дана не как предпосылка, а как вывод из определенной жизненной ситуации. Вот почему персонажи рассказа не несут на себе никакой тематической нагрузки и поведение их целиком и полностью определяется их характером и ситуацией, в которой они живут и действуют.

Тоже самое можно сказать о рассказе «Таян—начальник». Это подлинная история эскимоса Таяна, проделавшего многосложный путь от дикаря, одержимого страхом перед духами, до коммуниста — начальника острова Врангеля. Недостатком этого рассказа является несколько внешняя трактовка процесса развития Таяна. Особенно резко сказывается этот недостаток на последнем, наиболее сложном, этапе развития: «и я постиг мудрость машины, и хитрость грамоты, и арифметику, и даже выучил дроби», говорит о себе в конце рассказа Таян. Но весь этот сложный для вчерашнего дикаря процесс познания остается за пределами рассказа — читателю преподносится лишь результат.

Как уже сказано, подлинным шедевром является рассказ «Разговор», уместившийся на двух страничках: разговор плотника-зимовщика с женой и дочкой по микрофону. Художественные данные и возможности Бориса Горбатова сказались в этом маленьком рассказе с наибольшей силой.

Я. Рыкачев

ЮРИЙ СМОЛИЧ. Вісімнадцятилітні. Роман. — Киев. Держлітвидав, 1938 г., 476 стр. Цена 8 р. 25 к.

Новый роман украинского писателя Юрия Смолича «Восемнадцатилетние» является продолжением его романа «Наши тайны», переведенного на русский язык в 1936 году.

В «Наших тайнах» была показана провинциальная украинская гимназия в годы империалистической войны и февральско-мартовской революции.

В «Восемнадцатилетних» — гимназия уже позади. В центре романа стоит ожесточенная классовая борьба тех лет, когда украинский народ восстал с оружием в руках против австро-германских оккупантов и буржуазных националистов — гетманцев, петлюровцев. Это роман о юности того поколения, которое сегодня управляет государственными предприятиями, руководит партийной работой, покоряет Арктику, ставит международные рекорды, делает научные открытия, создает волнующие образы в искусстве.

Автору нужно было преодолеть ряд трудностей.

Трудность состояла в том, чтобы провести героев романа, только вступающих на путь борьбы, через события всемирно-исторического значения. Трудность состояла в том, чтобы показать правдиво исторические события через образы людей, не ставших еще основной движущей силой этих событий. Наконец, трудность состояла в том, чтобы показать, как исторические обстоятельства формировали характеры героев.

К сожалению, с этими задачами Юрий Смолич не сумел справиться полностью. События в романе часто проходят как бы стороной от его сюжетной линии и поэтому не влияют на формирование характеров действующих лиц.

В центре повести — молодой рабочий железнодорожных мастерских Козубенко. Мы знакомимся с Козубенко в момент, когда тот скрывается от немцев. Эпизоды эти даны в манере авантюрного романа. Интересно, конечно, следить за тем: спасется или не спасется Козубенко? Но мы не знаем ни переживаний этого человека, ни его идейных устремлений. Дальше Козубенко вдруг появляется на страницах романа в качестве одного из руководителей стачки железнодорожников, препятствующих посылке в Германию немецких эшелонов с украинским зерном и мясом. Вместе со стачечным комитетом, тоже арестованным немцами, Козубенко интернируется в германские концлагери. Он надолго исчезает из виду, и лишь почти в самом конце романа Козубенко снова появляется в качестве одного из руководителей большевистского подполья.

Читатель вправе задать вопрос, каков же психологический облик Козубенко? Каким образом формировался его характер, как складывалось мировоззрение этого коммуниста, политического деятеля? На эти вопросы автор не отвечает.

Большевичка-подпольщица Аглая Викентьевна, учительница гимназии, совершает героические поступки, выполняет какие-то поручения подпольного комитета, появляется в самые трудные моменты в качестве спасительницы и, наконец, погибает в контрразведке. Но читатель так ничего и не узнает о ней, о ее чувствах и мыслях.

Только изредка выходит из тени и руководитель подпольной большевистской организации — машинист Шумейко.

Мы не говорим здесь уже о целом ряде проходных фигур, явно неудавшихся и мало связанных с основными событиями по-

вести, — повстанцы из украинских сел, крестьяне, истязуемые немцами и гайдамаками.

Наиболее удачны образы бывших гимназистов, ставших активными борцами за дело революции, организаторами комсомола, — Зилов, Катря Кросс, Пиркес, Парчевский.

Катря Кросс остается в памяти читателя как героическая девушка. Автор нашел для нее мягкие краски и слова, полные лирической теплоты.

Юрию Смоличу не изменил здесь художественный такт. Он избежал натуралистического изображения допросов и пыток, которым Катря подвергалась в контрразведке. И следы пыток, оставшиеся на теле Катри после возвращения ее из тюрьмы, в большей степени говорят о ее мужестве и стойкости, нежели раздражающие натуралистические картины, посвященные ужасам контрразведки.

Удался образ Парчевского, тоже бывшего гимназиста, сына рабочего. Он гайдамацкий офицер — комендант сотни; под влиянием комсомольцев, своих одноклассников, переходит на сторону большевиков, и его расстреливают петлюровцы. Этот переход из одного стана в другой в романе Ю. Смолича естественен, психологически оправдан. Значение этого образа снижает только излишне натуралистичная сцена расстрела.

Несколько слов об особенностях композиции романа. Каждая глава его представляет собою сюжетно законченную новеллу. Достоинства такой композиции состоят в том, что эти новеллы создают законченное художественное впечатление. Но, с другой стороны, своеобразный ритм этих главновелл тормозит бесперебойное сюжетное движение романа.

Недостатки романа Юрия Смолича не являются препятствием к ознакомлению с ним русского читателя.

Н. Плиско

РИЧАРД ОЛДИНГТОН. Истинный рай. Перевод с английского М. Е. Апкиной. ГИХЛ, 1939 г., 364 стр. Цена 8 р.

Ричарду Олдингтону, ныне прославленному английскому писателю, было двадцать два года, когда началась империалистическая война. Он был ее участником. Он видел, как эта война разрушила и погребла под своим пеплом казавшиеся непоколебимыми идейные, духовные и материальные ценности. Опустошив душу целого европейского поколения, война опустошила и самого Олдингтона. Ему было 26 лет, когда война кончилась, он был еще молод, но смотрел в мрачное будущее сквозь мглу разочарования, ужасов, отчаяния и безверия...

Путь, пройденный Олдингтоном, — путь «погибшего поколения», по меткому выражению Хемингуэя, — полностью отражен в его романах. Советскому читателю известно творчество Олдингтона — за последние два года у нас вышло четыре его романа.

В своих романах — «Смерть героя», «Дочь полковника» и «Вражда» — Олдингтон рисует мир, буржуазную интеллигенцию, Англию и войну с точки зрения представителя «потерянного поколения». Он мрачно смотрит на жизнь. Война прошла бесцельно, бесцельно погибли целые поколения. Жизнь буржуазной интеллигенции по существу не изменилась. После всеобщей катастрофы люди снова стали равнодушны ко всему, кроме наживы, попрежнему отдались они во власть привычных инстинктов жадности и похоти, снова ведут сонное, лживое существование.

В романе «Истинный рай» мы видим уже преодоленными, хоть и не до конца, настроения беспомощности и несостоятельности, порожденные мировой войной.

Герой «Истинного рая» — молодой студент Кристи Хейлин. Он представитель нового поколения. Кристи Хейлин должен пройти через горнило жестоких жизненных разочарований и неудач, познать ужасы и бессмысленность капиталистической действительности, чтобы притти к выводу о необходимости перестроить мир. На каждом шагу он чувствует власть денег. У него их нет, и он, молодой, здоровый, способный студент, вынужден оставить колледж. Для того чтобы приобрести деньги, семья Хейлина пытается устроить его брак с богатой вдовушкой. Из-за денег семья отдает его молодую сестру замуж за тупо-эгоистического буржуа, заражающего ее сифилисом. Наконец, Кристи испытывает все ужасы безработицы.

Олдингтон сталкивает своего молодого героя не только с практической жизнью. Он заставляет его раздумывать о судьбах человечества. Кристи видит Европу, превращенную в пороховой погреб фашистами, несущими миру новое одичание и разрушение культуры.

Удивительно ли, что безнадежность и отчаяние охватывают на время Кристи? Он решает покончить самоубийством. Представители старшего поколения бежали от жизни в замкнутый быт. Кристи хочет совсем уйти от унизительного и страшного существования. Но, в конце концов, он отвергает мысль о самоубийстве и, принимая жизнь, обращается к морю и солнцу, этим творцам жизни.

Этим, собственно, начались его активные поиски «рая» для страдающего человечества. В таком финале оказалась и эволюция «идеализма» автора. Он чувствует, что недостаточно уже разоблачать старый, прогнивший буржуазный мир, а надо действовать для создания нового. Но это сознание ответственности за историю, за судьбу человечества остается у Олдингтона и у его героя еще «теоретическим». Понимая, что «рай» надо завоевать, что мир надо перестроить, Кристи не может еще перейти к революционному действию. Спасение он видит пока еще на путях морального совершенствования человечества.

Конечно, это одна из уходящих ложногуманистических иллюзий. Но уже одно то, что автор, сталкивая два поколения: старое — мертвое и молодое — живое, заставляет своего героя думать о необходимости активного обновления человеческой судьбы, говорит о том, что эта иллюзия может быть изжита. Олдингтон не выдумал своего нового молодого героя. Он его видел и наблюдал в жизни. «Старая Англия» уже не та, что была раньше. Студенты Оксфордского университета во время плебисцита голосуют за мир, целая плеяда молодых английских интеллигентов сражалась за свободу испанского народа, в широких кругах английского буржуазного общества растет недовольство профашистской политикой правительства Чемберлена...

Заслуга Олдингтона в том, что он сумел подметить и показать нарождающийся на Западе тип молодого человека. В этом молодом человеке уже бродит идея нового гуманизма, и в этом — «истинный рай» для западно-европейской молодежи. И если автор в гуманистических исканиях и его молодой герой в стремлениях к преображению жизни будут эволюционировать и впредь, они неминуемо должны будут притти к тому единственно верному средству переделки мира, которое заключается не в пустых мечтах, а в подлинном подвиге революционной перестройки человеческой истории. Тогда они найдут «истинный рай».

А. Кипренский

МИХ. ЗЕНКЕВИЧ, ИВАН КАШКИН, Поэты Америки. XX век. Антология — М. Гослитиздат, 1939 г., 282 стр. Цена 8 руб.

Давно назрела необходимость поближе познакомить советского читателя с американской поэзией, ее истоками и развитием вплоть до наших дней.

Как правильно отмечают составители сборника Иван Кашкин и Мих. Зенкевич в кратком предисловии, «современная американская поэзия для советского читателя может представить не меньший интерес, чем современная американская проза, получившая у нас заслуженную известность».

Сборнику предпослана обширная вступительная статья («Введение») Ивана Кашкина, знакомящая читателя с развитием американской поэзии, начиная с ее «патриархов» (Уильям К. Брайант, Джеймс Рессел Лауэлл, Оливер Уэнделл Голмс и Генри Вадсворт Лонгфелло) и до представителей современной революционной поэзии, начавших свою поэтическую деятельность в период так называемого «поэтического расцвета», то-есть в годы 1912—1925.

Сборник открывается стихами Эдвина Арлингтона Робинсона, поэта-реалиста, одного из так называемой «Большой пятерки», занявшей центр поэтического фронта в годы, предшествовавшие империалистической войне.

Э. Робинсону принадлежат монументальные поэмы «Рембрандт», «Бен Джонсон занимает гостя из Стрэтфорда» и другие, а также стихотворения-миниатюры типа «Мельницы», мастерски переведенной И. Кашкиным:

Жена ждала, а он не шел,
И чай простыл, очаг заглох,
И на дурную мысль навел
Невнятный смысл немногих слов:
—«Нет больше мельников теперь»,—
Сказал. И вышел в глубь двора,
И долго, опершись о дверь,
Стоял. Сегодня? Иль вчера?
И страха смутного волна
Дала на все без слов ответ.
Была бы мельница полна
Мучнистым гулом прежних лет...

За Робинсоном в сборнике следуют остальные четыре представителя «Большой пятерки» (Карл Сэндберг, Вэчел Линдзи, Роберт Фрост, Эдгар Ли Мастерс), поэты Джон Г. Флэтчер, Хилда Дулитл и поэты антифашистского фронта — Дж. Калар, А. Мак-Лиш, Майкл Голд, Магил.

Переводчики стремились к предельной точности в передаче текста стихотворений и особенностей стиля каждого из поэтов. У большинства американских поэтов заметно значительное сближение прозы и стиха, что является обычным и характерным для английской и американской литературы в целом. Эта отличительная черта американской революционной поэзии особенно резко выделяется в переводе на другой язык.

И все же переводчики находят соответствующие ритмы и созвучья. Так, например, в переводе стихотворения Джо Хилла «Кейси Джонс — штрейкбрехер» Мих. Зенкевич дает такой напевный рефрен:

Рабочие на «Эс-Пи Лайн» волнуются опять,
Но Кейси Джонс, наш машинист,
не хочет бастовать.
Его котел давно течет — и не в порядке ось,
Подшипники колес скрипят, весь паровоз,
хоть брось...

Кейси Джонс, трудись как окаянный;
Кейси Джонс, награду получай.
Кейси Джонс медалью деревянной
Премируется за службу «Эс-Пи Лайн».

К словам «Эс-Пи Лайн» сделана сноска, поясняющая: «S. P. Line» — сокращенное название Южно-Тихоокеанской железной дороги («South Pacific Line»). Это не совсем так. Поэт имел здесь в виду не столько железную дорогу, сколько желтую, предательскую «Эс-Пи» («Социалистическую партию»), которая служит хозяевам, предает интересы рабочих и выращивает штрейкбрехеров, подобных Кейси Джонс. Эту своеобразную игру слов следовало отметить особым примечанием, ибо в ней заключен революционный смысл данного стихотворения.

В «Антологии» есть отдельные шероховатости переводов. Недостаточно тщательно отобраны стихотворения (излишни, например, такие, ничего не говорящие стихи, как «Шляпы», «Пятая Авеню», «Штиль на море», «Мартовская луна»), но в общем сборник, безусловно, отвечает своей цели. Он «будет способствовать творческому сближению советских и американских поэтов», и «общими усилиями будет осуществлено ознакомление как нашего, так и американского читателя с лучшими поэтическими достижениями СССР и США».

Д. Маневич

ИЛЬЯ ГРУЗДЕВ. Горький и его время. Т. I. Гослитиздат, 508 стр. Ц. 6 р. 50 к.

Широкий читатель знает И. Груздева, как талантливого биографа, исследователя, весьма плодотворно работающего над изучением жизни и творчества Горького. Являясь редактором сочинений М. Горького, автором ряда биографических этюдов о нем, И. Груздев собрал по первоисточникам разносторонний материал, показывающий рост великого писателя на широком фоне жизни русского общества 70 — 80-х гг. Материал этот намного расширяет наше представление о Горьком и его времени.

И Груздев создал своеобразный жанр монографического исследования. Им собраны воедино разбросанные по множеству сборников и журналов, затерянные в редких и забытых изданиях материалы, воспоминания старых друзей Горького, письма и сообщения, полученные Груздевым от самого писателя.

Первый том труда «Горький и его время» охватывает период жизни писателя до 1892 г., то-есть первые двадцать—двадцать пять лет жизни Горького, до появления в печати «Макара Чудры».

Груздев дает яркое представление об атмосфере, окружавшей годы детства писателя, анализирует историю массового рабочего движения 80-х годов, показывает его подъем. Этот анализ приводит автора к закономерному выводу, что Горький был «выразителем тех поднимавшихся масс, которые не только уже ненавидели «хозяев жизни», но и доходили до сознания необходимости непримиримой борьбы с ними». «История словно нарочно сделала так, что великий писатель, выразитель этих масс, самой жизнью своей как бы символизировал мучительный рост их сознания, их напряженную борьбу».

Особый интерес представляют экскурсы в историю русской литературы и в историю провинциального мещанского читателя второй половины XIX века, данные в органической связи с ростом молодого Горького.

В книге И. Груздева приводятся чрезвычайно интересные воспоминания С. Вартаньяна, одного из тифлисских приятелей Горького, устанавливающие, что писателю была близка могучая и страстная поэзия Байрона. Поэт-романтик и поэт-обличитель оказал большое влияние на Горького.

Не менее интересны литературные портреты крупнейших русских писателей тех лет, когда Горький творчески самоопределялся. Ясно и точно рассказано о старших современниках Горького — Гаршине, Глебе Успенском, Короленко, Чехове.

Очень ценны публикации новых текстов Горького. Так, например, опубликованы стихотворения Горького, относящиеся к 1892 г., интересный очерк, написанный М. Горьким о встрече и беседе в 1891 г. со знаменитым в ту пору популярным проповедником Иоанном Кронштадтским.

Толково, тщательно сделаны «Примечания», занявшие обширный раздел книги.

Необходимо, однако, отметить недостаточность отдельных характеристик. В особенности вызывает недоумение скупость, проявленная биографом в обрисовке бабушки Горького, мастерски запечатленной им в «Детстве». Зря обошли биографию А. М. Калюжного, друга и учителя Горького, «влияние которого, — как пишет сам Груздев, — имело для Горького в ту пору решающее значение».

Как известно, в Тифлисе, живя у Калюжного, Алексей Максимович написал свою первую вещь «Макар Чудра» и запрещенную в те годы поэму «Девушка и смерть».

С. Евгеньев

«Молодые мастера искусства» Сборник. Изд-во «Искусство», 1939 г., 380 стр. Цена 25 руб.

Об артистической молодежи Советского Союза, о сталинских питомцах, о лучших представителях новой художественной интеллигенции рассказывают страницы большой, нарядной книги, изданной государственным издательством «Искусство».

Почему наши музыканты одерживают блестящие победы на международных конкурсах? Почему наши театры вызывают восторг зарубежного зрителя? Почему наши фильмы совершают победоносное шествие по городам мира?

Все это объясняется новым, социалистическим качеством советской культуры. Весь мир признал ее широко демократический характер, ее подлинную связь с традициями народного творчества, ее высокую идейность, ее настоящий интернационализм.

Создавать такую культуру могут только люди нового, социалистического общества, и среди этих людей советской молодежи принадлежит выдающееся место.

Книга «Молодые мастера искусства» открывается высказываниями заслуженных мастеров искусства, представителей старших поколений.

Покойный К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, И. Москвин, Б. Иофан, И. Бродский, Д. Моор, Р. Глиэр, А. Гольденвейзер — вот некоторые из имен тех известных мастеров, которые обращаются в книге к своим молодым товарищам.

К. Станиславский призывает молодежь к терпению в работе, к упорному, кропотливому труду, без которого талант обращается в красивую побрякушку. Великий мастер сценического искусства, с самого начала своей деятельности выдвинувший идею ансамбля, коллектива в театре, в этом своем выступлении призывает сценическую молодежь к единению, к спаянности, к товарищеской справедливой критике и самокритике.

В словах людей старшего поколения звучат призывы изучать искусство прошлого и при помощи марксистско-ленинской теории овладевать высотами настоящего социалистического искусства.

Вторая часть книги конкретно показывает, чего достигла советская молодежь в области искусства.

И. Нестьев в своей статье говорит о лауреатах, победителях международных конкурсов, о композиторах Дзержинском, Шестаковиче, Хренникове, Хачатуряне, о советской вокальной молодежи, о ярких молодых талантах, которые выдвигает художественная самодеятельность страны. Молодым актерам посвящает статью Г. Рейзе. Многие из этих молодых за немногие годы стали маститыми художниками сцены. Взять, к примеру, Бориса Васильевича Щукина, создателя образа Ленина, или выдающегося мастера грузинского театра А. Васадзе, или народного артиста Украинской республики Бучма. Автор статьи дает краткие характеристики М. Бабановой, Н. Хмелева, Н. Черкасова, Д. Зеркаловой и десятков других актеров и актрис, взращенных Октябрьской революцией.

Ю. Слонимский пишет о молодых мастерах хореографии, Н. Колин — о молодом цирке, Г. Бандалин рассказывает об искусстве молодых художников и скульпторов, А. Изаксон — о молодежи в архитектуре. Во всех областях культуры, во всех концах Советской страны выдвигаются молодые таланты, поддержанные и воспитанные ленинским комсомолом.

Вера Енютина, дочь ссыльного революционера, родилась в Самарканде, училась в Москве, работала плановиком в Электрокомбинате и неожиданно для окружающих подала заявление в техникум театра Революции. В 1938 году она с успехом сыграла роль отважной испанской девушки Лауренсии в пьесе Лопе де Вега «Овечий источник». На сцене нашла она свое призвание, и комсомолке Енютиной легко открылась дорога в театр.

Точно так же, преодолев вековые предрассудки Востока, повинуясь своему призванию, пришли на сцену актрисы Узбекистана Тамара Ханум, Халима Насырова и Мукурам Тургунбаева.

Художник Федор Решетников скитался по рабочим клубам в качестве художника, декоратора, маляра, затем попал в Подмосковный угольный бассейн. Там вступил в ленинский комсомол. Организация позаботилась о нем, послала учиться в Москву. Летом он бродил по Крыму и Кавказу, писал пейзажи, набирался впечатлений. Участвовал в походе «Сибирякова», был членом экспедиции «Челюскина». Темы художника — сила и мужество советских людей.

На этих конкретных примерах мы видим, в чем отличительная черта советского искусства. Это — его широта и идейность, крепкая связанность с жизнью.

Советские художники всех родов оружия растут и развиваются не как гордые индивидуалисты, а как люди сталинской эпохи, крепко связанные с народом. Актер, музыкант, работник кино откликается на каждое политическое и культурное событие страны, потому что он общественник, гражданин, а не оторванный от жизни «жрец искусства».

«Молодые мастера искусства» — это не теоретическая книга. В ней не высказы-

вается никаких принципиальных положений. Эта книга — яркий документ социалистической эпохи.

А. Дейч

И. П. СЕРГЕЕВ (заслуженный мастер спорта СССР). Легкая атлетика. Научно-исследовательский институт физкультуры ГССР. Тбилиси, 1939 г.

Легкая атлетика является одним из самых разносторонних и интересных видов спорта. Большое разнообразие физических упражнений, объединяемых понятием «легкая атлетика», и благотворное их влияние на всестороннее, гармоническое развитие человеческого тела и его внутренних органов (сердца, легких и др.), доступность легкоатлетического спорта для широких масс, громадное значение для подготовки Красной армии — все эти положительные свойства легкой атлетики уже давно предопределили признание ее в Советском Союзе.

В настоящее время по всему Советскому Союзу насчитывается около 300 тысяч легкоатлетов. Как ни велико это число, оно могло бы быть больше, и, что самое важное, качество наших достижений в этом виде спорта могло бы быть неизмеримо выше.

Основными причинами отставания легкой атлетики является недостаток опытных тренеров, отсутствие учебно-спортивных фильмов и ничтожное количество учебно-методических пособий по легкой атлетике.

Книга заслуженного мастера спорта И. П. Сергеева «Легкая атлетика» является, бесспорно, ценным вкладом в нашу спортивную литературу.

И. П. Сергеев, сам в недавнем прошлом метатель, рекордсмен Союза, обладает большим личным практическим и педагогическим стажем и значительными теоретическими знаниями. Его книга насыщена материалом, достаточно популярная и может служить справочником советского физкультурника-легкоатлета.

Книга делится на два крупных раздела: «Техника легкой атлетики» и «Тренировка».

В первом — дается подробное описание всех распространенных в СССР и за границей видов легкой атлетики, с указанием наиболее целесообразной техники и тактики их выполнения и методики изучения, со ссылкой на лучшие образцы зарубежного легкоатлетического спорта. В этом разделе приведено значительное количество диаграмм, таблиц, интересных фотографий, знакомящих советских спортсменов со стилями лучших международных легкоатлетов.

Интересно задуман и достаточно полно разработан второй раздел книги — «Тренировка». Здесь большого внимания заслуживают главы о самоконтроле спортсмена во время тренировок, о необходимом пищевом режиме, гигиене легкоатлетических упражнений (массаж, одежда, лечение повреждений и т. п.), устройстве легкоатлетических снарядов. В последней, основной, главе — о тренинге — даются детальные программы тренировок по всем видам легкой атлетики, с указанием необходимого режима и отдыха, тактики выступлений на соревнованиях и т. д.

Более слабой следует признать главу о физиологических основах тренировки. Другой существенный недостаток книги — отсутствие в ней ссылок на тренировку и другие показатели работы советских мастеров легкой атлетики.

А. Семенов

Уполн. Главлита А-13756. Сдано в набор 10/VII 1939 г. Подписано к печати 17/VIII 1939 г. Бумага 70×101 см. 1/16 доля. 12 п. л. по 59 т. зн. М. Г. 104. Нар. 746. Фабрика юношеской книги изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», ул. Фридриха Энгельса, 46. Тираж 35 000 экз. Технический редактор И. И. Соленов. Корректоры И. Кудашев и М. Соколова.